КОРОЛЕНКО

Георгий Миронов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Памяти однополчан: младшего политрука Трофима Терентьевича Дудакова, юных солдат-комсомольцев Володи Селезнева, Ильи Наумова, Вилена Коваленко, Пети Чибисова и всех, кто пал 27 ноября 1942 года в трудном бою у кавказских предгорий.



Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 2
[335]

МОСКВА
1962

Георгий Миронов

КОРОЛЕНКО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

8Р1
М-64

«Всю жизнь, трудным путем героя, он шел встречу дню, и неисчислимо все, что сделано В. Г. Короленко для того, чтобы ускорить рассвет этого дня», — эти слова были сказаны А. М. Горьким

В 23 года Короленко был отправлен в ссылку. Жандармско-полицейский надзор, суды и преследования сопровождали писателя-демократа вплоть до революционного 1917 года. Но никогда не уставал боевой публицист говорить правду в глаза мракобесам и палачам, бюрократам и народоненавистникам. Сорок один год надзирал за Короленко царизм, и все это время писатель осуществлял над самодержавием высший надзор — совести русского народа. Короленко отказался присягать на верность царизму, но дал аннибалову клятву спасти мултанских удмуртов, несправедливо обвиненных в религиозном изуверстве. Короленко выступал против оголтелой травли международной реакцией французского писателя Эмиля Золя. Он боролся против смертных казней, и в числе тех, чью жизнь отстаивал писатель-демократ от угрозы царской виселицы, был большевик Михаил Фрунзе. «Человек создан для счастья, как птица для полета», — провозглашал Короленко, и все свои силы, всю жизнь отдал борьбе за это человеческое счастье.

Настоящая книга — попытка создания сколько-нибудь полной биографии замечательного русского писателя-демократа. В жизнеописании Короленко широко использованы исторические документы, мало, а то и вовсе неизвестные читателю материалы обширнейшего архива писателя, воспоминания и личные свидетельства о нем современников.

Автор книги, Георгий Михайлович Миронов (род. в 1924 г.), — литературовед и журналист. Около десяти лет занимается изучением творчества Короленко, опубликовал несколько статей о писателе, защитил кандидатскую диссертацию — «Тема капитализма в творчестве В. Г. Короленко».



Вл. Короленко



I. НА РОДИНЕ, В ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Хороший край, славная сторона,
тихая, ровная, грустная, правда, немного.
В. Г. Короленко

Семья и домашние пана судьи

Мальчик родился на Волыни.

Край был пестрый, разноплеменный. В селах жили польские помещики и крестьяне украинцы, в городах основное население составляли частью поляки, частью украинцы и русские, чиновники и военные по преимуществу были русские и украинцы. В местечках и на городских окраинах ютились евреи.

В этом краю было много вер, и их служители — попы, ксендзы, раввины и даже жалкие, гонимые униатские священники — славили каждый свою веру, проклинали веры иные и согласно звали паству свою к смирению, покорности богу и начальству.

Когда умер дед, Володя был еще совсем маленьким мальчиком. Афанасий Яковлевич Короленко служил верой и правдой царю и начальству и «за от-

лично усердную и ревностную службу» был награжден орденом. Дед находился на русской службе и был женат на польке, но он не забывал, что род его тянется от миргородского казачьего полковника Ивана Короля. Дома дед ходил в национальной одежде и говорил только по-украински. Он был истово религиозен и дал детям своим имена в честь святых, в день которых они родились: отец Володи был назван Галактионом, дядя — Никтополеоном.

Галактион Афанасьевич женился уже не первой молодости — тридцати семи лет, а жену взял совсем юную. Эвелине Скуревич, дочери польского арендатора, было тринадцать лет, когда местный исправник Короленко предложил ей руку.

Через несколько лет после женитьбы паралич сделал Галактиона Афанасьевича калекой. Однако, как ни странно, брак не стал несчастливым. Оба — и молоденькая жена, полька, католичка, и муж ее, чиновник и православный, человек вдвое старше ее, — оказались на редкость честными, искренними и глубоко порядочными людьми. Было уважение друг к другу, потом явилась привычка, перешедшая в привязанность, а затем и в тихую, прочную любовь.

В семье Короленко очень любили детей, и их здесь было много.

Следуя традиции, имена мальчикам давали по святцам.

Владимир родился 15 июля 1853 года в Житомире. Юлиан был на два с половиной года старше его, и на год с небольшим был младше Илларион, за вспыльчивый и несговорчивый нрав еще с детства получивший в семье меткое прозвище — Перец. Затем шли девочки Мария и Эвелина. Младшая, беленькая хрупкая Веля, названная в честь бабушки и матери, была баловнем семьи; старшую, веселую шуструю тараторку, в семье окрестили Машинкой (Эвелина Иосифовна произносила ее имя на польский лад). Несмотря на свою кротость, мать настойчиво соблюдала равенство в семье. И ее любимец, кудрявый, крутолобый, ласковый сынишка Володя, никакими преимуществами не пользовался.

Отец теперь служил уездным судьей. Утром он уезжал в присутствие, а возвращаясь, запирался у себя в кабинете. Он был уже в годах, и служба тяжело давалась ему. Печаль и забота все чаще омрачали его еще красивое лицо, большие карие глаза все реже останавливались на детях с выражением веселого добродушия: они еще малы, а сил для службы становится все меньше.

Судья Короленко верно служил господину, имя которого «закон». Он был не только верным служителем этого господина, но и нерассуждающим рабом его. Постоянная в любви и ласке, мать стояла к детям ближе, но отец был более интересен — малопонятен, загадочен.

Галактион Афанасьевич не брал взяток. Среди чиновников, особенно судейских, такие люди случались очень редко. И это выделяло судью из среды, которая отнесла его в разряд чудаков, поступающих «не по-людски». Большая семья с трудом существовала на скудное жалованье, а подчиненные судьи — заседатели (их здесь звали подсудки), — получая раз в пять меньше, жили много лучше, некоторые держали лошадей, выписывали женам туалеты из Варшавы. Галактион Афанасьевич знал, что его чиновники принимают «хабары», но не мешал им в этом. Он ограждал от лжи и неправды только узкий мирок своей семьи. Остальное его, николаевского чиновника, не касалось. Он не чувствовал своей — личной — вины за совершавшееся кругом. Бог, в которого он верил, царь и закон, которым он верно служил, были для судьи выше всякой критики, выше суда человеческого.

Но жертв закона пан судья жалел, и нередко он приходил домой расстроенный и огорченный. Володе запомнилось, как однажды отец сел обедать, съел две-три ложки супа и поднялся.

— Не могу...

— Дело кончилось? — тихо спросила Эвелина Иосифовна.

— Да... Каторга.

— Боже мой! А ты что же?

— А! Та-алкуй больной с подлекарем, — даже свою любимую поговорку отец произнес сейчас с раздражением. — Я! Я!.. Что я могу сделать?!

К обеду он больше не прикоснулся. Помолчал, походил, постукивая палкой, по гостиной и, обернувшись к жене, сказал уже мягче:

— Сделал, что мог. Закон ясен...

Часа через два Володя вбежал в кабинет звать отца к чаю. Отец стоял на коленях у кровати, глядел на образ, он молился. Лицо его передергивали судороги, небольшое тучное тело вздрагивало, и по щекам катились слезы. А губы вместо молитвы шептали одно и то же слово: «Отче... отче...» Под гнетом тяжкого испытания позабыл он молитву. Увидев, что сын с удивлением смотрит на него, отец с трудом поднялся.

А на следующий день, как обычно, подали лошадей, и судья вышел спокойный, подтянутый, в синем своем мундире с расшитым стоячим воротником.

В пору судейства Галактиона Афанасьевича в Житомире произошел эпизод, который высоко поднял авторитет судьи в глазах населения.

В местном суде шел процесс о наследстве между богатым графом и бедной вдовой его брата. Аристократ пустил в ход связи и деньги, даже попытался подкупить судью; вдова же не имела средств даже оплатить гербовые пошлины. Тем не менее вскоре город был поражен известием, что процесс решился в пользу вдовы, ставшей теперь одной из богатейших помещиц Волынской губернии. Все знали, что только благодаря честности судьи дело приняло столь неожиданный оборот.

Через несколько дней к Короленко явилась помолодевшая, сияющая счастьем вдова. Но она вышла из кабинета расстроенная, со слезами на глазах. Судья от всяких подношений отказался наотрез.

Недалекая женщина не знала иного пути для благодарности, как подарки. Она явилась на следующий день, выбрав время, когда пана судьи и пани сендзины (судейши) не было дома. Из коляски кучер перенес в дом гору материй и товаров, а маленькая Маша

получила огромную роскошную куклу, которая закрывала и открывала свои голубые глаза.

Пани сендзина, воротившись домой, пришла в ужас: она хорошо знала характер мужа. Судья неистовствовал, ругал вдову, швырял на пол подношения и не успокоился до тех пор, пока подарки не увезли обратно. Впрочем, кроме одного. Хозяйка куклы, когда у нее захотели отнять только что обретенное сокровище, подняла такой рев, что судье пришлось уступить.

— Через вас я стал-таки взяточником! — сердито укорил он домашних и заперся в кабинете.

Галактион Афанасьевич очень верил в «книгу и науку», которые сам, служа с шестнадцати лет, не имел времени постичь. Пытаясь вырваться из засасывающего болота царской чиновничьей службы, он свободные вечера посвящал чтению и много размышлял над книгами. Порой он увлекался какой-нибудь идеей, начинал что-либо изучать, и тогда в доме появлялся телескоп, или книги по астрономии, или итальянские словари. Отец зазывал в кабинет детей и рассказывал с увлечением о большом божьем мире, в котором было столько любопытного и непонятного.

Когда отец бывал занят писанием своих бумаг, самым интересным для детей местом в доме становилась кухня. Здесь можно было услышать массу захватывающих, хоть и страшных историй, от которых мурашки бегали по ребячьим спинам, и казалось, будто что-то неизвестное — *оно* — за темными окнами бродит, и слушает, и гремит, и крадется. Мигает и чадит сальный каганец, в углах шевелятся тени. Огонек трубки молчаливого флегматика кучера Петра то разгорается, то угасает. Старая нянька Гандзя, уложив девочек, дремлет на лавке и одновременно по привычке дерет перья.

Кухарка Будзиньская знала множество страшных историй. Отец ее был чумаком, ходил в Крым с обозами за солью и рыбой и брал с собой девочку. Вот просыпается она однажды, видит, отец идет рядом с возом, волов подгоняет. А ночь ясная, каждая тра-

винка в степи видна. Вдруг вдалеке, у лесочка, над балкой, показывается какая-то белая фигура...

Все рассказы кухарки были о «прошлом» — о том, как летали ведьмы, завлекали людей в омуты русалки, мертвецы выходили из могил. Теперь же народ стал хитрее, и поэтому нечисти меньше. Но все же бывает...

Если случалось, что родители уезжали в гости, дети до поздней ночи просиживали на кухне. Снаружи выл и метался ветер, где-то хлопала ставня. Сердце Володи каждый раз при новых звуках с улицы испуганно падало.

Однажды сюда тихо вошла мать, присела в стороне, дослушала до конца очередной рассказ о переполохе в чумацком таборе из-за нечистой силы и потом сказала сердито:

— Вот ты, Будзиньская, старая женщина, а рассказываешь такие глупости... Как тебе не стыдно? Перепились твои чумаки, вот и все...

И она увела детей спать, уверив, что все это пустяки. С молодой, красивой, спокойной матерью вовсе не было страшно, и дети спокойно засыпали.

Щось буде, ой, щось буде!..

Через Житомир тянули телеграфную линию.

Босоногие крепыши, дети судьи, бегали вместе со всеми мальчишками на Виленскую улицу — «шоссе» — смотреть, как запыленные рабочие под командой чиновника в новеньком мундире влезают на только что вкопанные, пахнущие свежим тесом столбы и натягивают проволоку.

Железной дороги в тех краях еще не было, редкие обыватели читали газеты, зато слухов было много. Однажды на кухне стало известно, что отставной чиновник Попков, пробавлявшийся писанием просьб и жалоб — «бумаг» — простым людям, разобрал разговор по телеграфу. Иностранные цари, особенно французский Наполеон, требовали от русского царя, чтобы он отпустил «крепаков» на волю. Напо-

леон говорил громко и гордо, а «наш» отвечал ласково и тихо.

Так впервые в сознание Володи вошло понятие о крепостном праве, смысла которого он доныне не постигал. Теперь же все только и говорили о том, что царь хочет отнять у помещиков крестьян и отпустить их на волю.

Время шло, толки об освобождении проникали из города в деревню, будоражили людей.

Однажды ночью, когда над городом полыхала гроза и притихшие дети испуганно прислушивались к ее раскатам, в небе громыхнуло особенно грозно, и неподалеку от дома отозвалось ударом, от которого дрогнула земля. Наутро стало известно, что молнией разбило «старую фигуру» — большой деревянный крест с распятием, стоявший у поворота на католическое и лютеранское кладбища.

Мальчики побежали смотреть «фигуру», около которой уже стояла толпа народа в суеверном молчании.

Кучер Петро, старый, сморщенный, молчаливый человек, не выпуская изо рта глиняной «люльки», проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Гм... Щось воно буде...

Люди ждали, что́ еще прибавит старый молчун, но больше он не вымолвил ни слова. А «щось буде» как ветром разнесло по толпе, по городу, по округе.

Пошли упорные толки о «золотых грамотах от самого царя», в которых мужикам даровалась свобода, о рогатом попе, который ходит по Волыни, должно быть, перед концом мира. Говорили о том, что Кармелюка не погубили паны: он вернулся из Сибири, собирает мужиков и хочет идти на город, добывать «крепакам» свободу и долю...

В эту пору Володя как-то незаметно, сам, по передвижной азбуке выучился грамоте, сначала польской, а вскоре и русской. Первой прочитанной им книгой была «Фомка из Сандомира» польского писателя Яна Грегоровича, а потом уже на русском языке мальчик прочитал «Робинзона Крузо».

Впечатление от «Фомки из Сандомира» осталось

на всю жизнь. В книге рассказывалось о том, как маленький пастушонок Фома пробивался к знаниям, и, получив их, возвратился в свою деревню, чтобы работать здесь учителем. Деревня в книге была мало похожа на настоящую, где сейчас кипели страсти, где мужики все чаще вспоминали о Кармелюке и угрюмо косились на присмиревших панов. Но книга оставила в детской душе светлую радость за честного настойчивого крестьянского паренька Фому, за его счастливо сложившуюся жизнь.

Близилось время реформы. Судья участвовал в «новых комитетах».

Однажды в гостиной сидели за чтением отец и сын. Судья читал благонамеренного «Сына отечества», Володя — книгу.

Вдруг в соседней комнате раздались тяжелые торопливые шаги. Кто-то сильным, судорожным рывком открыл дверь, и на пороге, как привидение, появился родственник Эвелины Иосифовны помещик Дешерт, взъерошенный, с бледным, искаженным лицом и ощетинившимися усами.

Он не поздоровался, а молча принялся ходить по комнате — быстро, зло, нервно.

Отец следил за ним острым взглядом, в котором таилась насмешка.

Дешерт внезапно прервал свой бег посредине комнаты.

— Слушай! Это, значит, правда?..

Судья кивнул. Он знал, что́ могло сейчас взбесить этого крепостника, которого крестьяне так ненавидели за жестокость.

— Клянусь богом, — захрипел Дешерт. — Богом моим клянусь... Пока вы это сделаете, я... я... я их подпалю с четырех концов. А!.. Пока я еще вправе, пока они еще мои... — Злоба душила его, говорить он не мог.

Резкий, отчетливый стук палки заставил Дешерта оглянуться на судью. Галактион Афанасьевич уже не смеялся.

— Слушай ты... как тебя... — проговорил он. —

Слушай теперь, что и я тебе скажу... Если ты... теперь... тронешь хоть одного человека в твоей деревне, то тебя вывезут под конвоем в город... Понимаешь?.. Ну, ступай!

— Кто?.. Кто посмеет? — вскрикнул Дешерт.

— А вот увидишь, — уже спокойно ответил судья.

И грозный Дешерт как-то весь обмяк, ссутулился и молча, тихо, даже не хлопнув дверью, исчез навсегда из дома судьи.

В эту минуту мальчик понял многое. Его невысокий хромой отец чем-то сильнее огромного злого Дешерта, и он хотел сделать добро крестьянам. И еще понял мальчик, что за этой короткой выразительной сценой таится глубокая, страшная драма, которая вот-вот должна разрешиться.

...Сосед пан Уляницкий колотит своего крепостного, «купленного мальчика» Мамерика. Почему? Почему горничная Коляновской «крепачка» Марья не смела ослушаться свою пани и выйти замуж за кучера Иохи́ма? Почему в своем имении Харалуг старый отставной капитан, муж сестры матери, мог на морозе обливать водой крепостного Кароля, попавшегося ему на глаза пьяным?..

Незнакомый мир деревни доселе представлялся мальчику в виде покорных, работящих, услужливых поселян, которые с песнями проходят с поля мимо барского дома. Крепостное состояние казалось чем-то вроде этой детской идиллической картины, нарисованной в ярких, радостных, светлых красках. И вдруг проглянуло другое, темное, тяжелое, но настоящее.

11 марта 1861 года согнали в город мужиков, чтобы прочесть им манифест. Многие на простые сермяги нацепили боевые медали — за Севастопольскую войну. Вместе с ними пришли их жены и дети — по деревням прошел слух, что паны взяли у царя верх, никакой свободы не будет, а мужиков согнали в город для того, чтоб расстрелять из пушек.

Но «щось буде» не стихло и с «освобождением». Оно тлело, как огонь под пеплом. Назревали новые события.

Володю отдали в большой польский пансион Рыхлинского, родственника Эвелины Иосифовны, где уже учился старший брат, Юлиан.

Как понравилось новичку в пансионе! Товарищество ценилось здесь превыше всего, фискальство осуждалось сильнее, чем сама шалость.

Когда воспитанник, еще не знающий здешних порядков, приходил к Рыхлинскому с жалобой на товарища, старик, внутренне негодуя, устраивал открытое судилище. Виновный получал при всех крепкий удар линейкой или его ставили на колени. Это означало, что произведенное расследование обнаружило правильность доноса.

Однако за наказанием должен был следить и сам доноситель. Рыхлинский сверлил его глазами и громко выспрашивал:

— Ну что? Тебе теперь приятно?

Доносчик больше никогда не отваживался жаловаться, а товарищи жестоко дразнили его.

В пансионе обнаружилось, что Володя обладает исключительной памятью и очень способен к учению. По всем предметам успехи его были выше похвал, и только арифметика оказалась предметом непостижимо трудным.

Вскоре после поступления Володи в пансион отец, вернувшийся со службы мрачным и озабоченным, поговорил с женой, а потом собрал всех в своем кабинете и объявил:

— Слушайте, дети, вы — русские и с этого дня должны говорить по-русски. Поняли?

Судье было тяжело вести разговор об этом. Хорошо еще, что дети приняли нововведение беззаботно и не попросили отца объяснить его причины.

Семья Короленко считалась у местного губернского начальства «ополяченной». Мать судьи была полька, жена — тоже. Раньше этому не придавалось большого значения, теперь времена изменились. В Варшаве, Вильно начались демонстрации, происходили столкновения с войсками, появились первые жертвы. Это было начало польского восстания.

Однажды отец с матерью поздно вернулись до-

мой. Чуткий сон Володи был внезапно нарушен. Мальчик услышал, как родители взволнованно спорили, забыв о позднем часе, о спящих детях.

— ...Все-таки ты должен согласиться, — со слезами в голосе говорила мать, — что это несправедливо...

— Толкуй больной с подлекарем! — не менее горячо возражал отец. — Вы присягали и должны подчиняться...

Володя проснулся окончательно и сел в постели. Тогда родители, не сговариваясь, обратились к нему. Перебивая друг друга, они втолковывали каждый свое. Пораженный мальчик ничего не понимал.

— Вот послушай, малый! — проговорил отец. — Ты, положим, обещал маме, что будешь ее во всем слушаться. Должен ты исполнить обещание?

— Д-да, должен, — не совсем уверенно ответил Володя.

— Теперь послушай меня, — сказала мать. — Вот около тебя новая чемерка [сюртучок]. Если придет кто-нибудь чужой со двора и захватит, ты захочешь отнять?..

— Отниму, — Володя поглядел на новенькую чемерку, и его сочувствие перешло на сторону матери.

— Представь себе, малый, — раздраженно сказал отец, — что ты сам отдал свою чемерку и обещал ее не требовать обратно... А потом вдруг кричишь: «Отдай назад!..»

— Да, обещал... — с горечью возражала мать. — Обещал, когда приставили нож к горлу... Скажи просто: отняли силой...

Но тут заплакала маленькая Веля. Мать взяла девочку на руки и принялась укачивать ее. Увидя, что по лицу жены текут слезы, Галактион Афанасьевич тихонько вышел.

Володя понял, что возбуждение отца, слезы матери — это не следствие личной обиды. Соотечественники отца отняли свободу у родичей матери потому, что они сильнее. Мать и отец призывают его, маленького мальчика, в судьи. Ему многое нравилось на родине матери, о прошлом которой он как-то смотрел

в театре пьесу: красивая вольная жизнь, блеск мечей, яркие одежды...

В доме теперь говорили по-русски, в пансионе Рыхлинского, где было большинство поляков, — по-польски и по-французски. Старик все силы употреблял на то, чтобы поддерживать настроение национальной терпимости.

Восстание из Польши — «крулевства» — перекидывалось на Украину. В округе появились польские повстанческие отряды, ходили слухи о их победах над русскими войсками. Местное польское общество волновалось. Из пансиона Рыхлинского несколько юношей ушли «до лясу» — к повстанцам.

Дети очень быстро освоились в новой обстановке. Игры теперь были только военные — играли в «русских и поляков», причем делились на партии не по национальностям, а по счету: «Ты — русский, ты — поляк, ты — русский, ты — поляк...»

В Житомире ввели военное положение. Город наполнили войска, идущие на подавление восстания, — пехота, казаки.

Дети подружились с солдатом Афанасием. Это был старый николаевский воин, на вид суровый и неприветливый, — седые короткие усы, сережка в левом ухе. Он развесил в уголке сарая свои ремни, подсумок, патронташи, ловко и быстро соорудил на чурбачках и досках солдатскую постель; и всем показалось, что они давно знают этого человека, его привычки, сопутствующий ему запах пота, кожаной амуниции и кислых солдатских щей.

Долго молча смотрел старый солдат, как мальчики проделывают во дворе «учение» со своими деревянными ружьями, не утерпел и сам принялся показывать настоящие приемы. Потом он отдал «ружье» и сказал то ли шутя, то ли всерьез:

— Вот научу вас, ляшков, а вы пойдете бунтовать да меня же и убьете...

С грустью провожали дети полк, с которым ушел к западной заставе суровый на вид, но добрый сердцем старый солдат Афанасий.

В пансионе шепотом передавали, что ночью «до

лясу» уехали молодые Рыхлинские, студенты Киевского университета. Родители благословили их. Старик не проронил ни слезинки, и, только обнимая младшего, совсем юного Стася, не выдержала и зарыдала мать.

Симпатии Володи были скорее всего на стороне восставших поляков, но что-то мешало ему целиком отдаться этому чувству. И, как это нередко бывало с ним, образы сна помогли разобраться в картинах действительности.

...Они играли в «поляков и русских», нападали друг на друга, бежали, падали... И вот оказалось, что это не игра, а настоящая война. Раздавались выстрелы, скакали в дыму и пламени какие-то всадники, Володя от кого-то убегал и прятался под крутым речным обрывом... И опять все переместилось: скрывался не он, а взвод русских солдат. Мокрые, измученные, стояли они по колени в воде среди камышей... Внезапно совсем близко от себя увидел мальчик строгие глаза Афанасия, и сердце сжалось болью за этих людей в круглых шапочках-бескозырках, за старика со знакомой серьгой в левом ухе...

И вдруг на коне появился вооруженный Стасик Рыхлинский, здоровый, ловкий, веселый. Володя испугался за людей под обрывом, и никто сейчас не показался ему страшнее юного Стася, который может открыть близких и дорогих сердцу мальчика Афанасия и солдат...

Он проснулся в слезах. Днем, освободившись от ночного кошмара, Володя решил, что жалел солдат потому, что они русские и он тоже русский. Это было не совсем так: он жалел их еще и как людей, которые могут погибнуть.

Восстание было подавлено. Началась расправа, гнусная и жестокая, как всякая расправа. В городе говорили, что только благодаря твердости Короленко в самом Житомире не было особых жестокостей жандармов по отношению к пленным повстанцам.

Теперь симпатии Володи целиком были на стороне гонимых и преследуемых участников восстания.

Как раз в это время на душу мальчика предъявила права и третья национальность.

Ученики ждали нового учителя.

Отворилась дверь, и вошел молодой человек невысокого роста, веселый и подвижной. Все обратили внимание на его непривычный вид: казацкие усы, опущенные книзу, волосы острижены в кружок; на учителе был синий казакин, вышитая украинская рубашка, широкие шаровары.

Он взял в руки журнал и стал вычитывать фамилии. Каждого он спрашивал: поляк? русский? Очередь дошла до Володи.

— Русский, — ответил он.

Черные живые глаза нового учителя блеснули.

— Брешешь!

Мальчик смутился и не нашелся, что ответить. Учитель, фамилия его была Буткевич, подошел после урока к Володе.

— Ты не москаль, Короленко, а козацький внук и правнук, вольного козацького роду...

Это было ново и неожиданно. На другой день учитель принес мальчику книжонку П. Кулиша «Січові гості» («Гости из Сечи»). Она не понравилась Володе: непонятно было, за что дрались храбрые гайдамаки Чупрына и Чертовус, во имя чего били «панів» и почему погибли от рук своих же казаков. Сам Буткевич был человек приятный, но уж очень искусственно, манерно все было в нем. В семье Володя привык к простоте, и учитель казался ему каким-то «ненастоящим». Украинцы ни в городе, ни в селе так не одевались, не выпячивали свое украинство наружу.

Буткевич отчужденность и сдержанность мальчика приписал «ополячению» и в порыве досады позволил себе грубо отозваться о его матери-«ляшке». Володя очень любил мать, а теперь, когда она часто плакала о своей родине, о гонимых сородичах, чувство его доходило до страстного обожания. Буткевич увидел, как гневно блеснули глаза ученика в ответ на его

реплику, и понял, что промахнулся. Теперь Володя стал открыто сторониться нового учителя. Обращение в новую веру не состоялось.

Но ощущение необходимости поисков веры не оставило мальчика.

В казенных гимназиях

В синем мундирчике с красным стоячим воротником и рядом медных пуговиц Володя у порога гимназии растерянно и подавленно оглянулся: ох, как страшно сделать еще один шаг, переступить через порог этого притягательного и отталкивающего учреждения, где ему суждено провести столько лет!

Это было в конце лета 1864 года.

«Новенького» встретили пятьдесят восемь пар любопытных глаз (Володя сдал вступительные экзамены сразу во второй класс). Прозвенел звонок. Вошел учитель естественной истории Прелин. Дежурный, торопясь и глотая слова, оттараторил утреннюю молитву.

Едва молодой симпатичный учитель начал объяснять новый урок, как дверь отворилась, и вошел директор Пристюк, высокий, важный, прямой. Слегка кивнул Прелину, строго оглядел вытянувшихся гимназистов и проговорил отрывисто, точно пролаял:

— Четвертные отметки... Слу-шать! Абрамович... русский язык четыре, арифметика четыре... похвально... Баландович... три с минусом... два... Совет высказывает порицание... Буяльский... два, три, два... угроза розог...

После фамилии Короленко директор изрек: «Стараться...»

Директор вышел, и в классе поднялся шум. Кто-то заплакал. Растерянный, смущенный Прелин уткнулся в журнал. Сосед, шустрый светлоголовый мальчик, спросил Володю:

— Что он сказал: Крыштанович — «угроза розог» или «выпороть мерзавца»?

— Крыштановичу — «выпороть мерзавца», — сказал кто-то сзади.

— Ну? — встревожился мальчик.

— Верно, брат.

— А, так и черт с ними, — с деланной беспечностью сказал Крыштанович и спросил у Володи: — Ты будешь учиться?

— Я? А то как же...

— А я не буду. Я хочу идти в телеграфисты...

В ближайшую субботу Крыштанович все уроки был очень сумрачен и, едва прозвенел последний звонок, сказал новому приятелю:

— А меня, знаешь, того... действительно будут сегодня драть... Ты подожди: это недолго. Я попрошу, чтобы меня первым...

Володя покраснел и, испытывая чувство огромной жалости к этому симпатичному мальчику, спросил запинаясь:

— А тебе это... ничего?

— Плевать! — тряхнул головой Крыштанович. — У нас, брат, в Белой Церкви, не так драли... Черви заводились... Отец тоже лупит здорово!

В семье Короленко детей пальцем не трогали. Для Володи все это было дико и страшно. Что, если и его также по субботам станут водить на порку в карцер?..

Но розог отведать ему не пришлось. Володя занимался с охотой, и уже в следующую четверть директор пролаял: «Короленко... похвально».

В 1866 году отзвуки «большой политики» донесло до Житомира. Говорили, что какой-то студент по фамилии Каракозов стрелял в царя. Гимназическое начальство решило приурочить к окончанию экзаменов проведение торжественного акта, посвященного «чудесному спасению» государя императора от руки «злоумышленника». Мальчиков повели в зал Дворянского собрания. Напыщенную «патриотическую» речь произнес учитель-словесник, дико завывая, читал трескучие верноподданнические стихи гимназист Варшавский.

Володя с насмешливым любопытством смотрел на

нелепую комедию казенного торжества. Варшавский, важничающий, смешной, шаркнув ногой, поднес губернаторше свиток со своим стихотворением, почтительно поцеловал руку архиерея, а тот, нагнувшись, прикоснулся губами к курчавой голове гимназиста еврея. Сдержанный смешок прокатился по рядам.

В Дубно убили уездного судью, свирепо преследовавшего поляков, и губернское начальство искало на его место человека умеренного и пользующегося общим уважением. Выбор пал на Короленко. Родители уехали, оставив детей на попечение бабушки и теток.

Для Володи настала пора свободной жизни. Целыми днями с компанией таких же беззаботных бродяг пропадал он за городом, на реке, у дальней мельницы. Уроков не готовил, и только за минуту перед звонком, наскоро прочитав заданное, шел отвечать. По всем предметам это сошло благополучно, выручили способности и память, однако на математике Володя срезался. Предстояло сидеть второй год в третьем классе. Но тут приехала мать и объявила, что отца перевели по его просьбе в Ровно, так как в Дубно нет гимназии. Володя был рад. Здешняя гимназия ему опротивела, и он хорошо теперь понимал настроение Крыштановича, который не хотел в ней учиться.

Семья быстро собралась и в середине июня тронулась в путь. Проехали «старую фигуру», православное кладбище, выехали за заставу. Ямщик слез, чтобы отвязать колокольчик. Сейчас лошади умчат прочь от ненавистной гимназии!..

Стороной дороги тянутся унылые вереницы богомольцев. Тащится неуклюжая еврейская балагула, доверху набитая перинами, подушками, детьми. Пролетает в щегольской бричке местный пан, закутанный от пыли в серый полотняный плащ, и бравый кучер с павлиньим пером на шапке брезгливо объезжает скрипучие крестьянские возы.

У дорог высятся развалины замков польских магнатов, журчит где-то невидимая речушка, гордо высятся красавцы пирамидальные тополя. Вот крупные

звезды выкатились и застыли на густо-синем бархате небосвода.

Ночная белая дорога. Тишина. Пофыркивают лошади, и звучат сдержанные голоса на станциях, где прописывают подорожные.

Володя сидит рядом с ямщиком. Внутри что-то радостно рвется навстречу новому, неизвестному.

— Скоро ли приедем?

— Скоро, скоро, — отвечает благодушно мужик.

Сырой предутренний туман рассеивается. Видны дальние деревеньки, развалины старого монастыря. Не в таком ли учился милый Фома из Сандомира?.. Мама стучит в окошко:

— Володя, тебе не холодно?

— Нет, нет, мамочка!..

Разве в тринадцать лет бывало кому-нибудь холодно?!

Ровно открылось сразу. У заставы инвалид поднял полосатый шлагбаум, и повозка осторожно стала сползать вниз, к городу.

Въехали в просторный немощеный двор. На одном из домов вывеска: «Ровенский уездный суд». Напротив длинный и низкий дом.

— Здесь мы будем жить, — сказала мать.

Во двор заглядывали какие-то люди, что-то обсуждали: приезд семейства пана судьи был для городка целым событием.

Напротив дома на острове, насыпанном, как говорили, пленными турками, возвышался мрачный полуразвалившийся замок князей Любомирских. Вечером, когда семья уселась за чай, со стороны прудов послышался странный протяжный гул.

— Что это? Что это? — наперебой заговорили дети.

— Это шумят тополя около старого замка, — ответила мать.

— Вам, гультяям, здесь будет раздолье... если не провалитесь на проверочных экзаменах, — добавил отец. — А тебе, малый, придется приналечь на математику, — обратился он к Володе. — Здесь гимназия реальная. В университет из нее путь закрыт.

Это известие ошеломило. Университет был мечтой, маяком на тяжком ученическом пути.

Пять лет провел Володя в стенах Ровенской гимназии, и редко покидало подростка, а потом юношу ощущение неизбывной вины перед кем-то, инстинктивного противодействия кому-то и почти невольной самообороны. Вызывала протест и возмущение вся гимназическая система. Каких только запретов не было для мальчиков! Нельзя было читать Писарева, Добролюбова и Некрасова, нельзя было купаться в прудах и кататься по ним на лодке, нельзя было появляться на улице после семи часов вечера и ходить за город или к старому замку.

Молодое растущее сознание требовало ответов на множество вопросов, которые задавала жизнь, но в среде наставников встречались по преимуществу люди, изуродованные нелепой и чудовищно бездушной системой гимназического образования, превращенные ею в автоматы для задавания и выслушивания уроков. Они вызывали в детях ненависть, в лучшем случае равнодушие.

Внимательно слушал Володя рассказы об учителях, не ужившихся в гимназии. С особенной теплотой вспоминали здесь об учителе физики, «натурфилософе» и материалисте, который в период своего недолгого пребывания в гимназии постоянно спорил с учителем закона божия, отрицая «Книгу бытия», сказку о шести днях творения. По доносу попа учителя уволили.

Очень скоро Володя потерял интерес к учебе и опять перестал готовить уроки. В свободное от занятий время, спасшись от гимназических стражей, мальчики катались на коньках по неокрепшему льду прудов. Случалось, Володя проваливался в воду, но благополучно выбирался и даже не болел — сказывалась отцовская закалка, постоянное пребывание на воздухе. В сплоченной компании сверстников, готовых в огонь и в воду друг за друга, мальчик забывал о еде, о тяжелой обстановке, которая последнее время сложилась в семье. Отец стал совсем плох. И одна мысль владела теперь им: во что бы то ни стало до-

служить до пенсии, не оставить семью нищей. В последнее время судье особенно приходилось быть начеку: в город зачастило начальство с ревизиями.

Большое волнение и многочисленные толки вызвал приезд в город генерал-губернатора Юго-Западного края Безака. У дома исправника генерал увидел крошечного гимназистика, не снявшего перед ним фуражки, и велел арестовать его.

— Безобразие, полячки́ не снимают перед начальством шапок, — ревел разъяренный Безак.

Директор гимназии, явившись к начальнику края, решительно потребовал освобождения мальчика, и самодур уступил: Савицкого выпустили из каталажки.

Вечером этого дня у судьи играли в карты несколько знакомых чиновников. Все дивились бесстрашию директора. Говорили, что у него есть «сильная рука» в Петербурге, и, кроме того, Савицкий оказался не поляком, а русским.

— А, толкуйте... — сказал отец, и Володя изумился его спокойной, непоколебимой уверенности в правоте своих слов. — Просто действовал человек на законном основании, и баста!

— Но ведь Безак!.. Назначен самим царем!

— Все мы назначены царем, — возразил отец.

А у Володи этот случай поколебал доселе прочное представление о титанической, но разумной силе высшей власти. Генерал-губернатор, начальник огромного края, представитель этой власти, схватил за ухо маленького простодушного клопа и — получил отпор, потому что действовал против закона. Директор же действовал по закону и потому победил.

Володя кончил четвертый класс. На лето детей отправили в имение родственников Харалуг. Эвелина Иосифовна осталась с больным мужем.

Весело и шумно в компании молодежи проходило лето. Беззаботное время кончилось в тот день, когда посыльный принес из города записку от матери, что отцу плохо.

Галактион Афанасьевич был еще жив, но говорить уже не мог. Дети подошли, стали у постели, и он смотрел на них долгим, нежным, прощальным взгля-

дом. Трое подростков-сыновей, совсем маленькие дочери... Что будет делать с ними хрупкая, болезненная, бесконечно добрая, но никак не приспособленная к жизни жена? Нескольких месяцев не дотянул он до пенсии, а уж как крепился...

Все вышли. Володя остался. Он подошел и взял большую, тяжелую, бессильную отцовскую руку и, не умея сказать о своей любви и уважении к умирающему за его трудную, честно прожитую жизнь, прижался к руке губами.

Отец умер на следующий день. Много народу шло за его гробом — больше всего бедноты, мещан и евреев с городских окраин. Шумел в деревьях и мел дорогу ветер, из-за решеток тюрьмы на печальную процессию глядели арестанты. Под стеной маленькой деревянной церкви вырос новый холмик. Володя с трудом увел плачущую мать прочь от последнего пристанища судьи Короленко.

После смерти отца семья осталась без всяких средств к существованию. Друзьям покойного с большим трудом удалось выхлопотать вдове жалкую пенсию.

Разноплеменная душа обретает родину

В гимназии появился новый учитель словесности — Вениамин Васильевич Авдиев. На одном из первых уроков он прочитал гимназистам рассказ «Два помещика» из тургеневских «Записок охотника». Володю потрясли простота и правдивость этого произведения. Все знакомо, словно не раз виделось им самим. Та́к надо видеть; та́к надо писать о простом, на первый взгляд сером, неприметном, но по-настоящему жизненном и важном.

С этого времени художественная литература — и прежде всего русская литература — перестала для юноши быть просто развлечением, а стала делом увлекательным, серьезным и необходимым.

У Авдиева на квартире по вечерам стали собираться его ученики, образовался кружок любителей

русской литературы, и впервые — как откровение для всех — зазвучали стихи Некрасова, Шевченко, повести Тургенева, Писемского, статьи Белинского, Добролюбова.

Крепче других привязался к новому учителю Володя. Только Авдиев сможет ответить на те вопросы, которые его волнуют, поможет найти себя.

В эту пору родилось и окрепло в Володе стремление воспроизвести, отобразить все, что виделось вокруг. Как он это сделает, юноша еще не знал. Он неплохо рисовал, его пейзажи приводили в восторг товарищей, их хвалили учителя, но они мало удовлетворяли самого Володю. Он видел, что схвачено только внешнее сходство, есть лишь контур, общие черты, но нет главного — не передана задумчивая массивность развалин, нет ощущения высоты в тополях, не чувствуется воздуха в небе, прозрачности в воде тихих прудов. Он бессилен воспроизвести все это кистью или карандашом.

А что, если все это описать?

Володя откладывал альбом для рисования и, сидя в лодке на середине пруда перед замком, надолго задумывался. И тогда мертвые руины словно оживали. На балконе появлялись красивые женщины и молодые рыцари. Раздавались выстрелы, лязг оружия, крики, ржание боевых коней... Внезапно являлась иная картина: старый, задумчивый, точно печалящийся о прошлом замок на острове, вечно шепчущие о чем-то синему безбрежному небу высокие тополя, маленькие домишки окраины с неяркими, робкими огоньками, люди, что живут в этих домах...

И опять в юношеском воображении все менялось. Гайдаматчина. Польский замок штурмуют казаки (как в поэме Шевченко «Гайдамаки», которую Володя прочитал в списках), белым дымом окутался остров...

В этот мир юношеских порывов, неосознанных стремлений, сбивчивых волнующих мечтаний, где причудливо смешивались реальная, но скудная впечатлениями жизнь и яркое, но мертвое романтическое прошлое, русская литература вошла властно, уверенно, на правах хозяйки, владычицы душ. Ее

светом озарилось все вокруг — и зародившаяся в юном сердце наивная мальчишеская любовь к сероглазой девочке в беличьей шубке, и смутные, робкие поиски чего-то высшего, сильного, всеобъемлющего, что вобрало бы в себя и избыток молодой энергии, и жгучие порывы к романтическому прошлому, и жажду подвига, — словом, все, чем наполнялось Володино существо в трудный переломный период последних гимназических лет.

Странное дело, размышлял Володя, Авдиев пел украинские песни, читал Шевченко и любил все это не меньше, а может быть и сильнее, чем «ненастоящий» Буткевич, но у него на первом плане стояло другое — большая человеческая мысль.

Авдиев дал мощный толчок смутным, неоформленным чувствам и мыслям, которые тревожили юношу и которые впоследствии отлились у Короленко в четкие формулы. Он помог Володе обрести родину. Это была уже не Польша, не Украина, не Великороссия — это была великая область русской мысли, русской литературы, область, где господствовали Пушкин, Лермонтов, Белинский, Добролюбов, Гоголь, Некрасов, Салтыков-Щедрин.

Недолго продержался в гимназии Авдиев — он не умел подлаживаться к начальству и вынужден был перевестись в другой город.

Володя, как и многие другие гимназисты, словно осиротел. Какая-то страшная пустота образовалась вокруг, когда не стало Авдиева. Впоследствии Короленко узнал, что и умер он все в той же скромной должности учителя словесности, сохранив до конца дней яркую оригинальность своей талантливой натуры.

В гимназии Володя шел в числе лучших учеников. Он много читал, предпочитая новейших беллетристов — Мордовцева, Омулевского, Бажина, герои которых вступали в жизнь с лозунгом разрушения старого мира. Но Белинский и особенно Добролюбов оставались для юноши высшими авторитетами, Тургенева он любил фанатически. С Рахметовым Чернышевского Володя еще не познакомился, но жажда

героического распаляла его воображение, будила мечты о будущем... Где-то в России назревают важные, решающие события. Молодой человек лет двадцати пяти, невысокий, крепкий, с умным и твердым взглядом (это и он сам и не он) отправляется туда. Неудачная первая любовь заставила его отказаться от личного счастья и целиком отдаться трудной и опасной работе. Его знают немногие, но кто знает, тот в нем уверен: «Этот N. N. — человек умный, на него можно положиться...» Его преследуют, и он уезжает в глухую провинцию. Здесь вместе с «друзьями из народа» он работает в мастерской, читает им запретные книги и рассказывает о том, чтó зреет в далеких бурных столицах...

Это мелькало пока в воображении, а в действительности были опротивевшая гимназия, усиленный надзор за душами и поступками учеников, стесненное состояние семьи, постоянно озабоченное милое лицо матери.

Уже перед самыми экзаменами произошел случай, который едва не окончился для Володи печально. Во время урока он увидел за стеклянной дверью подслушивающего надзирателя. Попросившись из класса, Володя открыл дверь, и все увидели Диткевича, занятого привычным делом. После уроков надзиратель грубо потребовал, чтобы Короленко остался в карцере, а когда юноша отказался, то попытался силой заставить его подчиниться. Володю взорвало. Это был один из немногих в его жизни жесточайших порывов безрассудного гнева. Глядя в маленькие зеленые глазки, он громко сказал:

— Вы шпион, негодяй и идиот!

В эту минуту в маленькой фигурке соглядатая для Володи словно собралось все зло, которое давило и угнетало его все годы гимназической жизни. А сознание, что он бросил этому злу открытый вызов, доставляло неиспытанное ранее наслаждение.

Володя отделался только отсидкой в карцере — из гимназии, вопреки опасениям, его не исключили.

...Последним экзаменом был закон божий. Сегодня надо забыть о всех доводах материалистов против

веры, о «натурфилософе» из гимназической легенды, о том, что на уроках закона божьего протоиерей в качестве последнего аргумента против «суемудрых толкований» любознательных мальчишек выдвигал требование веры без внутренней убежденности. Надо забыть о том, что год назад законоучитель выдал гимназическому начальству тайну исповеди. Надо, наконец, хоть на сегодня, позабыть о том, что в жизни с ее глубиной, сложностью, нравственными запросами для слепой, бездушной веры не остается места.

Зажав под мышкой катехизис и учебник по истории церкви, Володя шел на экзамен... А через час, веселый и возбужденный, размахивая ненужными уже книгами, мчался домой, чтобы обнять мать и сообщить, что он свободен.

Свобода! Свобода! Все вокруг привычное и — новое. Через несколько дней им раздадут аттестаты (а выпускник Короленко получит серебряную медаль!); они отпразднуют вместе с учителями в погребке Вайнтрауба свое вступление в новую жизнь и — прости-прощай, Ровно! Володя поедет в Петербург, пока в Технологический институт, а потом и путь в университет будет открыт. Только бы поскорей уехать отсюда — от мрачного замка, гниющих, стоячих прудов, сонной, ленивой жизни захолустья — навстречу новым дорогам, заманчивым мечтам.

Где-то там, за пределами ровенского мирка, шумит, волнуется, ищет новых жизненных путей большой, притягательный, желанный новый мир.

Оттуда донеслись отголоски нечаевского процесса.

Один из учителей дал Володе газету с отчетом о процессе, и первое, о чем подумалось юноше, было: «Значит, и у нас есть уже это...» Появились люди, думающие не о себе, а о народном бесправии. А раз они есть, то скоро и он сам окажется среди них, в студенческой среде с ее брожением, новыми идеями и запросами. Только зачем же Нечаев убил ни в чем не повинного студента Иванова, хотя знал, что он не изменник? Что-то уж очень невероятно все это, может быть, газета лжет?.. Юноша еще слабо разбирался в общественной борьбе и только впоследствии

узнал, что в революционной среде авантюристическая деятельность Нечаева встретила почти единодушное осуждение.

И вот в конце лета 1871 года мать и дядя отвезли Володю в Бердичев, откуда начиналась железная дорога. Чтобы снарядить сына, Эвелине Иосифовне пришлось заложить свою пенсионную книжку, продать некоторые вещи. В кармане Володи лежало извещение, где было напечатано, что он принят на первый курс Петербургского технологического института и обязан явиться к 15 августа. Подпись: директор Ермаков. Он ждет к себе студента Короленко В. Г. для выполнения им высокого назначения.

Третий звонок. Мать горячо целует сына и крестит крамольным польским крестом. По ее лицу текут, не переставая, слезы. Володя крепится, хотя ему тоже очень хочется плакать. Поезд дергает раз, другой, юноша вскакивает на подножку.

— Прощайте, мама, дядя! Прощай, Ровно!

Поезд гремит, лязгает, рвется вперед. В уголке вагона третьего класса примостился Володя Короленко с тощим узелком, в смешном костюме из какой-то сверхпрочной материи, в широкополой шляпе на буйных кудрявых волосах.





II. В СТОЛИЦАХ

Родина-мать! нет ни счету, ни сметы
Змеям, что были тобою пригреты.

. . . .

Всюду душил тебя льстивый сенатор,
Хищный чиновник, жандарм, император,
Поп и помещик, судья и купец;
Грабил последний судейский писец. .

. . . .

Родина-мать! Разверни свои силы,
Жизнь пробуди средь молчанья могилы!
Встань! Угнетенье и тьму прекрати
И за погибших детей отомсти!!.

Н. А. Морозов

Бесплодные попытки

Мир беспределен, ярок, полон огорашивающего шума, ослепительной новизны. Мир — это Киев, Курск, Москва, Петербург, это грохочущие поезда, шумная толкотня станций, пестрая, говорливая человеческая река московских площадей, сдержанное громыхание экипажей на прямых петербургских улицах.

Владимир — в Петербурге! В Петербурге, откуда исходила вся русская литература, настоящая родина

его души. Здесь жили Белинский и Добролюбов, здесь живут Некрасов, Щедрин, Михайловский... Вот здесь, на Невском, можно встретить гоголевского поручика Пирогова. Здесь обитают герои Достоевского, и среди женщин на панелях Невского не одна близка по судьбе Соне Мармеладовой...

Мглистые сумерки быстро опускались на Петербург. Вот уже зажглись ряды газовых фонарей. От Знаменской площади цепочка огней уверенно уходила вдаль по широкой невской перспективе, и слева, над Лиговским каналом, откуда несло промозглой сыростью, робко мигали редкие тусклые светильники.

Когда тебе восемнадцать лет, даже те 17 рублей, с которыми ты появился на вокзальной площади Петербурга, кажутся целым состоянием. Впереди студенческая жизнь, лекции, товарищи, профессора.

С двумя студентами-технологами Владимир поселился в Семеновском полку, на Малом Царскосельском проспекте, в «мансарде», у супругов Цывенко.

В ближайший же день новый член маленькой «коммуны» попросил свести его в институт. Вызвался Збигнев Негребецкий, земляк-ровенец.

Высокий статный красавец Збигнев был когда-то звездой в гимназии, а здесь он не сумел перейти на второй курс. Милое приветливое лицо приятеля бледно, он в худых сапогах, плохо одет.

Третий член «коммуны», Васька Веселовский, бывший семинарист, сегодня обронил фразу: «С нами тут, братец, добра не наживешь...» Все ясно: они голодают, им не до учебы. Но Владимир сумеет преодолеть все ради жизни в Петербурге, ради учения. Восторженное настроение не покидает юношу. Все вокруг ново и интересно до крайности. Чем ближе к институту, тем чаще мелькают зеленые околыши фуражек студентов-технологов. Формы у них нет, одеты кто в чем, преобладают высокие сапоги, темные блузы с ремнем. Почти у всех длинные, до плеч, волосы, пледы, многие в очках. «Интеллигентные рабочие с печатью мысли».

Негребецкого остановил какой-то студент, заго-



Эвелина Иосифовна Короленко — мать писателя. С фотографии, сделанной В. Г. Короленко в 90-х годах.



Житомир. Вид на реку Тетерев.



Володя Короленко — ученик Ровенской реальной гимназии. Фото 1871 года.



Вениамин Васильевич Авдиев — учитель Ровенской гимназии.



Реальная гимназия в г Ровно.

релый, оживленный. Желание поделиться с кем-нибудь новостями распирало его. Летом для практики ездил на паровозе с балластными поездами в Полесье. Был сначала кочегаром, потом помощником машиниста. Интересно!

Их окружили, и начались рассказы. Почти все были на практике — простыми рабочими, монтерами, табельщиками. Денег это давало немного, зато впечатлений более чем достаточно.

Движение «в народ» еще не начиналось, но в молодежи уже созрела уверенность, что необходимо идти на борьбу за справедливый социальный строй ради интересов страдающего народа.

Владимир чутко улавливал это настроение, которое так совпадало с его собственными мечтами о будущей деятельности. Образ N. N., человека известного немногим, дополнился рядом черт... В институте он овладевает техникой, живет в казарме среди рабочих, читает им книги об иной, лучшей жизни. Вот он на паровозе зорко глядит вперед, и машина несется в ночи, сквозь ночь, к неведомым станциям, к новым этапам обновляющейся жизни. А по сторонам приветливо мерцают огоньки российских деревень, и их обитатели, простые, добрые трудовые люди, ждут от молодых искателей новых откровений о будущей справедливой, хорошей жизни...

Кудрявую голову нового технолога вместо мягкой шляпы покрыла зеленая фуражка, на смену немыслимому костюму пришла серая блуза, туго перепоясанная ремешком. Оставалось пойти по пути перевоплощения в рабочего-интеллигента с умным взглядом, каким теперь представлял себя Владимир в будущем.

Но сделать это оказалось не так просто. Очень скоро Владимир узнал, что такое голод бедных студентов, обитателей наемных комнат под самыми крышами.

Совсем немного требовалось, чтобы быть сытыми: всего двадцать копеек. Когда они появлялись, на четырнадцать копеек брали чесночной колбасы, на шесть копеек — черного кислого хлеба, и «коммуна» обедала.

От голода притуплялась память, запах еды вызывал уже только отвращение. Спасали лишь молодость да железное здоровье. С трудом добредал Владимир вечерами после чертежной или библиотеки до своей «мансарды».

Иногда хозяйка Мавра Максимовна приглашала его к своему столу, поила чаем с булкой, жалостливо причитала по поводу его голодного вида, плохой одежды. Как-то добрая толстуха рассказала Владимиру о бывшем жильце, рабочем, арестованном полицией «за книжки» и желание поравнять богатых и бедных.

— Взяли нашего Павла Карповича на заводе... домой зайти не дозволили. Пришли сюда на квартиру... Рылись, рылись, все книжки смотрели... Так и не видели мы больше нашего Павлушу. Посылала я Цывенку своего, потом уже сама была не рада...

— Что же сказали? — спрашивает Владимир.

— «Что́ вы, — говорят, — господин Цывенко... верный слуга, а об таких людях интересуетесь... Такого человека надо в каменный столб замуровать, раз в неделю спрашивать: живой ли еще...»

Владимир заинтересован и взволнован. Впервые он слышит о том, что идеи Фурье и Сен-Симона, которые казались ему далекими от жизни, нашли доступ в рабочую среду. Значит, не только интеллигенцию интересуют эти вопросы. Вот ведь простой рабочий с товарищами пытался приложить социалистические формулы к жизни.

Вскоре знакомый студент предложил посетить одно «тайное собрание», и Владимир с радостью согласился.

Собрание разочаровало его. Оно показалось просто скучным. Серьезный студент в очках говорил о необходимости отдать все силы на пользу родного народа. Но присутствующие словно ждали еще чего-то, может быть нового, последнего откровения, которое бы разъяснило, что́ же надо делать, как действовать ради желанной цели.

«Скучное собрание», однако, настойчиво разыскивала полиция. К Мавре Максимовне тоже наведались.

— Где ваши были третьего дня?

Но арест рабочего Павла кое-чему научил женщину.

— Мои смирные, всё учатся, — соврала она.

Владимир задумался. «Правительство боится таких сборищ молодежи. Значит, в них есть что-то важное...»

«Вы были на собрании, ну, что там?» — тихо спрашивали Владимира товарищи, и он уже теперь не решался ответить, что там было «скучно».

К весне стало ясно, что год потерян. «Коммуна» распалась. Осенью 1872 года на север из Ровно перебралась семья Короленко. Илларион определился в техническое училище. Юлиан занялся переводами. Эвелина Иосифовна с младшей дочерью поселилась у родственника в Кронштадте. Маша уже училась в Екатерининском институте в Москве.

Хотя Владимир и решил (в который уже раз!) начать «новую жизнь», ничего у него не получилось. Вместо учебы приходилось подыскивать работу. Он рисовал атласы и географические карты, брал чертежи, вместе с Юлианом занимался переводами для известного издателя С. С. Окрейца и за эту неблагодарную, изнуряющую работу получал гроши.

И на второй год не удалась «новая жизнь».

Начался третий учебный год. Конец 1873 года застал Владимира в корректурном бюро некоего А. О. Студенского. С Юлианом они жили в крошечной оклеенной темно-синими обоями комнате, очень напоминающей гроб. Работать приходилось с раннего утра до поздней ночи с маленькими перерывами на обед.

Теплая ясная осень сменилась сырой безморозной зимой; все раньше зажигались огоньки в их сумрачном Демидовском переулке. В один из таких вечеров молодой человек понял, что так дальше продолжаться не может. Отвратительным казалось все: мрачная корректорская, опостылевшая работа, даже собственное будущее.

Владимир оделся и вышел. Побродил — тоска не проходила. Оглянулся, словно ища причину. Ну да,

конечно, во всем виноваты петербургские фонари: они звали, манили, обещали — и что же?.. Прочь отсюда, в Москву, в Петровскую академию, куда давно зовут друзья!

Поднявшись в корректорскую, Владимир заявил Студенскому, что берет расчет. Съездил в Кронштадт, попрощался с матерью...

В Петровской академии беспорядки...

Как отрадно после бесцельного и вдобавок полуголодного существования войти в иную жизнь. Владимир аккуратно посещал лекции, умеренно зубрил, читал по вечерам разнообразнейшую литературу, в том числе и запрещенную.

Он поселился с товарищами в одной из «дачек», расположенной неподалеку от академии.

Часто собирались сходки, приезжали студенты и курсистки из Москвы. Мало пили, зато много спорили и много пели.

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал,
За героев его,
За его идеал.

А потом вполголоса кто-нибудь начинал:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Вечер по традиции заканчивался новой, революционной «Дубинушкой»:

Чтобы барка шла ходчее,
Надо гнать царя в три шеи...
Эх, дубинушка, ухнем,
Эх, зеленая, сама пойдет!..

Владимиру эти вечерние сборища казались несерьезными. Теперь он считал себя хорошим знатоком жизни и находил, что позиция скептика самым наилучшим образом соответствует его нынешнему мироощущению.

В учебе он делал заметные успехи: хорошо сдал

экзамены и был переведен на второй курс со стипендией.

Незадолго перед каникулами, летом 1874 года, состоялось знакомство Владимира с человеком, который стал потом одним из ближайших, сердечных друзей всей его жизни.

Василий Григорьев и его товарищ Константин Вернер со второго курса инженерной академии решили оставить армию и перейти в Петровскую академию. К Григорьеву Владимир почувствовал сразу глубокую симпатию. Василий и его товарищ не желают служить военной бюрократии, они ищут чего-то, может быть, того же самого, что и он. Разговоры с самого же начала знакомства стали откровенными. Вдумчивый, серьезный, очень располагающий к себе, Григорьев выслушал нового товарища с глубоким вниманием.

«Старые» студенты с их бесшабашным разгулом кажутся Владимиру более интересными, чем нынешние с их игрой в тайные сходки и собрания, с громкими фразами о помощи народу. Нужно не это. А что именно — он не знает.

Григорьев в ответ как-то хорошо, умно усмехнулся и огорошил, убил Владимира замечанием:

— Помнится, у Писарева в статье «Наша университетская наука» сказано примерно так: «Скептицизм, переходящий за известные пределы, становится подлостью...»

Владимиру эта мысль была знакома, но сейчас, в устах Григорьева, она неожиданно обрела новый, важный, глубинный смысл. И чем больше он задумывался, тем яснее становилось для него, что он непростительно самонадеянно и поспешно облек себя в одежды скептика и зря взялся преподавать уроки скороспелого, беспочвенного разочарования. Они не по нему, и он не для них!..

Дружба с Григорьевым и Вернером постепенно положила предел старому настроению. Они стали частыми посетителями сходок, тайных собраний, которые устраивались то в академии, то студентами университета и технических учебных заведений. Часто

приезжали агитаторы из Петербурга. Движение учащейся молодежи обрело, наконец, конкретный лозунг: звали идти «в народ». Все чаще стали исчезать студенты. «Уехал на Волгу...», «На Украину...», «На Дон...» — передавали потом.

И почти тотчас с движением «в народ» начались аресты.

Чувство необыкновенной радости жизни, уверенности, что ему и всему его поколению предстоит сделать что-то выдающееся, необыкновенное, героическое, отчего жизнь вдруг изменится и станет совсем иной, все росло, переполняло Владимира. Он сам стал выступать на сходках, мало-помалу преодолевая свою природную застенчивость.

Говорил горячо, дельно. Имя его становилось популярным у молодежи, зараженной известным «настроением».

Владимира захватила народническая теория Лаврова. В отличие от Бакунина, Ткачева, требовавших немедленных действий во имя великого служения страдальцу народу, Лавров выдвигал задачу серьезной научной подготовки будущих пропагандистов. Это совпадало и с желанием Владимира завершить образование в академии. Вооруженный знаниями, он будет с большей пользой служить делу народа.

Памятной осенью 1875 года, когда шел уже третий год учебы Владимира в академии, на одном из собраний он встретился с Авдотьей Ивановской, слушательницей Лубянских курсов. Их никто не знакомил, они ни разу не заговорили друг с другом, но от мысли, что в уголке сидит и внимательно слушает девушка в темном платье, которое так идет к ее бледному выразительному лицу, и ее задумчивые глаза нет-нет да остановятся на нем, — от этой мысли становилось легко и радостно. В мечтах, в беглых, неоформленных мыслях мелькало, теплилось новое чувство, говорившее о том, что вот оно, пришло то, что он искал. Высокая, стройная, с тяжелой пепельно-русой косой и спокойными, плавными движениями Душа Ивановская, как ее все называли, овладела

сознанием и мыслями скромного, застенчивого Владимира.

Как-то раз во время горячего спора к нему обратились за арбитражем. Он рассудил дельно и умно, и в глазах девушки увидел согласие и сочувствие.

Они встречались лишь на собраниях, говорили только о «деле», о «народе».

...Дуню арестовали весною, когда в парке шумели ручьи. Арестовали по делу о пропаганде в Москве и Вологодской губернии. При обыске у нее были найдены запрещенные издания, подложные паспорта, оружие...

Климент Аркадьевич Тимирязев читал у «лесников» ботанику и физиологию растений. Владимир относился к профессору с обожанием. Он рисовал для лекций Тимирязева демонстрационные таблицы, часто посещал профессора в его маленьком деревянном домике и при этом ловил себя на мысли, что испытывает к нему такие же чувства, как некогда к Авдиеву.

Тимирязев был одним из немногих профессоров академии, которых студенты искренне любили. В 1876 году Тимирязеву было тридцать три года, он живо интересовался общественными вопросами, которые так будоражили студентов (говорили, что в свое время он был исключен из университета за участие в сходках). Профессор был предан науке беззаветно, до конца — это тоже сближало его с молодежью.

Студенты верили, что установившийся в последнее время фискальный режим в стенах академии не может не возмущать Тимирязева, и постоянно вызывали его на беседы, не имеющие отношения к ботанике и физиологии растений.

Вокруг Тимирязева собралась большая группа студентов.

Один из них, высокий, угловатый, говорил быстро, горячо, напористо.

— Да, профессор, мы тоже ценим науку, но мы не забываем, что в то время, как интеллигенция красуется на солнце, — студент почему-то указал на

таблицу, где изображалось влияние солнца на жизнь растений, — в это время там, где-нибудь в глубине шахт, роются люди... Вот именно, как говорит Некрасов: «...предоставив почтительно нам погружаться в искусства, в науки...»

Владимир видел поверх голов, как у нервного, подвижного Климента Аркадьевича лицо омрачилось, он сделал протестующее движение, но спохватился, вынул часы:

— Господа... Пора начинать лекцию...

Тимирязев читал, как всегда, ярко, зажигательно. Шаг за шагом раскрывал он фазы процесса, где в сложном взаимодействии существуют животное и растительное царства.

Серые живые глаза Тимирязева сверкнули. «Сейчас он перейдет к предмету спора», — мелькнуло у Владимира. Он беспокойно пошевелился. Тимирязев быстро взглянул на него — под усами, на тонких губах скользнула улыбка.

— ...Вот, господа, зернышко хлорофилла, совершающее великую работу. Оно в листе. Лист красуется и трепещет в воздухе, залитый потоками света, в то время когда корни роются глубоко, в темных глубинах земли...

Тимирязев разыскал в аудитории своего оппонента, и улыбка осветила его лицо. Он приглашал выслушать его доводы.

Нет, роль листа не украшение, не простая «эстетика растения». В нем начало всей экономии живой природы. Это он ловит солнечную энергию, он распределяет ее от верхушечной почки до концов корневых мочек. И когда он красуется в лучах солнца, когда он трепещет под дыханием ветра, в это самое время он работает в великой мастерской, где энергия солнечного луча как бы перековывается в первичную энергию жизни.

Профессор оглядел аудиторию своими мудрыми и наивными глазами.

— Напомню вам, господа, басню Крылова «Листы и корни».

«Мы те, —
Им снизу отвечали, —
Которые, здесь роясь в темноте,
Питаем вас. Ужель не узнаете?
Мы корни дерева, на коем вы цветете.
Красуйтесь в добрый час!
Да только помните ту разницу меж нас,
Что с новою весной лист новый народится,
А если корень иссушится, —
Не станет дерева, ни вас».

— Да, люди науки могут без оговорки принять это ироническое сравнение. Если они листва народа, то мы видим, какова действительная роль этой листвы. Общественные формы эволюционируют. Просвещение перестанет когда-нибудь быть привилегией. Но каковы бы ни были эти новые формы — знание, наука, искусство, основные задачи интеллигенции останутся всегда важнейшим из жизненных процессов отдельного человека и всей нации...

На несколько коротких мгновений застыла тишина, а потом аудитория разразилась громом аплодисментов. Тимирязева окружили. Потом расступились перед его оппонентом. Тот протянул руку Тимирязеву, развел руками, и вновь задрожала аудитория от мощных рукоплесканий.

А вскоре академия глухо заволновалась. Возмущали студентов и мелкие придирки начальства, и обыски в казенных номерах, и помощь администрации полицейским в поимках тех, кто, скрываясь от полиции, жил без прописки. В аудиториях стихийно возникали студенческие сходки. Большинство стояло на умеренных позициях, считая, что надо требовать лишь отмены мелочных регламентаций. Но группа, в которую входили Короленко, Григорьев, Вернер и их друзья, настаивала на том, чтобы подать директору заявление о сыскной роли академической инспекции.

В спорах прошли две недели. Наконец после одной особенно бурной сходки Короленко и Григорьев объявили, что в прениях больше не участвуют, составят заявление и подадут его даже за двумя подписями. Надо же сказать всю правду!

Владимир написал заявление директору и первым поставил свою подпись, а за ним к столу подошли Гаврила Жданов — земляк, ученик Авдиева, — Григорьев, братья Пругавины, уроженцы Архангельска... Вернер, собравший одиннадцать подписей, присоединил их к заявлению позднее. Всего подписалось девяносто человек...

На следующий день, 13 марта, Григорьев и Короленко, выбранные в качестве депутатов, отправились к директору.

В коридорах и аудиториях стояла тишина, хотя никто не занимался.

Королев взял листы с заявлением и подписями и стал читать со слегка пренебрежительным видом, пожимая время от времени плечами.

— Вы говорите здесь о книге для отлучек студентов, о столовой и прочем, — это может решать совет академии. Но здесь упомянуто оскорбление, якобы наносимое не отдельным лицам, а всем. Потрудитесь объяснить, что это значит.

Ответить хотел Григорьев, но Владимир опередил его.

— Мы имеем в виду, — проговорил он, — последний инцидент с попыткой задержания инспекторами студента. Это заставляет нас смотреть на канцелярию академии, как на отделение московского жандармского управления, а на представителей академической администрации, как на его послушных агентов.

Директор нахмурился и прервал Владимира:

— Вы задеваете такие мотивы, которые я с вами обсуждать не вправе. Это касается общего положения вещей...

Помолчал и сухо произнес, вставая:

— Вашему заявлению будет дан ход.

Тогда они коротко поклонились и вышли.

В академии возобновились занятия, но студенты были очень взволнованы, осторожные и трусы нападали на депутатов, говорили даже о контрзаявлении. Через несколько дней Короленко, Григорьева и Вернера вызвал к себе для объяснений специально приехавший по поводу волнений в академии

товарищ министра государственных имуществ князь Ливен.

Вызовы чрезвычайно возбудили студентов. В комнате Владимира собралось множество народу. От профессоров узнали, что Ливен чуть ли не прямо с вокзала отправился совещаться с московским генерал-губернатором Долгоруковым и завтра его ждут в академии. Тут же ночью принялись срочно собирать для Владимира, весьма беспечного насчет своего костюма, приличную одежду. Принесли черную новенькую пару, рубашку с крахмальным воротничком, щегольской галстук, лакированные ботинки — все сборное. Депутаты, приехавшие к Ливену в гостиницу, не застали его и вернулись в академию. К полудню появился князь.

Депутатов пригласили в директорский кабинет, к Ливену.

Князь разразился речью.

Он командирован по высочайшему повелению. Государь очень огорчен коллективным заявлением петровцев, ибо, по уставам, студенчество не должно объединяться в корпорации, а стало быть, это заявление уже само по себе преступление. Ясно, что студенческая масса только слепо повиновалась им, депутатам, и теперь от них зависит возвращение ее на путь законности.

Князь помолчал и обратился к Григорьеву:

— Вы готовы исполнить требуемое?

Григорьев с присущими ему твердостью и хладнокровием заметил, что они трое не вожаки, а лишь выразители мнений и чувств всех своих товарищей.

— Вы тоже такого мнения, господин Короленко?

Владимир смотрел князю прямо в лицо. Собственный голос звучал незнакомо, чуждо. Да, он тоже так считает, ибо отрицать корпоративное чувство студенчества — большая ошибка. Там, где есть известная масса людей, объединенных общими интересами, идейными и бытовыми, там, несомненно, есть и корпорация. Это жизненный факт, независимо от того, признается он уставами или нет.

Ливен сделал вид, что такие речи приводят его

в ужас. Повернувшись к почтительно привставшему Королеву, князь сказал:

— Если действительно таков дух, господствующий среди ваших студентов, то я уже не знаю, как осмелюсь сообщить обо всем государю... Академию останется только закрыть.

Он потребовал от всех троих слова: пока он будет беседовать со студентами, депутаты дадут ему возможность убедиться, что студенты действуют сознательно, а не по их наущению.

Ему немедленно дали честное слово. Сторож отвел их в особую комнату и остался сторожить у дверей.

— Хитрая скотина этот князь, — сказал Григорьев. — Действует умело. Набил, видно, руку на подобных делах.

Ему не успели ответить. По коридору раздались торопливые шаги, замерли у их двери, и тотчас они услышали звонкий, знакомый, взволнованный голос:

— Вы не смеете не пропустить меня: я профессор и иду к своим студентам...

Дверь распахнулась, и в комнату быстро вошел Тимирязев. Торопливо пожал всем руки, присел на край стула.

— Знаете, господа, я не могу согласиться в вашем заявлении со многим...

Они слушали его, серьезные и молчаливые. Если кто-нибудь мог поколебать их уверенность в правоте своих действий, то только профессор Тимирязев. Но в принципе он протест не осудил, значит...

Вбежал субинспектор: профессора звали на совет. Эта торопливость показывала, что Королеву уже доложили, где Тимирязев, и он тревожится. Заглушенный расстоянием, доносился к ним из директорского кабинета голос любимого профессора, но слов разобрать было невозможно.

Снова всех троих вызвали к Ливену. Он просил их продлить свое рыцарское слово до завтра и уехать в город.

Депутаты согласились. Уже к вечеру они узнали,

что студенты принесли Ливену извинения в надежде, что будет смягчена участь их трех товарищей. Это предельно огорчило друзей. В полдень следующего дня они приехали к Ливену снова. Князь вкрадчиво попросил еще на сутки продлить данное ими слово. Григорьев категорически отказался.

— Если, конечно, мы не будем арестованы.

Ливена словно кольнули.

— Неужели вы думаете, что я приехал сюда с такими полицейскими мерами? Поверьте, ни о каком аресте не может быть и речи!

Через два часа они были арестованы.

А Владимир с товарищами почувствовал все же сладость моральной победы над торжествующим врагом. Князь унижался до лжи, лишь бы только выйти победителем в единоборстве с крамольными студентами.

Москва — Вологда — Кронштадт — Петербург

23 марта, на третий день пребывания в Басманной части, Владимира вызвали в канцелярию. Пристав передал конвоирам-жандармам бумагу, из которой явствовало, что исключенный из Петровской академии сын надворного советника Владимир Короленко высылается в Вологодскую губернию. Короленко попрощался с друзьями и — в чужом костюме, легком пальто, без белья и денег — был усажен в черную тюремному карету между двумя жандармами. Его привезли на Ярославский вокзал и ввели в переполненный вагон третьего класса.

Прозвучал второй звонок, и вдруг Владимир увидел на платформе нескольких знакомых петровцев. Они бежали вдоль вагонов, заглядывая в окна. Поезд тронулся...

В Ярославле жандармы повезли Владимира прямо в полицейское управление. Помощник полицмейстера, добродушный на вид старик, прочитав сопроводительную, еще раз взглянул на привезенного.

— Как это вас, батюшка мой, угораздило попасть в государственные преступники так рано? — беззлобно спросил он.

— Вы ошибаетесь, — возразил Владимир. — Я только студент и высылаюсь за коллективное заявление своему начальству.

— Ну, ну, это самое и есть, батюшка... Как же не государственный преступник?

От Вологды ехали уже на лошадях. В Тотьме местный исправник сообщил, что получены от губернатора две телеграммы: «Высланному студенту Петровской академии Короленко разрешено ехать на родину», и вторая, что он будет там отдан под надзор полиции с подчинением просмотру его корреспонденции.

— В случае вашего согласия, — сказал исправник, — я обязан препроводить вас обратно в Вологду с тем же полицейским служителем.

Ярко светило солнце. Журчали ручьи.

Владимир написал, что хочет отбывать ссылку в Кронштадте, где живет мать. Исправник принял бумагу, и полицейский повез Владимира обратно в Вологду.

Лихая почтовая тройка мчалась по пустынной ночной дороге. Весело трезвонил колокольчик. Под полозьями скрипел снег. Торопились поспеть в Вологду по санному пути.

Владимир не спал. Надо было бы радоваться избавлению от ссылки в далекую глушь, в Великий Устюг, но мешала грустная дума: как жить дальше, что делать? Он не очень горевал, что пришлось оставить академию, что рухнули мечты о дипломе, об уединенном домике лесника, где он напишет превосходный рассказ или поэму, о чем — это он и сам хорошенько не знал. Но теперь он твердо знал, что не станет служить государству вместе с Ливенами, — это разлагающееся прошлое. Он же пойдет навстречу неведомому будущему.

Глухо шумел лес. Ни огонька кругом, хоть скачи десятки верст.

Днем остановились в большой деревне.

Звон капели отзывался в душе ликованием молодости, весны, нерастраченных сил. Из избы вышел хозяин, отец ямщика, светловолосый, широкоплечий великан с изможденным лицом. Он был без полушубка и шапки. Подошел к саням и низко поклонился неизвестному юноше.

— Испей, приятель, не побрезгуй — на праздник варили, — и подал большой жбан с брагою.

Владимир выпил и поблагодарил. Его охватило новое, огромное чувство любви к этому человеку, к этой деревне, к широким снежным полям и дремучим лесам, которые он увидел за эту трудную неделю. Он родился далеко отсюда, он любил Волынь с ее чистенькими хатками, грустными песнями, мягкой, скоротечной зимой. Но вот права на его душу предъявляет Россия, суровые северные ее края, бесконечные просторы, участливые люди с большими руками тружеников. Скорее всего, они не ведают, чем живут теперь столицы. Глубинная народная темная Русь пока выражает свое отношение к существующему порядку только в виде робкой ласки гонимым людям. Но очень скоро все изменится. Он горячо верит в это.

10 апреля Владимир с провожатым полицейским приехал в Кронштадт и после формальностей был отпущен. Через десять минут извозчик домчал юношу на квартиру, где жили Эвелина Иосифовна с Велей. Мать только теперь узнала о злоключениях сына и, слушая его рассказ, смеялась и плакала.

Вскоре приехала из Москвы Маша, окончившая Екатерининский институт. По воскресеньям из Питера приезжали Юлиан и Илларион. Семья опять была в сборе, но ее материальное положение по-прежнему оставалось трудным. Илларион посещал училище на правах вольнослушателя, Юлиан вырвался от Студенского, но его заработок корректора, как и раньше, был невелик.

Через несколько дней после приезда Владимир поместил в «Кронштадтском вестнике» объявление:

ДАЮ УРОКИ по предметам гимназического курса и готовлю в техническое, морское и др. военные училища.

Адрес: Посадская ул., дом Калмыкова, квартира № 1. Спросить Короленко.

Там же принимают работы рисовальные и чертежные, а также корректуру.

В тот же день за ссыльным прибежал матрос — звали в полицию. В руках у полицмейстера Головачева был номер газеты с объявлением Владимира. Головачев запретил поднадзорному студенту уроки и корректуру, но... вскоре подыскал ему место чертежника в минном офицерском классе.

Здесь Владимира поразила бесцеремонная, наглая откровенность, с которой воровали подрядчики и интендантские чиновники военного ведомства, и полная беспомощность перед этим явлением честных морских офицеров. «Всюду гниль и разложение» — в этом он скоро убедился.

Кончился год ссылки. Головачев охарактеризовал поднадзорного как человека «с хорошим поведением» и «без предосудительных поступков». В канцелярии адмирала — военного губернатора — настрочили соответствующую бумагу, и вот 14 мая 1877 года министр внутренних дел распорядился снять с ссыльного Короленко полицейский надзор.

Тотчас Владимир написал в совет Петровской академии просьбу о восстановлении его в правах студента третьего курса. Получив из Москвы отказ, он подал бумаги в Горный институт в Петербурге и был принят. Осенью вся семья покинула Кронштадт.

Нет, не суждено было Владимиру Короленко стать хорошим студентом, получить диплом. Время было совсем неподходящее для учебы. Технологический институт, Петровская академия, теперь Горный институт — все эти учебные заведения были на заметке у правительства как крамольные. Впрочем, трудно было в 70-е годы найти в России институт или университет, где не бурлила бы общественная жизнь, откуда не уходили бы «в народ» студенты, где не было бы волнений и «политических преступни-

ков» — в жандармском понимании значения этого слова.

1877 год ознаменовался рядом громких процессов, которые, вопреки воле их устроителей, подняли в глазах общества престиж революционеров-народников.

В январе, когда Владимир был еще в Кронштадте, судили участников демонстрации на Казанской площади. В феврале и марте шел «процесс 50-ти».

Петербург был взволнован речью рабочего Петра Алексеева, сказавшего: «...Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах».

Говорили, что больной, угасающий Некрасов, потрясенный рассказом об этом, передал в тюрьму, Алексееву, свое стихотворение. Оно ходило по столице во множестве списков:

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие...

В октябре начался новый, «большой процесс» — «о революционной пропаганде в империи» («процесс 193-х»). Цензура уродовала газетные отчеты, на процесс допускались только люди «благонамеренные», близкие судейскому миру, но все же ежедневно столица, а затем вся страна узнавали подробности. Ипполит Мышкин воскликнул, обращаясь к украшенным сединами и орденами сенаторам: «Там, на улицах, бедные женщины из нужды продают свое тело, а вы за чины и ордена продаете свои души!» Его волокли жандармы, а он боролся и кричал что-то с зажатым ртом... Дмитрий Рогачев, человек атлетического сложения, схватил решетку и потряс ее, ужаснув судей своими проклятиями и гневом...

Александр II при конфирмации приговора усилил наказания, и в городе с негодованием говорили, что выпущенных из тюрьмы в ожидании мягкого наказания вновь сажали за решетку и ссылали в Сибирь.

Похороны Некрасова

27 декабря 1877 года умер Некрасов, а 30-го, в день похорон, с самого раннего утра у его дома собралась огромная толпа, состоящая по преимуществу из учащейся молодежи.

Владимир с несколькими товарищами был тут же. Смерть поэта была для него, как и для многих, личным горем.

Некогда некрасовские крестьяне и бурлаки вытеснили из его души шевченковских гайдамаков. Когда в безыменной вологодской деревеньке юноша увидел в глазах изможденного богатыря участие и ласку, горячей струей хлынули в его душу образы, созданные Некрасовым.

Жестокий мороз в Петербурге, и от него живые цветы на венках блекнут и съеживаются. Сухой морозный туман стоит в воздухе. Огни фонарей на Литейном не погашены, хотя уже около девяти утра. Море людей вокруг.

Выносят гроб и поднимают его на плечи. Похоронная колесница не нужна — прах Некрасова понесут к кладбищу на руках.

Депутации с венками проходят вперед. Иней снежной пыльцой покрыл надписи на лентах: «От русских женщин», «Некрасову — студенты...», «От социалистов...» Владимир оглядывает людей, тесным кольцом идущих вокруг этого венка. Вместе с типично интеллигентными лицами простые, строгие лица молодых рабочих. Рабочие проходят твердыми, уверенными шагами людей, убежденных в правоте своих действий.

Многоголосый хор стройно, величаво поет «Вечную память». Медленно-медленно движется громадная процессия, чуть колыхаясь, плывет над головами тысяч людей гроб с прахом любимого поэта и учителя.

На Владимирском проспекте процессию встретили конные жандармы, полиция и сопровождали ее до кладбища Новодевичьего монастыря. Толпа оттесни-

ла жандармов к тротуарам и не позволила войти за кладбищенскую ограду.

Владимир с товарищами, рискуя свалиться, взобрался на каменную стену. Вокруг на заборах, на деревьях, в проходах между памятниками было полно молодежи.

Последняя молитва, дьякон возглашает «Вечную память», и тысячи голосов звенят последним прощанием. На опущенный в могилу гроб летят комья мерзлой земли, глухо стуча. Падает дождь цветов. Минуты молчания. Рыдания душат Владимира. Он цепляется за ветку дерева, чтобы не упасть.

Вот над разверстой могилой встает старый друг Некрасова инженер Валериан Панаев. Он говорит, опустив голову:

— ...Русская земля, которую так любил покойный поэт и которую он воспел, как никто, лишилась одного из величайших сыновей своих, которые умеют жить жизнью своей матери родины, умеют страдать ее страданиями, плакать ее слезами...

Если бы Владимира спросили сейчас, что сам он шепчет, он затруднился бы ответом.

Сердце мое, исходящее кровью,
Всевыносящей любовью
Полно, друг мой!

После Панаева говорил известный писатель-народник Засодимский, а затем вышел вперед человек с трагически скорбным лицом. Тихим, слабым голосом произнес Достоевский несколько слов, и стало тихо-тихо...

— ...У Некрасова было раненое сердце, и не закрывающаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от жестокости необузданной воли, что гнетет нашу русскую женщину, нашего ребенка в русской семье, нашего простолюдина в горькой доле его. В поэзии нашей Некрасов заключил собою ряд тех поэтов, которые приходили со своим «новым словом». В этом смысле он в ряду поэтов должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым.

Несколько секунд тишины — и вдруг чей-то одинокий выкрик:

— Он выше их!..

— Да, да, выше, выше! — раздалось еще несколько голосов из группы молодежи, принесшей венок «от социалистов». — Они только байронисты.

— Не выше, но и не ниже Пушкина! — обернувшись в сторону кричавших, с легким раздражением ответил Достоевский.

— Выше, выше! — упорствовали молодые люди.

До Владимира донеслись заключительные слова речи:

— Ни Пушкину, ни Лермонтову, несмотря на всю любовь их к народу, признававших правду народную, не досталось имя «печальника горя народного». Это имя досталось Некрасову, последнему поэту из «господ». Близко уже время, когда новый поэт, равный Пушкину, Лермонтову, Некрасову, явится из самого народа...

Теперь Владимир закричал вместе со всеми:

— Правда! Правда!..

От небольшой группы отделился тонкий стройный юноша с высоким лбом и густыми черными бровями. На вид ему было не более двадцати лет, говорил он твердо и чуть-чуть резонерствовал. Он говорил о революционном значении поэзии Некрасова, который яркими красками изобразил бедственное положение угнетенного народа, первым в легальной русской печати воспел декабристов. Это был Георгий Валентинович Плеханов.

Последним сказал всего несколько слов мужчина в кепке и сапогах:

— Мы, рабочие, верим, что не зарастет тропа к могиле великого народного заступника...

Короткий зимний день кончался, когда опустело кладбище. Осталась одинокая свежая могила, но она не будила теперь во Владимире гнетущего чувства — с кладбища он уходил бодрым: это были мощные, подлинно общественные похороны; симпатии народному поэту были заявлены открыто и грозно. Правда, народа здесь почти не было, всего несколько ра-

бочих. Тем более — надо готовить путь грядущему, близкому перевороту.

И нельзя повторять односторонностей старой культуры — на арену должен выйти народ, поэты из народа, новые Некрасовы. Задача молодого поколения — бороться за это.

Дом № 5 по Апраксину переулку

Чтобы содержать семью, пришлось сразу же после переезда в Петербург подыскивать работу. В типографии дальнего родственника семьи Короленко И. В. Вернадского, носившей громкое название «Славянская книгопечатня», печаталась малопопулярная газета «Новости». Ее издатель О. К. Нотович пригласил Владимира в качестве второго корректора. Дела Нотовича шли плохо, он платил неаккуратно, но выбирать не приходилось. Работа была ночная, а днем Владимир посещал лекции в Горном институте.

Вечером 5 июня 1878 года Владимир с товарищем Константином Мамиконианом шел по Садовой улице. Они обратили внимание, что толпа прохожих как-то необычно возбуждена.

— Что случилось?

— У Апраксина рынка бунт...

На конке доехали до Апраксина переулка. Тут стояла толпа.

Дом № 5 населен беднотой — чернорабочими, мастеровыми. При доме состояло восемь дворников, и все они были татары. Во дворе случился какой-то выпивший матрос, и дворники собрались его отправить в часть. Из трактира выскочили несколько мастеровых — заступиться за «матросика». Тогда дюжие дворники кинулись бить защитников. Собралась толпа. Кто-то крикнул: «Татары бунтуют!» Разъяренные мастеровые избили дворников, одного выбросили с четвертого этажа. Толпа преградила путь полиции, кто-то схватил пристава за грудь, потряс:

— Смотри, и тебе то же будет. Вы с ними заодно!..

— Итак, на сцене вопрос национальный, — резюмировал Мамикониан.

Владимир не согласился с этим. Он принялся расспрашивать жильцов дома, мастеровых. Оказалось, что дворники вместе с полицией притесняют, избивают, если не дашь взятку.

На следующее утро Владимир пошел к Нотовичу за деньгами. Издатель обладал завидным умением не платить сотрудникам и оставаться с ними в приличных отношениях. Не дал он денег и сейчас, ловко переведя разговор на вчерашнее событие в Апраксином переулке. Какая жалость, что он узнал все только сегодня и не может дать в газету ни строчки.

— Я был там вчера и знаю, что произошло, — сказал Владимир.

Нотовича словно кипятком облили.

— Голубчик, Владимир Галактионович, выручите, напишите!..

— Хорошо, Осип Константинович. Я напишу, но с уговором, что вы напечатаете без изменений.

— Что еще за условия? — закричал Нотович. — Вот еще Шекспир нашелся... Ну, пишите скорее!

7 июня в «Новостях» за подписью «В. К.» появилась заметка «Драка у Апраксина двора». Одновременно несколько газет напечатали отчет о происшествии «короля» петербургских репортеров Юлия Шрейера. Здесь говорилось о вспышке национальной ненависти русских против татар — «король» явно черпал сведения из полицейских источников.

Нотович носился по редакции с «Новым временем» и «Голосом».

— Вот это называется репортерским отчетом! — кричал он. — Вот как надо писать!

А через несколько дней тот же Нотович, без тени смущения, уже говорил Владимиру:

— Да, да, статейка вам удалась: обратила внимание публики... Наша газета изменила взгляд всей печати. Мы были правы...

Гонорара он не заплатил, да Владимир и не просил. Первые печатные строки!.. Разворачиваешь еще

пахнущую типографской краской газету и знаешь, что здесь твоя статья — первая! Маленькая, подписанная не фамилией, а инициалами, но — твоя и первая!..

«Зелено еще, зелено очень...»

Еще весной братья Короленко — Юлиан и Владимир — перевели с французского книгу Жюля Мишле «Птица», снабдив ее кратким предисловием «От переводчика» и подписав «Кор-о».

Для Владимира настал период, когда жизненные впечатления и раздумья над задачами времени властно потребовали отображения. Раньше в нем преобладало желание писать — писать все равно что, лишь бы писать!.. Теперь он думал только о произведении, которое ответило бы людям на волнующие их вопросы, помогло бы в жизненной борьбе, указало пути этой борьбы.

Владимир знал, о чем он напишет в своем рассказе, который будет называться «Эпизоды из жизни «искателя».

Писалось легко. Как-то очень радостно и светло было на душе в течение тех нескольких месяцев, пока он жил со своими героями.

Средь мира дольного
Для сердца вольного
Есть два пути.
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую —
Каким идти.

Перед «искателем», юношей мятежного поколения, расстилаются две дороги: одна ведет прямо к воротам беленького уютного домика, где в окнах, сплошь закрытых геранью и розами, по временам виднеется юное личико девушки с ласковыми голубыми глазами. Недлинная, ровная, прямая дорога к сытому, довольному, добродетельному буржуазному существованию. А другая — другая полна неведомых опасностей, борьбы, лишений. Но как она зовет, эта дорога, молодое сердце своей заманчивой

неизбежностью! Длинная дорога, суровая дорога — через снежные бескрайные равнины, северные неприветливые леса, через нищие деревни и бедные городки, — дорога вечного странника, Вечного жида, интеллигента-бродяги, обреченного искать и искать и находить слишком часто то, что он не искал.

И все же он пошлет своего героя этой дорогой! На каком-то этапе трудного и долгого пути, решая или оставляя позади тысячи вопросов «зачем?», он увидит желанную цель — и шаги его станут тверды. И этой целью окажутся слабые и такие манящие огоньки российских деревень. «В дорогу, хлопче, в дорогу!..»

Еще тогда, когда рассказ был «в чернильнице», Владимир знал, куда он снесет его, — в журнал покойного Некрасова, где сейчас Щедрин и Михайловский, в любимые молодежью боевые «Отечественные записки».

Морозным февральским утром 1879 года Владимир отправился в Озерки, на квартиру Михайловского. В руках он держал рукопись рассказа, подписанного «В. К-енко».

Михайловский был вежлив, сдержан, холоден. Обещал прочесть, просил прийти за ответом, молчаливо проводил в прихожую.

Через несколько дней Владимир пришел снова, и на этот раз ему показалось, что в глазах Михайловского мелькнуло выражение некоторой заинтересованности.

— Я передал вашу рукопись в редакцию, — сказал он. — Теперь узнаете о ней уже от Щедрина или Плещеева. Сходить надо в редакцию, угол Литейного и Бассейной.

И опять с тою же холодноватой вежливостью смотрел, как начинающий писатель, путаясь в рукавах, надевает пальто.

В назначенный день и час Владимир явился в редакцию. В большой комнате было много народу; стоял Щедрин и что-то рассказывал суровым, отрывистым голосом. Слушатели смеялись. Тотчас вслед за Владимиром в комнату вошел Михайловский,

узнал своего робкого посетителя и, взяв его за руку, подвел к Щедрину. Суровое, в резких морщинах лицо Щедрина чуть-чуть смягчилось, большие пронзительные глаза вблизи оказались не такими строгими, как на портретах.

— Это вот автор того рассказа... — сказал Михайловский.

— А! — Щедрин в ответ на поклон Владимира приветливо кивнул головой и сделал рукою жест, приглашающий автора следовать за ним. — Рукопись не будет напечатана, — сказал Щедрин, когда они вошли в маленькую редакционную комнату. — Алексей Николаевич, вот надо вернуть.

Владимир поклонился, и А. Н. Плещеев, сидевший тут же за столом, очень приветливо и доброжелательно взглянул на автора, кивнул ему головой и принялся рыться в большой редакционной папке.

— Я хотел бы услышать хотя бы краткий отзыв, — тихо обратился Владимир к Щедрину.

Щедрин несколько мгновений молчал, как будто взвешивая все «за» и «против».

— Видите ли... Оно бы и ничего... Да зелено еще... Зелено очень... Алексей Николаевич, отдайте.

Щедрин пожал огорченному автору руку, и Владимир ушел. Медленно бредя по Бассейной, он утешал себя тем, что все-таки ни Михайловский, ни Щедрин не признали рассказ безусловно плохим. О том, что можно отдать рассказ еще куда-нибудь, например в «Слово», он не хотел думать. Горькие думы постепенно развеивались. Он молод, здоров, силен — у него все еще впереди.

«Печальное недоразумение»

Жильцы 21-й квартиры дома № 134 по Невскому давно чувствовали, что полиция следит за ними.

У Короленко поселился Григорьев, отбывший после подачи протеста ссылку в Олонецкой губернии; нашли приют и сестры Ивановские, Александра и

Авдотья, обе были полулегальные, жили без прописки. Дуня после ареста права жительства в столице не имела. В прошлом году Мария Галактионовна вышла замуж за студента Медико-хирургической академии Николая Лошкарева, и он тоже жил с ними.

Николай из мужчин оказался самым упрямым — он ни за что не хотел бросать учение. А Владимир и Илларион давно решили, что образование закончить им не удастся. Как и Григорьев, они остались убежденными лавристами, и вопрос о хождении в народ у них считался решенным. В планы коренного переустройства их жизни входила как ближайшая цель работа в деревне, среди народа. Владимир с Василием Григорьевым посещали сапожную мастерскую на Загородном проспекте, где их обучали ремеслу молодые рабочие-финны, сочувственно относящиеся к их идее. Илларион завел маленькую слесарную мастерскую, и предполагалось, что по окончании обучения один из братьев (кто именно — должен был решить жребий) с Василием отправится «в народ».

В спорах, беседах, дискуссиях, в долгих нелегких раздумьях выкристаллизовалось то главное, чем жил в эту бурную полосу своей жизни молодой народник-лаврист. Да, Владимир, как и его друзья, как большинство молодежи, не питает ни малейшего уважения к существующему политическому строю, основанному на полицейском всемогуществе и произволе, и к строю социальному, покоящемуся на неравенстве и привилегиях. Он готов содействовать перемене этого строя на лучший именно сейчас, когда у дверей грядущей русской истории уже стучится великий незнакомец, называемый русским народом. Народ придет и скажет свое решающее слово. Достоевский на могиле Некрасова говорил, что явится поэт из народа и поэзия станет новой. Это пророчество надо расширить: все творчество жизни перейдет к народу, станет «новое небо и новая земля».

А чтобы социальный и политический мир завертелся на новой оси, Владимир и его друзья из интел-

лигенции должны выполнить свою, пусть хоть и служебную, роль.

Владимира познакомили с несколькими революционерами, работающими в тайной типографии, и по их просьбе он в начале 1878 года вырезал из дерева для нелегальной народнической газеты «Начало» заголовок; когда весною того же года газета стала выходить, квартира Короленко однажды превратилась в перевалочный пункт, откуда пропагандисты развозили ее по провинции. Позднее, с осени, обитатели квартиры давали приют распространителям другой революционной газеты — «Земля и воля».

Полиция наверняка знала, что семья связана с нелегальными, вероятно, подозревала братьев в связях с тайной типографией. Тучи сгущались над семьей Короленко, но молодежь не очень печалилась. Владимир был целиком поглощен литературной работой. Жили хоть и небогато, но весело. В небольшой кухоньке особенно шумно становилось за полночь, когда из типографии возвращались Владимир, Илларион и Николай. Эвелина Иосифовна к часу ночи ставила самовар, и за чаем сходились все обитатели квартиры.

Но полиция была настороже. Еще 4 августа 1878 года, в день убийства шефа жандармов Мезенцева, волна обысков и арестов захлестнула всех «подозрительных». Арестовали Владимира, Иллариона и Николая, однако на следующий день выпустили: обыск не дал никаких результатов. Но семья была скомпрометирована окончательно. К ним заходил некий Рейнштейн, оказавшийся предателем. Знакомый Юлиана артист-неудачник Глебов был разоблачен братьями Короленко, как шпион. Он настрочил донос на них, уверяя, что его хотели убить. Шпионы, уже не стесняясь, дежурили у квартиры. Едва успели проводить сестер Ивановских в Москву, как явилась полиция с обыском. Короленки были готовы к ее посещению, и вновь ничего обнаружено не было.

Но через четыре дня, 4 марта 1879 года, явились уже жандармы. Хотя и теперь обыск не дал результатов, всех мужчин заставили одеться, окружили це-

лым отрядом полиции и повели на Невский, к поджидавшим черным каретам.

— За что мы арестованы? — спросил Владимир у жандармского ротмистра.

— Этого я не могу вам сказать. Но если вы не виновны и ваш арест печальное недоразумение, — вас выпустят.

Далеко за полночь Владимира привезли в Спасскую часть на Садовой улице...

Утром, взобравшись на стол, он увидел угол пустынного двора, глухие тюремные ворота, услышал знакомый звон вагонов конно-железной дороги. Столица начинала новый день.





III. В «НЕНАСТОЯЩЕМ ГОРОДЕ» И «НА КРАЮ СВЕТА»

> Все он изведал: тюрьму петербургскую,
> Справки, допросы, жандармов любезности,
> Все...
>
> *Н. А. Некрасов*

Юридических данных к обвинению нет, однако...

1877—1878 годы стали временем начала спада мощной волны «хождения в народ». Огромная крестьянская деревенская Россия, еще косная, недоверчивая заодно и к «начальству» и к своим доброхотам, не отозвалась на призывы. Процессы семьдесят седьмого и семьдесят восьмого годов отделили мирных пропагандистов от новой могучей, но вынужденно кратковременной революционной волны, вознесшей на гребень террористов. И снова еще глуше, еще непонятней молчала деревня. А города забурлили. Покушения и казни сменяли друг друга. Процессы теперь были короткие, жестокие, с виселицами и средневековыми казематами в эпилогах.

Лавину ничто уже не могло остановить. И она покатилась с оглушительным грохотом, пугая, волнуя, восхищая мощью и бесплодностью своею и постепенно иссякая.

После неоднократных настойчивых просьб Владимира Галактионовича ему предъявили, наконец, обвинение в том, что им написан адрес неизвестного ему письма на имя шефа жандармов Дрентельна. Доказать обратное не представляло труда — почерки были разные. Но в это время революционеры произвели покушение на генерала, письмо же, как оказалось, содержало предупреждение ему от революционного комитета.

Владимир Галактионович понял, что, поскольку его имя связывается с охотой террористов за шефом жандармов, рассчитывать на освобождение нечего, хотя о его действительной причастности к революционному движению — о его планах «хождения в народ» — жандармы едва ли дознались. Он, видимо, арестован только по подозрению.

Как оказалось впоследствии, Владимир Галактионович был прав в своих предположениях: попытка связать его имя с покушением на Дрентельна провалилась, но даже и неподтвержденных подозрений о связях с революционным подпольем оказалось достаточно для репрессий.

Через несколько дней последовал вызов в контору. Вернули личные вещи и деньги. «Неужели отпускают?..» Появился смотритель Майданюк:

— Поедемте, господин Короленко.

— Куда?

— Скоро узнаете.

Кони с места взяли вскачь. Карета свернула у Екатерининского канала к Мариинскому театру, обогнула его, понеслась дальше.

— Что вы все вздыхаете? — с досадой спросил Владимир Галактионович удрученного Майданюка. — Как будто не вы меня, а я вас везу неизвестно куда.

— Ах, господин Короленко, — пробормотал тот, —

сегодня я вас везу, а через месяц, может быть, вы повезете меня...

Заключенный расхохотался. Видно, непрочно стоит царская власть, если ее служители не знают, что будет с ней и с ними через месяц.

Мелькнуло печальное, похудевшее лицо матери у ворот Литовского тюремного замка. Майданюк приосанился, поправил шпагу. Знакомая процедура сдачи личных вещей, денег. Облачение в тюремный бушлат с буквами «Л.Т.З.» на спине, серые штаны. Шумный коридор, где помещаются политические.

Сквозь толпу заключенных проталкиваются Илларион и Юлиан, обнимают, расспрашивают, знакомят с остальными. Владимир словно попал в родной дом, к близким людям, только у всех осунувшиеся, землистые лица, ввалившиеся глаза. Новичка провожают до порога пятой камеры.

Быстро рассказаны новости. На волю уходят единицы, прибывают же в замок целые группы, и «население» растет. Хватают всех «подозрительных». Третье отделение распорядилось обыскивать и арестовывать, «не стесняясь ни званием, ни состоянием подозреваемых лиц». Административная ссылка без суда и следствия кажется правительству наиболее подходящим и действенным средством против общества.

За знакомство с семьей Короленко арестованы приятели Владимира Галактионовича Григорьев, Мамикониан и еще несколько человек молодежи.

Юлиана выпустили на свободу, а Владимира и Иллариона Короленко ясным майским утром в двух каретах, под охраной целого отряда жандармов примчали на вокзал. В отдельное купе влезли четверо жандармов, по двое на каждого из братьев.

Звонок — и поезд тронулся. Вот уже от Петербурга осталось дымное пятно на горизонте. Прощайте, мама, сестры, друзья!..

За три дня до отправления братьев Короленко из Петербурга на имя вятского губернатора Тройницкого было отправлено следующее отношение:

«10 мая 1879 года.
№ 6154.

III отделение собственной его императорского величества канцелярии, ввиду имеющихся сведений о дворянах Илларионе и Владимире Галактионовых Короленко, пришло к заключению, что лица эти, в числе прочих, оказываются несомненно виновными в сообществе с главными революционными деятелями, а равно в участии по печатанию и распространению революционных изданий вольной типографии.

Несмотря, однако, на столь важные указания, основанные на тщательной проверке действий и отношений названных лиц, они по неимению юридических данных к обвинению не могут быть привлечены к ответственности по суду и даже к дознанию, производимому об их главных сообщниках, так как успели, при своей изворотливости, скрыть следы преступных деяний.

III отделение, ввиду изложенного, передав названных братьев Короленко в мое распоряжение, присовокупило, что, кроме означенного общего обвинения, о них имеются еще следующие указания: они совещались между собою убить одного из секретных агентов, но злодеяние свое не успели привести в исполнение, так как об этом получены были благовременные сведения и агент от грозившей ему опасности охранен.

По докладе об этом Санкт-Петербургский временный генерал-губернатор, на основании высочайше предоставленной ему власти, определил: выслать Короленко в Вятскую губернию под надзор полиции.

Санкт-Петербургский градоначальник
генерал-майор З у р и н».

Несостоятельность — полную или частичную — предъявленных им обвинений братья Короленко не могли доказать по той простой причине, что они не знали о них. Их арестовали и, продержав более двух месяцев в тюрьме, отправили из Петербурга в ссылку. Куда? Они не знали. За что? Тоже не знали.



Климент Аркадьевич Тимирязев — профессор Петровской земледельческой и лесной академии. Фото 70-х годов.



Петровская академия (ныне Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева).



Авдотья Семеновна Ивановская (впоследствии жена В. Г. Короленко). Фото 1879 года.



В. Г. Короленко. Фото 1879 года.

Иллюстрация к рассказу В. Г. Короленко «Чудна́я». Рисунок С. Боим.



«Эх, родимые, кабы да наша воля!..»

Когда черные кареты с грохотом неслись по улицам Петербурга, Владимир Галактионович, жадно смотревший на улицу, обратил внимание, что рабочие, чинившие мостовую на Невском, поднимались с земли, снимали картузы, низко кланялись и крестились. Волнение охватило тогда молодого человека. Кто знает, может быть, опасения Майданюка не напрасны и вскоре они вернутся в свободную столицу свободной страны?

Теперь, на станциях, публика заглядывает в окна вагонов; некоторые при виде жандармов отшатываются; другие, отходя, все оглядываются с молчаливым сочувствием. Почти на каждой станции у вагона собираются рабочие, внимательные, серьезные. Они словно кого-то ищут: подойдет один, другой, заглянут и — остановятся, а через несколько минут их уже группа. Стоят молча, немного сурово, без малейших признаков обывательского ротозейства. При жандармах, однако, заговорить не решаются. Братья смотрят на рабочих, рабочие на них, и все молчат. Владимиру Галактионовичу приходит в голову мысль, что это сочувственное внимание происходит оттого, что они с Илларионом как будто иллюстрируют что-то такое, уже известное этим людям в теории. Жандармы грубо гонят рабочих. Те отходят поодаль, оборачиваются и снова молча, серьезно смотрят.

Вообще настроение у братьев превосходное, хотя впереди их ждет полная неизвестность.

Вот и Москва. Их опять везут в тюремной карете, и опять, как в Петербурге, встречные рабочие снимают шапки, кланяются. И теплеет в груди от этого мимолетного привета незнакомых людей.

Въезжают во двор Рогожской полицейской части. Что-то вроде каменного сарая с решеткой на окнах, полосатая будка, у двери странное существо в замызганной полицейской форме, с допотопным ружьем — «мушкетер».

В затхлой камере стены испещрены надписями. Братья внимательно их исследуют и страшно огорчаются: знакомым почерком Николая разборчиво написано, что 13 мая он привезен из Петербургского дома предварительного заключения. Зять был здесь вчера... Значит, дома три женщины с малышом — сыном Марии — остались без работников. Одна надежда, что помогут друзья, недаром интеллигентное общество противопоставило нынешней оргии арестов и доносов широкую заботу о семьях арестованных.

Владимир Галактионович пристраивается у окна рисовать. Набрасывает камеру, «мушкетера» у входа. Появляется смотритель. «Нельзя писать...» Заключенный убирает маленькую зеленую записную книжечку, подаренную матерью при последнем свидании. В ней на первом листе неуверенным почерком мамаша вывела: «Володя пиши пожалосто много». Он будет много писать и рисовать в этой своей первой «путевой» книжке, милая мамашенька, и прочтет вам, когда вернется.

Вечером того же дня братья оказываются на Ярославском вокзале. Выясняется, что везут их в Кострому; о дальнейшем пути жандармы не говорят.

В Ярославле братьев доставляют на пристань.

Меж двух жандармов они проходят на пароход, публика сторонится, глядит с удивлением, кто-то крестится. Владимир Галактионович ничуть не смущается от множества устремленных на него глаз; становится даже весело от мысли, что теперь исполнилась давнишняя мечта — они отправлены «в народ», только на казенный счет.

Навстречу пароходу тянется барка, на носу ее стоит молодой бурлак — загорелый до черноты, сухой, мускулистый, могучий; ситцевая рубаха расстегнута, босые ноги прочно расставлены, смотрит с гордым равнодушием. «Эх, не перевелась еще на матушке Волге удалая, гордая, хотя и голая, воля!» — думает Владимир Галактионович.

Пустые поля, редкие деревни и села уплывают и

уплывают назад. Кажется, вот сейчас на крутом яру появится удалая вольница, разудалые добрые молодцы, оглушат свистом тихие просторы реки. «Рукой махнем — кораблик возьмем, кудрями тряхнем — девицу возьмем!»

Полторы недели братьев продержали в костромской тюрьме. Выехали 25 мая к вечеру на вольных ямщицких лошадях, каждый на тройке с сопровождающим. Уже было известно, что везут их в Вятку.

Когда разморенный тряской ездой жандарм задремал, ямщик, пожилой мужик с умными, пытливыми глазами, полуобернулся к Владимиру Галактионовичу. Поглядел, помолчал, опять поглядел, но ничего не спросил. Долго ехали молча среди ночного, глухо шумевшего леса, и Владимир Галактионович уже стал подремывать, когда ямщик решился обратиться к нему.

— Что хотел спросить... За что вас везут-то в чужедальнюю сторону?

Они проговорили до самой станции.

Прощаясь, ямщик сам подал жесткую, как наждак, руку:

— Прощайте, родной, дай бог счастливо вам!

— Спасибо и вам за доброе слово. Прощайте! — отвечал Владимир Галактионович.

— Ну, ну, ладно, прощайте уж, — заворчал жандарм.

Переправились на пароме через Унжу. Подъехали к селу Дюковскому.

В селе по случаю троицы и духова дня гулянье и песни. На станции, пока перепрягали лошадей, хоровод завели прямо под окнами.

Братья целиком захвачены живой, яркой картиной народного веселья и горько сожалеют, что их ссылают не в это село. Владимир всю дорогу делает записи, рисунки.

Подают лошадей. Плотная толпа окружает группу, в которой между вооруженными жандармами идут к повозке двое юношей. Сочувственные взгляды, негромкий разговор.

— Гляди, гляди, браты ведь это родные.

— Как похожи! И одеты одинаково...

— Куды гонют?

— Счастливого пути вам, робятушки!

— Пошел, пошел! — Это кричит жандарм.

Толпа неохотно расступается, мужики снимают шапки, женщины кланяются, машут руками, что-то говорят, говорят, да только в общем шуме не слышно.

Какая-то высокая женщина, немолодая, с выражением глубокого страдания на еще красивом лице, вдруг говорит протяжно, многозначительно, так, что слышат все вокруг:

— Эх, ро-ди-и-мы-и, кабы да наша воля!..

Как электрическим током ударило Владимира Галактионовича, жаркая волна обожгла грудь. Словно сам народ вымолвил сейчас эти слова...

Бодрое настроение не оставляло всю остальную дорогу. Даже пятидневное сидение в вятской тюрьме в ожидании отправки не омрачило радости встреч с народом, о котором мечталось в столицах, о котором столько говорилось на студенческих сходках.

Скорее на место, к людям, к новой, незнакомой, но интересной жизни!

3 июня, под вечер, ямщик обернул к братьям мокрое лицо и сказал, указывая кнутом куда-то за пелену дождя:

— А вот и Глазов, город уездный...

Уездный город Глазов

Вечно шумящий угрюмый сосновый лес обступил со всех сторон этот город-селение. Жалкие серые домики стремятся уйти поглубже в землю, словно стыдясь своего жалкого существования. Только одно здание дерзнуло подняться над кромкой леса. Это недостроенный храм божий, замаранные известкой колонны которого высятся над крутым обрывом холодной быстрой Чепцы. Да и ему суждено было рухнуть через несколько дней после окончания работ...

Немало часов провел на откосе задумчивый

ссыльный. Его приводили сюда неотвязные думы. Струилась река, отражая и синее ясное небо раннего утра и неяркие звезды поздних летних и осенних вечеров, а Владимир Галактионович думал свою многотрудную, беспокойную интеллигентскую думу — о сложной, полной контрастов и противоречий, милой и постылой здешней жизни.

Иногда ему казалось, что он близок к разгадке мучительного вопроса об этом городе. Глазов в официальных документах именуется «уездным», а Короленко мысленно называет его «лишним» — есть и такие городки на корявом еще, не в обиду будь сказано, лице матушки Руси. Жизнь здесь застойная, косная, «ненастоящая». Что же нужно для того, чтобы Глазов стал настоящим?.. Пока для Короленко этот вопрос еще не ясен.

Они с братом поселились не в городе, а в слободке. Почему? Во-первых, потому, что хотелось быть ближе к ремесленному люду, к народу. Это входило в программу молодых энтузиастов. Во-вторых, в слободке жили политические — высланные из столицы за участие в забастовке молодой рабочий-финн Карл Стольберг, развитой, дельный, отличный человек и работник, Александр Христофоров и Иван Кузьмин, совсем молодые парни, слесари Семянниковского завода в Петербурге, обвиненные в «преступной пропаганде» среди своих товарищей. К радости Иллариона, организовалась слесарная мастерская на кооперативных началах, и они стали принимать заказы от местного населения. Теперь каждое воскресенье приезжающие на базар окрестные вотяки (удмурты) приносят на ремонт то ружья, то самовары, то кастрюли и котлы.

На первых порах сам уездный исправник принялся усиленно рекомендовать мастерскую глазовцам. Он очень гордился тем, что «его ссыльные» не пьют, не безобразничают, как некоторые обыватели, не создают ему лишних хлопот. Очень скоро маленькая мастерская стала своеобразным клубом, где под стук молотков и визг напильников допоздна шли разговоры на самые разнообразные темы. Владимир Га-

лактионович выписал из Петербурга — вместе со слесарным инструментом для брата и сапожным для себя — дешевые издания произведений Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого, Щедрина, которые принялся читать в «клубе».

Он решил продолжить обучение сапожному ремеслу. Познакомился с соседом, «чеботным» мастером Семеном Нестеровичем, и принялся ходить к нему — помогал в работе и сам учился.

Когда мастер убедился, что его помощник не метит открыть свою швальню, а его превратить в наемного работника, он повеселел, и отношения установились простые и хорошие.

Владимир Галактионович заметил, что чиновники и купцы, проживающие в центре городка, относятся к слободке с нескрываемым высокомерием, а последняя, в свою очередь, отвечает им бесконечным презрением.

— Господа-а,— говорит протяжно Семен Нестерович, выражая мнение слободки, — чино-овники, купцы-ы! Какие у нас господа-то-о?.. Купец, ежели настоящий, так у него капитал! Он и сам наживется и другим жить даст... Да у нас и торговать-то нечем.

— Вот верите слову, Галактивоныч, — продолжает он, — ежели собрать сейчас всех давальцев (заказчиков) и поставить в ряд, а насупротив них чеботных выставить... Так уж это я вам верно говорю: на давальца придется по чеботному!..

На лбу у Семена Нестеровича ременной ободок, который держит длинные волосы и придает симпатичному, то веселому, то задумчивому лицу мастера сходство с портретами мудрых ремесленников, какими их изображали художники Возрождения.

Владимир Галактионович знает: вся слободка роковым образом продолжает тяготеть к сапогу; все чеботные, а в числе их мудрец и мечтатель Семен Нестерович, продолжают учить своих мальчишек этому малодоходному в условиях Глазова «ненастоящему» ремеслу. Многие из мастеров заражены тоской по настоящей, хорошей работе, но дальше утопиче-

ских рассуждений о привлекательности и ином, высшем качестве «прочиих» мест не идут и менять в своей жизни ничего не собираются.

— Уйду, беспременно в Сибирь уйду! Там заработать можно, незачем здесь пропадать! — кричал в трудные минуты Семен Нестерович, но, конечно, всем да и ему самому было ясно, что этого не произойдет.

— Милый ты мой, Галактивоныч, — как-то, подвыпив, сказал мастер, — грозимся мы все в Сибирь уйти... Сибирь — одно только слово несчастное, а подумать, порассудить—здесь Сибирь-то самая, в Глазове нашем...

Прав, ох, как прав беззащитный перед жизнью Семен Нестерович! Он не видит выхода из этого существования, как не видят и другие обыватели Глазова.

Вот никто и не двигается — замерли, ждут чего-то нового, настоящего... Так пришел ответ на вопрос о Глазове: это город не «лишний», он просто пока еще «ненастоящий». В нем нет ни чугунки, ни фабрики, ни завода, ни кустарного промысла — ничего, что обусловило бы необходимость существования данного числа таких-то людей в данном месте. И вот жизнь остановлена, начинается жалкое прозябание. Выход — в развитии промышленности, в движении к экономическому прогрессу, вопреки утверждениям прекраснодушных мечтателей, каким он, Короленко, был сам до того, как познакомился с этой стороной российской жизни.

Владимир Галактионович вскоре по приезде снял комнатку, здесь он сапожничал, а по вечерам понемногу пописывал без помех — заносил свои впечатления о жизни Глазова.

Юлиан передал «Эпизоды из жизни «искателя» в «Слово», и рассказ появился в июльской книжке журнала за 1879 год. Критик «Нового времени» злобный фигляр В. Буренин тотчас разразился ругательной статьей. Владимир Галактионович написал отповедь и передал исправнику для пересылки через губернское начальство в Петербург. Статья

в печати не появилась — сгинула в недрах казенных архивов.

У молодого приветливого ссыльного завелось в городе много знакомых. Молодежь да и люди постарше заходили почаевничать, поговорить или звали к себе: «Айда-те-ко, Галактионыч, чайку с нами выпить!» Просили: «Не найдется ли книжки интересной?» Приходили заказчики — местные и приезжие удмурты, забегали девушки, среди которых прошел слух: «У Нестерыча-то, слышь, петербургский работает — любезной у него нет...»

От Дуни изредка приходили письма. Ее снова арестовали и административно выслали в город Повенец Олонецкой губернии. Поначалу она хворала, теперь поправилась.

Аресты в столицах продолжаются. Жандармы не дремлют.

Не дремлет и местная полиция. Уездный исправник, злой и глупый старик Лука Сидорович Петров, встревожился: по вечерам у старшего Короленко собираются обыватели, читают книги, беседуют. Пьют исключительно чай. К нему из окрестных сел приезжают крестьяне — русские и удмурты, он пишет им жалобы на начальство. И этому беспокойному и вредному человеку должны еще платить пособие от казны, разрешают получать из Петербурга книги и журналы, посылать какие-то статьи. Мало того, Короленко пишет жалобы губернатору на него, исправника, а министру на губернатора. Их превосходительство у него виноваты в том, что отказывают в причитающемся ссыльным пособии, а он, исправник, якобы несвоевременно просматривает письма и книги, приходящие на имя Короленко. Но скоро деятельности этого вредного человека в Глазове придет конец. Он, исправник, постарается об этом.

Петрову пришлось отложить все остальные дела, когда Владимир Короленко принес очередную жалобу на него для передачи губернатору. Исправник к бумаге ссыльного присоединил свой рапорт. «Кому поверит господин губернатор — верному слуге престол-отечества или врагу царя?.. Ясно!»

«Представляя на благоусмотрение вашего превосходительства письмо Короленко, — писал Петров, — я не могу умолчать о том, что крайне было бы желательно устранить его из города на жительство в уезд... в отвращение влияния его самостоятельных и дерзких наклонностей на других политических ссыльных, имеющих молодые лета...»

Рапорт и заявление Короленко были посланы со специальным нарочным.

Поздним утром 25 октября, едва Владимир Галактионович после нескольких часов сапожной работы собрался поесть, как в дверь его комнатенки постучали. Согнув под низкой притолокой тощую шею и радостно щурясь, вошел исправник.

— По предписанию губернатора я произведу у вас обыск.

Ничего предосудительного найдено не было, но Петров с трудом скрывал злобную радость.

— Вы кончили? — спросил Владимир Галактионович. Тяжело давалось ему сейчас внешнее спокойствие.

Исправник посыпал чернила на протоколе песком, затем не спеша стряхнул его, дал подписаться Короленко, понятым и, наконец, ответил:

— Вы переводитесь в Бисеровскую волость вверенного мне Глазовского уезда...

Серые выцветшие глазки жадно бегают по лицу ссыльного — исправник надеется увидеть страх, смятение, раскаяние у побежденного врага.

Молодой человек молчит.

— ...Собственно, в волости вы не останетесь.

Все же Владимир Галактионович не выдерживает: кажется, дрогнул голос, когда он спросил:

— Значит, в Березовские Починки?!.

Исправник торжествующе кланяется: «Угадал». Два зверька под седыми бровями торжествующе мечутся: «Ага, вот тебе, вот!..»

Понятые испуганно раскрывают рты: о Починках ходят страшные слухи — они от Глазова более чем в двухстах верстах, избы там курные, народ дикий,

колес-телег не знает, так как нет в той лесной глухомани дорог.

Часа через три после обыска большая группа товарищей и местных знакомых усаживала Владимира Галактионовича на небольшой паром, именуемый поздешнему шитиком.

— За что же тебя, Галактивоныч? — с тоской спрашивал прибежавший прощаться Семен Нестерович.

— Вот те и на! Как же так? — как эхо, отозвались другие глазовцы.

Товарищи-ссыльные обнимали молча. Бледный, расстроенный Илларион с трудом сдерживал слезы. Впереди, на той стороне реки, глухо, с угрозою шумел лес. Солнце померкло, и по воде, по редким льдинам побежали длинные серые тени. На шитик взвели лошадь, втащили сани. Два удмурта — заседатель и возница — влезли последними.

— Прощайте, Владимир Галактионович, шлите весточки!

— Прощайте, товарищи! — Голос показался как будто не свой.

Маленькая кучка людей над обрывом становилась все меньше...

Черная вода Чепцы билась у самых ног...

«Люди хорошие, и глушь очень интересная»

В этой безрадостной поездке по глухим лесным дорогам был момент, когда Владимир Галактионович колебался: продолжать ли ему покорно следовать свирепым предначертаниям администрации, загнавшей его уже на край света, или попытаться изменить их собственной волей?

Ямщик ушел отыскивать перевоз, заседатель по мосткам перебрался через шумевшую в вечерней тьме Вятку, и молодой человек остался у лошадей.

Внезапная мысль обожгла его. Он один. Где-то за лесами, неподалеку, есть завод, где живет ссыль-

ный Неволин, о котором в Глазове ходит молва, как об отчаянном революционере. А что, если подвязать сейчас колокольчик, повернуть лошадей на другую дорогу и... и, может быть, его жизнь пойдет по иному пути...

Словно испытывая его решимость, долго не возвращались ямщик и заседатель, а время летело, уже заклубился рой сомнений, иных мыслей, иных чувств и желаний. Первая мысль о том, что побег его отразится на матери, была отстранена: а как же матери других революционеров? Вторая: от чего и от кого он убежит? От народа, к которому он едет, хотя и по воле начальства, но который он хотел увидеть, узнать? Не означает ли это, что он испугался встречи с народом?

На том берегу реки вспыхнул огонек: это звала его к себе дикая лесная сторона. Владимир Галактионович вздохнул, взвалил на плечо ящик с вещами и инструментом и медленно пошел по шатким морскам, по заледеневшему скользкому обрыву к перевозной избе.

Здесь было полно мужиков. Когда вошел Владимир Галактионович, стало тихо.

— Подарок вот вам, — сказал заседатель. — Новый ссыльный, в Березовские Починки везу.

Мужики громко зароптали. Встал волостной старшина, угрюмый, черный, как цыган, гигант, подошел к Владимиру Галактионовичу вплотную.

— Ты, чужой человек, зачем к нам пожаловал? Вы там в городе напрокудите, начальство с вами не справится, так к нам? Смотри ты у нас!.. Чуть что, мы вас всех в Каму побросам...

Плотной стеной окружили чужого человека мужики.

Зазвучали грозные слова:

— Живи смирно, не то косточки переломам!..

— Выволокем в лес — мать родная костей не сыщет...

Владимир Галактионович грохнул кулаком по столу. Мужики, только что напиравшие дружной ватагой, шарахнулись.

— Слушайте теперь, что я вам скажу, — громко проговорил молодой человек. — Ссыльные, говорите, вам пакостят. Так с вами, видно, нельзя иначе: вы меня не знаете, я вам еще ничего плохого не сделал, да, может, и не сделаю, а вы уже на меня, как волки, накинулись...

— А ведь верно бает мужичок, — вдруг смиренно произнес старшина, вместе со всеми оказавшийся теперь на почтительном расстоянии от ссыльного. — Мы еще от него худого не видали.

— Вестимо, — отозвался еще один. — Будешь до нас хорош, и мы до тебя будем хороши.

На следующий день Владимира Галактионовича повезли по каким-то узким, малоезженым лесным дорогам, где лошадей приходилось запрягать «гусем» — одну за другой. Повалил снег. Хвойный лес сменило чернолесье; редкие избушки, нахохлясь, стояли под огромными шапками снега.

Где-то горел торф, и дым клубами поднимался над лесом. Стаи куропаток взвивались впереди. Все чаще попадались среди лесных вырубок группы домишек, по-здешнему — починки. К вечеру приехали в починок местного старосты.

— К Гаврюшке Бисерову поедем, у него жить будешь, — сказал староста Яков Кытманов.

В большой, просторной избе горела березовая лучина, освещая двух женщин, старую и молодую, сидевших у прялок, остальное тонуло во мраке.

Старик хозяин, Гавриил Филиппович Бисеров, или просто Гавря, не захотел принять постояльца: «Самим жить негде». С трудом уговорили его.

Вся семья собралась вокруг приезжего — смотрели вещи, инструменты, книги. Когда же он зажег свечу и сел писать письмо домой, перестали жужжать даже прялки — все с удивлением и почтением воззрились на пишущего человека.

Не докончив письма, Владимир Галактионович накинул пальто, вышел. Стояла ясная морозная ночь, первая ночь «на краю света». На душе у Короленко впервые за долгое время было спокойно. Жить здесь будет хорошо, даром что изба черная, без трубы, за-

то, кажется, люди хорошие, глушь очень интересная. Поземельный вопрос в самой первобытной форме. Помещиков здесь никогда не было, земли достаточно.

Отсюда и следует начинать изучение народа. Совершенно ясно, что здесь нет ни малейшей почвы для поисков новой веры, обретения нового мировоззрения. Интересы, конечно, все непосредственные, брюховые, но народ, как видно, с задатками — и в этом главное.

Он будет сапожничать, записывать свои наблюдения за жизнью этой своеобразной лесной стороны, будет работать, работать...

Очень скоро Владимир Галактионович привык к холоду и дыму курной избы. Мягкий, ровный характер Короленко пришелся по душе Гавриной семье. Сам же жилец на первых порах ко многому привыкал с трудом, пытаясь городскую мерку применить и здесь.

Да, своеобразные здесь люди. Они верят и в бога и в леших, по-здешнему лешаков, в русалок, в то, что лихоманка ходит по свету, а огненный змей может ночью прилететь в избу. Суеверные, темные, они погибают от болезней, с которыми справился бы заурядный фельдшер, если бы он был в этом забытом людьми и богом крае.

Впервые вера Короленко в какую-то особую, таинственную, непонятную интеллигенции народную мудрость основательно поколебалась. Где тот таинственный цветок, который его поколение собиралось отыскать в самых низах народной жизни? Его нет!..

Придя к этому выводу, Владимир Галактионович все же не пал духом. При всех условиях интеллигенция не должна отходить от народа, ибо самое страшное для нее — безнародность. Нет в действительности того мужика, которого его поколение вообразило себе, но есть глазовцы, бисеровцы, поэтому не нужно горевать оттого, что неизбежно должен рассеяться розовый туман прежних воззрений.

В Березовских Починках у Владимира Галактионовича стал складываться замысел повести «Полоса».

Это будет рассказ о его современнике, юноше, оторванном чуждою силой от интеллигентских кружков, книг, сходок и заброшенном в самые низы народной жизни, в далекие северные края. Здесь пройдет целая *полоса* его жизни среди темных лесных обитателей. Многие мечты молодого народника увянут, много ляжет в душу горечи оттого, что ожидания не сбылись. Но пройдет время, и из туманного, точно дальнее облако, образа народа разовьется, выступит множество живых, конкретных лиц. И хотя в душе героя подымается смутная борьба, начинается столкновение прежней веры и новых сомнений, остается главное — в жизненной борьбе ему уготован путь рядом с людьми из народа. (Повесть не была закончена, и впоследствии Короленко использовал ее в работе над «Историей моего современника».)

Однажды в избе Гаври появился староста с распоряжением начальства ехать хозяину в село Афанасьевское.

— Там, слышь ты... в царя, что ли, палили... Так приказано молебствовать...

Это было первое сообщение о покушении на Александра II революционеров, взорвавших 19 ноября 1879 года неподалеку от Москвы вместо поезда с царем поезд с дворцовой прислугой.

Когда, наконец, пришли долгожданные газеты, в доме Гаври собрались почти все окрестные политические ссыльные.

— «В комнате Сухоруковых, — читал Владимир Галактионович, — обстановка была чисто мещанская. В углу, перед иконой, теплилась лампадка...»

(Под именем супругов Сухоруковых скрывались готовившие взрыв царского поезда революционеры-террористы Лев Гартман и Софья Перовская.)

— С именем божиим, значит, на царя уже пошли, — вдруг сказал старший из братьев Санниковых, седобородых вятичей, сосланных за попытку поднять односельчан против захвата крестьянского леса лесным ведомством. — Теперь кончено его дело! Шабаш!

— Чье дело? — спросил Федот Лазарев, молодой рабочий из Питера.

— Лександры-царя. Против царя с нечистою силой ничего не возьмешь: сказано — помазанник. А уж если с именем божиим на него пошли, помяните мое слово, тут уж ему, раньше ли, позже ли — несдобровать... Тут выйдет толк.

Федор Богдан, пожилой крестьянин с Киевщины, угодивший в Починки за подачу мирской жалобы на малоземелье в руки самого царя, проговорил медленно, степенно и веско:

— Верите или нет, но сказали бы мне сейчас: «Оставайся, Хведор Богдан, помирать в этой земле, закопаем в лесу твои старые кости, зато кончится всякое непотребство», нехай даже и царя убьют на этом, так верите — согласился бы...

— Никакого толку не будет, — сурово сказал Владимир Галактионович. — Дело не в том или другом царе, а в тех или других порядках. Убьют одного царя — другой будет, и еще неизвестно, лучший ли.

На следующий день Владимир Галактионович с газетами отправился в починок Шмыриных, поместному Дураненков, к недавно привезенной ссыльной Улановской — знакомиться, несмотря на запрет урядника.

Починок стоял над обрывистым берегом. Короленко поднялся по тропинке, постучался в избу. Ответа не было.

— Заходи, Володимер, — крикнула со двора Дураненкова дочка Дарьюшка, — она у нас, я ее сейчас тебе покличу!

В избе было настолько холодно, что вода в кружке заледенела. На лавках, полках лежали книги, на стене висело католическое распятие. «Наверное, благословение матери». На полатях аккуратно подоткнутая постель, пол чисто вымыт.

Отворилась дверь, и в избу вбежала невысокая белокурая сероглазая девушка, румяная, круглолицая, оживленная. Владимир Галактионович протянул обе руки незнакомому товарищу по судьбе. Просто, по-товарищески поздоровались, сели, рассматри-

вая друг друга. Эвелине Людвиговне на вид было не больше двадцати лет. «Еще моложе нашей Машинки». Помолчали немного, и вдруг оба заулыбались. Посыпались расспросы, отрывочные рассказы. Перебивая один другого, старались побольше выспросить и рассказать поскорее все бывшее с ними в последние трудные месяцы.

Девушка попала в места столь отдаленные совершенно неожиданно. Вообще высокий чин государственной преступницы она не заслужила. Училась в Петербурге на фельдшерских курсах, зубрила, «вертелась» среди молодежи — танцы, вечеринки. Даже желания совершить что-нибудь запрещенное не было. Уже сидя в тюрьме, узнала, что сбор с одной из вечеринок предназначался на помощь ссыльным и заключенным. Мама хочет просить, умолять, хлопотать, молится за нее пану Иисусу Христу. Что касается ее самой — она больше полагается на Шевченко. Когда читаешь его стихи, рассеивается тоска и страх перед лесами, страшными лесными людьми.

Владимир Галактионович слушал молча. Сердце то наполнялось гордостью за эту не павшую духом девушку, то сжималось от боли. Далеко, в каменном Петербурге, мечется в тоске одинокая старушка. Кто ответит за материнское горе, за слезы — пролитые и невыплаканные?..

Попала сначала в Пудож, а оттуда в Починки — за демонстративную отлучку из города с другими ссыльными и нанесения оскорблений начальству: бросали собранные грибы в полицейских.

Владимир Галактионович уже слышал о «грибном бунте». Особенно заинтересовало его то обстоятельство, что крестьяне по приказу исправника тащили своих заступников в полицию.

— Вы кощунствуете, считая этих людей народом, — сказала Улановская.

— Я не согласен с вами, Эвелина Людвиговна. Кого же тогда следует считать истинным народом? — живо возразил ей собеседник. — Где искать его подлинное мнение, его взгляды, его надежды?

И есть ли уже такое сложившееся народное мнение? Где, наконец, та грань, которая отделяет подлиповца или бисеровца от истинного народа?..

Все эти вопросы особенно волновали Владимира Галактионовича последнее время. Он встречал даже в этих суровых краях замечательно яркие искорки талантов. Девочка из глухого починка пришла, чтобы послушать его, чужедальнего грамотного человека, и сама читала ему нараспев полузабытые старинные сказы. Да что там далеко искать! Гавря, его хозяин, мужичонка вздорный и с ленцой, преображается, когда в споре прибегает к помощи ярких образов, сравнений, поговорок, пословиц. В этом народе словно светит, горит и не может никак пробиться наружу что-то яркое, сильное и неистребимое. Видно, время еще не приспело.

Улановская не ответила. Она еще не нашла правильного решения трудных вопросов. Она просила приходить нового товарища почаще.

Об этих посещениях прослышал урядник. Вдобавок ему удалось узнать, что ссыльный Короленко самовольно отлучался из Починок. Трудно было мстительному и злобному человеку отказаться от удобного случая избавиться от строптивца.

4 декабря 1879 года был подан глазовскому уездному исправнику Петрову конно-полицейского урядника 140-го участка Кондратьева рапорт о *самовольной отлучке* состоящего под надзором полиции политического ссыльного Владимира Короленко — из места жительства в село Бисерово (Владимир Галактионович покупал там сапожный товар).

14 декабря последовал рапорт глазовского исправника Петрова вятскому губернатору, в котором испрашивалось разрешение о передаче протокола *о самовольной отлучке* Короленко мировому судье для наложения меры взыскания, каковая определялась по закону в один месяц тюремного заключения.

23 декабря губернатор Тройницкий доносил министру внутренних дел о том, что при самовольных отлучках ссыльный Владимир Короленко легко мо-

жет сделать *побег*. Поэтому губернатор почтительнейше испрашивал разрешения на применение к Владимиру Короленко высочайшего повеления от 8 августа 1878 года о высылке политических ссыльных за *покушение на побег или за совершение оного* в Восточную Сибирь.

15 января 1880 года секретным отношением министра внутренних дел Макова на имя вятского губернатора признавалось необходимым — по соглашению с главным начальником Третьего отделения — дворянина Владимира Короленко выслать на основании высочайшего повеления в Восточную Сибирь *за побег* из назначенного ему места жительства.

И урядник, и исправник, и губернатор, и министр шли на сознательную фальсификацию, на явный подлог: самовольная отлучка — проступок, который в худшем случае мог караться месяцем тюрьмы, — превратилась по мере движения к «верхам» в побег — и здесь уже «закон был ясен».

Вследствие этого 26 января два жандарма отправились из Вятки в Березовские Починки с четко сформулированным приказом.

Владимир Галактионович, разумеется, ни о чем не подозревал.

Его разбудили среди ночи. В глаза ударил свет лучины. У стола стояли два вооруженных жандарма из Вятки с предписанием немедленно доставить его в город.

Как и в Глазове, гонимого властями человека провожали из Починок добрыми пожеланиями и слезами, долго махали вслед удалявшемуся возку.

— Езжай через Дураненков двор, — тихо сказал Владимир Галактионович ямщику.

Подъехали. Он быстро соскочил с саней, взбежал на крылечко.

— Эвелина Людвиговна, отворите, это я, и не один.

Вместе с ним втиснулся младший жандарм.

— Увозят. Пришел попрощаться...

Он едва сумел сунуть ей записную книжку, некоторые письма, которые не должны были попасть в жандармские руки.

— Пишите, Владимир Галактионович! — крикнула с крыльца девушка. Она оставалась без друзей, без поддержки. В голосе ее слышались отчаяние и слезы.

— Буду писать непременно! — послышалось из повозки.

— Гони! — толкнул жандарм в спину ямщика.





IV. СИБИРСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Страна полночных вьюг, моей весны могила,
Непризнанных скорбей осмеянная мать.
Язык клянет тебя, а сердце полюбило...
Я что-то потерял и не могу сыскать!

П. Ф. Якубович

В.П.Т. Хорошие люди в скверных местах

Темным зимним вечером Короленко подвезли к закрытым железным воротам тюремного замка. Поскрипывая, качался над воротами фонарь, печально шлепалась тяжелая капель. На душе было смутно, неизвестность давила.

Опять знакомая, до смертной тоски опостылевшая картина «приемки». Высокий гориллоподобный смотритель тюрьмы, осторожно водя пером и вопросительно поглядывая на Короленко, пишет сопровождающим жандармам квитанцию:

«1880 года февраля 21 дня, дана сия унтер-офицеру Ерофееву в том, что доставленный арестант дворянин Владимир Короленко с собственными его вещами и деньгами пятью копейками в Вышневолоц-

кую тюрьму принят, в чем подписом с приложением казенной печати удостоверяю.
Смотритель тюрьмы капитан Ипполит Лаптев».

Опять серый арестантский бушлат с желтым «бубновым тузом» и черными буквами «В.П.Т.» (Вышневолоцкая политическая тюрьма), серые штаны, шапка-блин.

Надзиратели, тщетно стараясь не стучать сапогами, повели Короленко на второй этаж по тускло освещенному коридору мимо одинаковых дверей с глазками, мимо настороженных безмолвных стражей.

Щелкнул замок, и навстречу Короленко поднялись обитатели камеры, представились. Волохов был сотрудником крамольных «Отечественных записок». Юный Дорошенко исключен из гимназии «за отрицание религии». Иванайнен — рабочий, «бунтовал» вместе с Улановской в Пудоже, Андриевский, бывший инспектор Киевской гимназии, был связан с украинофилами (украинскими националистами). Все они ссылались в административном порядке.

Через несколько дней в камеру вошел Лаптев, за ним надзиратели внесли железную койку, накрыли ее грубым одеялом.

— Кого это бог нам дает, Ипполит Павлович? — спросил Короленко.

— Привезут с поездом надворного советника... — ответил озадаченный смотритель. Он давно уже пребывал в полной растерянности. На его глазах рушился мир. Люди, которые должны были составлять опору власти, попадали в тюрьму, ссылались в Сибирь.

Бывший надворный советник вошел в камеру с беспечной улыбкой. Тюремный халат сидел на нем мешком. Крепко пожал всем руки, пошутил насчет незнакомых, которых всегда встретишь в знакомых местах, и в камере словно стало светлее с приходом этого умного, веселого и сердечного человека.

Николай Федорович Анненский был кандидатом по юридическому и филологическому факультетам,

но для него на пути к профессуре и кафедре оказался целый ряд преград — и среди них главная: свободный образ мыслей. Третье отделение нашло занятия Анненского литературой и политикой выходящими за рамки чиновничьей благонамеренности, и надворный советник очутился за решеткой.

Вскоре в камере появилась еще одна кровать. Лаптев с торжественным видом объявил, что прибыл поручик Павленков. Он оказался тщедушным человечком со сморщенным лицом, вздернутым носиком и большим лбом мыслителя. Флорентий Федорович, в прошлом поручик, покинул военную службу и занялся издательской деятельностью, выпускал сочинения Писарева, книги для народного чтения явно неблагонадежного содержания — и оказался в тюрьме.

Через несколько дней после появления Павленкова обитатели «большой» камеры заспорили. Непосредственной причиной явились недавние события. 5 февраля был совершен взрыв в Зимнем дворце, подготовил его, как говорят, рабочий-столяр (имени Халтурина в то время еще не знали). 20 февраля студент Технологического института Млодецкий, тоже неудачно, покушался на жизнь главного начальника Верховной распорядительной комиссии всесильного Лорис-Меликова.

Короленко доказывал, что революционный террор не пригоден для политического развития России. Надо поднимать уровень сознания крестьянства, интеллигенции необходимо идти к народу с широкой проповедью культуры.

Большинство не возражало. Да, они не революционеры, они — та окружающая последних среда, без которой была бы невозможна деятельность истинных революционеров. Террор противен их убеждениям, хотя, не принимая ни прямого, ни косвенного участия в актах террора, они не могут отказать подлинным революционерам в беззаветном геройстве и самопожертвовании.

— Во всяком деле необходимо разделение труда, — без тени шутки заметил Анненский. — Одни

бросают бомбы, другие едут в деревню, третьи агитируют заводских рабочих. Одни «говорят» с царем и чиновниками, другие с народом, мы говорим с обществом...

— Ер-рунда, — вдруг резко возразил Павленков. — Просвещение подавлено, учитель превращен в казенную машину для обучения азбуке, нелегальная идейная работа требует совершенно сверхъестественных усилий у пропагандистов. Российским революционерам остается только один путь. Это террор!.. Всех Романовых и их прислужников нужно уничтожить без остатка!

Гневная убежденность мягкого, уступчивого Павленкова поразила всех. Короленко понимал, что это носится в воздухе, что это — сила вещей, но остался при своем убеждении.

...Андриевский принялся вербовать сторонников среди соседей с фамилиями, оканчивающимися на «енко». Под влиянием его Дорошенко стал сочинять стишки на украинские темы... впрочем, на русском языке. Но Короленко в ответ на «ухаживания» Андриевского отвечал, что для него вопрос национальный целиком зависит от главной задачи движения — борьбы за свободу, которая должна объединить всех: русских, украинцев, поляков, евреев, грузин.

Андриевский возбужденно доказывал, что это просто-напросто беспочвенный радикализм, что только проповедь родного языка и на родном языке придает силу освободительным речам.

— А ваш национализм не беспочвенный? — возражал Короленко. — О чем вы будете говорить с народом на его родном языке? Разве не о его борьбе за свободу?.. Значит, прежде всего борьба за свободу, остальное приложится.

Большинство поддержало эту мысль.

Споры по волнующим вопросам как-то закрывали от обитателей тюрьмы их неприглядное настоящее и неизвестное будущее.

Несколько раз Короленко безуспешно пытался узнать причину своего ареста в Починках. Ему

только сообщали, что он ссылается в Восточную Сибирь.

Эвелина Иосифовна добилась разрешения на свидание с сыном, привезла ему книги, которые он просил. Однако губернатор Сомов запретил для передачи «Недоросля», «Историю» Шлоссера, работы русских экономистов по крестьянскому вопросу. Половину книг пришлось увезти назад.

В результате многочисленных просьб и требований заключенных губернатор разрешил Лаптеву допускать в камеры книги и журналы по его усмотрению, но газеты запретил категорически.

Лаптев был службист и формалист, но ему нельзя было отказать в некотором сочувствии заключенным. Когда Сомов запретил «Новь» Тургенева, малообразованный Лаптев взамен принес сочинение Адама Смита «Теория нравственных чувств», убежденный в полной безвредности книги. Вскоре в камеры попал ни больше, ни меньше, как «Капитал».

— Что это за книга? — спросил Лаптев у одного из прибывших.

Владелец книги не растерялся:

— Она учит, как наживать капиталы.

Смотритель с любопытством полистал толстый том. «...20 аршин холста равны одному сюртуку», — прочел он.

— Знаю, ею часто пользуются военные приемщики. Очень полезная книга.

Так Короленко и другие обитатели тюрьмы получили возможность прочитать это замечательное произведение Маркса. Владимир Галактионович много читал, досадуя, что не может делать выписок из прочитанных книг. Письменных принадлежностей иметь не дозволялось. Правда, Короленко удалось пронести в своих пышных кудрявых волосах кусочек туши и кисточку для рисования, но нужны были еще бумага и перья или карандаш. Все это было тайно получено от родных. А в тюремной конторе потихоньку отлили чернил.

О людях, которых можно сломать, но согнуть нельзя

На пасху к тюрьме подошла большая группа рабочих Морозовской фабрики. Часовые не подпустили их близко, и рабочие, стоя поодаль, что-то кричали, махали руками, приветствуя узников. А заключенные собрали в «большой» камере хор, поставили его перед окнами и грянули:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Рабочие заволновались, что-то нестройно прокричали в ответ, в воздух полетели шапки. Толпа стала медленно приближаться к тюремной ограде. Но тут навстречу двинулась караульная команда с примкнутыми штыками, и рабочие вынуждены были удалиться.

Среди заключенных вышневолоцкой тюрьмы было несколько человек рабочих, в числе их сосед Короленко по камере. Карл Адамович Иванайнен мало кому рассказывал, что в свои двадцать пять лет он уже успел побывать и за границей и в ссылке. С двумя товарищами за год он пешком исходил почти всю Германию, Швейцарию, Италию, посидел в европейской тюрьме, работал на разных заводах, очень интересовался деятельностью Интернационала. В Россию Иванайнен вернулся с окрепшей верой в великие силы, таящиеся в русском рабочем. Трудно было предположить в скромном, застенчивом, очень сдержанном человеке огромную нравственную силу и железную волю. Став однажды на путь революционера, такие люди уже не сходят с него до самой своей смерти. Слушая беседы Иванайнена со студентом Сергеем Швецовым — новым обитателем их камеры (он был приговорен за революционную деятельность к каторге) — Короленко не мог не удивляться начитанности и уму рабочего. В Иванайнене чувствовался человек, на которого можно положиться во всем. В Пудоже он решительно выступил против администрации и угодил сюда.

Мысли переходят на Улановскую, которая сейчас отсиживает в глазовской тюрьме, тоже наказанная за пудожский «бунт». Вспоминается ее рассказ, письма ее к матери. Дочь просила не унижаться перед тюремщиками, звала терпеть, надеяться, ждать. Вспоминается его собственный крестный путь ссыльного в Глазов, Починки, возвращение оттуда, рассказ молодого, еще не замордованного службой жандарма-конвоира о том, как он возил в ссылку неизвестную юную революционерку. Он жалел ее и все-таки вез. Он отдал дань мужеству и стойкости девушки, уверовавшей в правду, непонятную и чуждую ему, и все же он беспрекословно, слепо выполнял жестокое дело. Виноват ли он? «Да», — скажут одни. «Нет! — скажут другие. — Ему еще надо показать правду этой девушки, и, кто знает, что́ он станет делать тогда...» Вспоминается Короленко и спор с Улановской о народе, ее резкое, несправедливое суждение о пудожских мужиках. Если народ не оправдал возлагавшихся на него надежд, надо принимать его таким, каков он есть, надо искать к нему пути, а не отгораживаться глухой стеной презрительного недоверия.

В «большой» камере разговоры и шум, но Короленко уже ничего не видит и не слышит. Быстрее стучит сердце — пришел знакомый, желанный и страшный миг начала творчества.

...Далеко-далеко, в места, где метели шипят злобно и вкрадчиво, где длинны и бесчисленны версты от жилья к жилью, везли девушку-революционерку, больную, худенькую, одинокую. Делали это люди, не ведающие, какое зло они совершают своим пассивным подчинением чужой, бесконечно жестокой воле, — добрые люди на плохих местах. Привезли, оставили, уехали за другими. А она пожила, пожила и — умерла. Умерла непокоренная, протестующая — маленькая храбрая русская девушка, может быть, даже и не такая уж красивая, может быть, скуластенькая, как Улановская, с такой же коричневою родинкой у края губ, такая же быстрая, неугомонная, скорая в поступках. И не только

в сердцах товарищей по борьбе и по судьбе, но и в жандарме, вчерашнем мужике, вызвала она скорбь и преклонение перед величием своего подвига. Революционерку можно было сломать, убить, но согнуть не удалось никому!

Жизнь краткая, жизнь яркая, полная душевного огня и светлых порывов, кончилась, погасла. Но все ли кончилось с нею? В душе ее невольного палача отложилась, затеплилась крохотная частица негасимого, вечного огня, и пусть никогда — никогда! — в другом человеке, доселе не ведавшем об этом огне, он не погаснет, да, не погаснет!..

О событиях нынешнего смутного, тревожного и сомневающегося времени нельзя повествовать эпически спокойно. Нужен иной тон — лирически-взволнованный, не чуждый и публицистического накала, ибо автор — участник событий — должен высказать свое отношение к происходящему и к героям, своим современникам. И еще необходима — при всей верности жизненной правде и типичности образов — романтическая приподнятость их. Героическое в человеке — это отражение героизма массы, в котором он черпает свою силу. Новое время требует новых, бодрых, героических песен, и в них должно органически слиться реалистическое, жизненное, привычное с романтическим, устремленным в будущее, еще не изведанным, завтрашним.

Несколько дней Короленко не участвовал в собраниях и диспутах, на прогулках ходил задумчивый, рассеянный, отвечал невпопад. Хотя никому, кроме внимательного Швецова, он ничего не рассказывал о своих беллетристических опытах, товарищи оставляли его в покое. Сидя с ногами на кровати, Короленко клал на колени книгу и писал в самодельной тетрадке, которую смастерил из тайком переданных с воли листов бумаги. Писать было неудобно, каждую минуту мог зайти кто-нибудь из тюремщиков, но он писал и писал, почти без помарок, не отрываясь, как будто весь рассказ «Чудна́я», до последнего слова и последней запятой, вылился в готовой форме, а не вынашивался многими днями раздумий.

Он читал его всей тюрьме на одном из собраний в «большой» камере. Трудно было бы найти более подходящее для этого время, чем начало 1880 года, и место, чем тюрьма, где собрались революционеры-пропагандисты и люди, им сочувствующие. Впечатление рассказ произвел огромное. Стало так тихо, словно в камере не сорок человек, а один внимательный, чуткий слушатель.

Было решено в ближайшее же свидание передать рукопись жене Анненского, известной детской писательнице, хорошо знакомой с Глебом Ивановичем Успенским.

Александра Никитична, как обычно, явилась на свидание с маленькой племянницей Таней, которую удочерили бездетные Анненские. Девочка прошла за решетку к заключенным. Обнимая дядю Володю, она незаметно спрятала свернутую трубочкой тетрадку. Едва Лаптев, ходивший по проходу, который отделял заключенных от посетителей, отвернулся, Анненская положила тетрадь в сумку и успокаивающе кивнула головой: «Всё в порядке». Она уже знала, что на свет явилась «Чудная́».

В начале мая состоялась отправка в Сибирь первой партии. С ней уходили Анненский, Павленков, Швецов. Короленко очень жалел, что его разлучают с товарищами. «Может быть, это связано с ревизией князя Имеретинского?» — предположил он. Член Верховной распорядительной комиссии генерал Имеретинский посетил тюрьму и опросил Короленко в числе других ее обитателей. Видимо, на него произвело впечатление горячее убеждение молодого человека в своей невиновности. Впрочем, все смотрели на это посещение скептически, не ожидая положительных результатов.

Окруженную конвоем партию выстроили во дворе. Остающиеся прильнули к решеткам, кричат, прощаются. На кого-то в нарушение всех правил и законов надели наручники, и он высоко подымает над головой скованные руки, и трясет ими, и кричит слова прощания. Тюрьма протестующе гудит. Вот колонна уже идет по шоссе, скрывается вдали.

Только 17 июля Короленко отправили со второй партией.

Две версты до станции в тучах пыли, по жаре. Поезд, вагоны с решетками, масса провожающих. Дорогое заплаканное лицо сестры Вели у окна.

— Прощай, Волочек! — кричит кто-то из вагона. — Прощай, Россия!

— Нет, нет! — раздается другой голос. — До свидания, Россия, до свидания!..

Из Европы в Азию и обратно...

В Нижнем Новгороде, где железная дорога прерывалась, партию погрузили на баржу. Присоединились «административные» и каторжане из мценской тюрьмы. Дальше путь лежал по Волге и Каме до Перми.

Путешествие на барже по рекам — самая приятная часть пути. Политические, которых на барже около ста человек, держатся вместе. Уголовные — их раза в четыре больше — с большой почтительностью относятся к своим товарищам по судьбе и в спорных случаях обращаются к ним за третейским судом.

Когда происходят стычки «политиков» с жандармами и конвойные держат ружья наизготовку, уголовные стихают и смотрят, смотрят с удивлением и уважением, как худые, изможденные люди, сверкая глазами, бесстрашно доказывают свою правду и не отступают даже перед силой штыков.

Раздражали обыски под предлогом осмотра багажа. Особенно напряженные отношения с конвоем складывались у вышневолоцкой партии. Через несколько дней приплыли в Пермь. Здесь всех пересадили в арестантские вагоны и повезли в Екатеринбург, где был опять произведен обыск.

Появился незнакомый жандармский чин. Он собирался обревизовать конвой и произвести новый обыск. Энергичные уговоры старосты партии Грабовского не помогли: партия категорически заявила, что обыска не допустит.

Жандарм настаивал, заключенные яростно протестовали.

Был вызван внутрь тюрьмы усиленный конвой. Гремя сапогами, бежали по гулким коридорам солдаты, запыхавшись, выстраивались с винтовками наперевес. Команда. Жандарм кричит высоким срывающимся голосом. Вот сейчас начнется страшное, непоправимое, потому что никто уже не владеет собой.

Около своего лица Короленко видит чье-то бледное как мел лицо.

Сейчас раздадутся выстрелы, стоны, хруст костей под прикладами...

Кто-то должен выйти вперед и своей грудью прикрыть товарищей от штыков, должен спокойным мужеством снять накал минуты, доказать тюремщикам, что они не правы... или первым принять удар.

Короленко вышел вперед и стал впереди всех — невысокий, плотный, внешне спокойный, главное — спокойный!

— Господин офицер, господин офицер, вы готовы совершить сейчас насилие над ни в чем не повинными людьми. Остановитесь, еще не поздно... велите увести солдат... Мы безоружны — не потому ли вам кажется, что вы правы...

Он говорил это голосом, проникнутым глубоким убеждением и искренностью. Жандармские офицеры понемногу пришли в себя. Капитан, требовавший нового обыска, повернулся к начальнику конвоя:

— Что же вы стоите?.. Уведите их!..

Опять затопали солдатские сапоги — теперь уже отдаляясь. Стало легче дышать.

Партию, не задерживая, отправили далее — на Тюмень. Ехали на телегах — двое заключенных, двое конвоиров, ямщик.

Вот она, Сибирь! Официальная граница Европы и Сибири — приземистый каменный столб с гербами Пермской и Тобольской губерний. Некоторые тройки останавливаются. Люди завязывают в платки горстки земли. У всех щемящее чувство, словно по их судьбам сейчас будет проведена какая-то грань.

В Тюмени партию опять погрузили на баржу, и она поплыла по Туре, Тоболу, Иртышу, Оби к Томску.

Здесь, на арестантской барже, плывущей из Тобольска в Томск, в начале августа 1880 года Короленко написал очерк «Ненастоящий город». Это было уже четвертое произведение молодого автора — после «Эпизодов из жизни «искателя», «Полосы» и «Чудно́й». В нем отразился все тот же мучительный вопрос, над которым билось его поколение, — о народе и об отношении к нему интеллигентных «искателей». Только теперь в «Ненастоящем городе» Короленко поставил вопрос в связи с развитием новых отношений, которые нес с собою капитализм.

Недоразвитые отношения, застойная жизнь починковцев заставили задуматься: если нет «настоящей» жизни, «истинного» народа в деревне, то, быть может, он есть в городе? То, что думалось прошлым летом на берегу Чепцы, теперь легло в очерк — автор писал и о тоске по «настоящему» делу Семена Нестеровича, и о глухой вражде безработной слободки к не менее жалким купцам без торговли, и об отсутствии промышленности, без которой жизнь становится прозябанием. Вспомнился Шевченко; великий поэт помог найти обобщенный художественный образ:

Если счастья жалко, боже,
Дай хоть долю злую!

Да! Хоть злую долю, зато настоящую. Но «злая доля» — это простор для деятельности тоскующих хищников, будущих «настоящих» купцов, фабрикантов, хозяев, это окончательная погибель непредприимчивым глазовским нестерычам. А для него самого — в недавнем прошлом правоверного народника — признание преимуществ «злой доли» перед «ненастоящим» существованием, измена заветам... Пусть так, зато он не пойдет против жизни, против истины, которая гласит: доля злая, но настоящая, народу нужнее — она принесет с собой борьбу, и движение, и новых людей.

Бедная, унылая природа, дожди действовали угнетающе. Несколько человек пришли к Короленко с просьбой: партия хочет, чтобы он принял на себя обязанности старосты; Грабовский бессилен наладить отношения с конвоем, люди озлоблены. Дело может кончиться плохо.

Владимир Галактионович согласился, но предупредил, что он против вызывающих демонстраций. Его выбрали единогласно. С сопровождающим партию жандармским полковником Владимировым новый староста был холоден, но сумел удерживать товарищей от выходок. Установленный Короленко режим обоюдной терпимости устраивал обе стороны, и партия благополучно подплывала к Томску.

Незадолго до прибытия в город полковник Владимиров покаялся Короленко:

— Ну вот, все хорошо и кончилось... А я, признаться, боялся вас после переизбрания старосты, ждал столкновений. Ведь о вас Вятка дала ужасные отзывы...

И Владимиров показал Короленко его «статейный список», из которого Владимир Галактионович узнал о подлоге вятской администрации. Его ссылали за побег, им не совершенный.

В Томске в тюрьму явился губернаторский чиновник. Верховная комиссия Лорис-Меликова сочла возможным государственного преступника В. Г. Короленко возвратить в пределы Европейской России для отдачи под надзор полиции.

Партия двинулась дальше, а Короленко, взобравшись на погреб неподалеку от ворот, махал рукой товарищам до тех пор, пока последняя телега не скрылась вдали. Через неделю маленькая группа отправилась в обратный путь. Перед отъездом из Томска Короленко неожиданно вызвали в канцелярию, и он попал в объятия матери и сестры. Эвелина Иосифовна и Мария с ребенком ехали в Красноярск к Николаю Лошкареву.

За отсутствием в тобольской тюрьме мест Короленко поместили в подследственном отделении. Здесь были заняты только три камеры — с табличками

«Умалишенный». Самым интересным человеком оказался сосед из камеры № 5, которого все здесь называли «Яшка-стукальщик». Когда по коридору проходил кто-нибудь из тюремного начальства, Яшка принимался колотить в дверь руками и ногами.

— Беззаконники! — неистово кричал он. — Пошто держите́, пошто морите́ меня? Сказывайте, слуги антихристовы!

Вечером, когда ушла поверка и заключенный затих, Короленко подошел к его дверям. Яков стоял у глазка. Это был человек лет пятидесяти, высокого роста, широкий в плечах. Взглянув в глаза его, Короленко понял: перед ним не сумасшедший.

— Скажи, Яков, зачем ты стучишь? — спросил Владимир Галактионович.

— Стою за́ бога, за́ великого государя, за́ Христов закон, за́ святое крещение, за́ все отечество и за́ всех людей.

Яков отвечал быстро, заученно. Старая обрядная важность, в которой было немало слепого упрямства и высокомерия неистовых раскольников, покоробила Короленко. Яков заметил это.

— Начальников неправедных обличаю, — сказал он уже обычным голосом, — стучу...

— Какая же от этого польза?

— Польза? Есть польза, есть...

— Какая тут польза? — усмехаясь, проговорил слушавший разговор надзиратель. — Стучит без толку, один вред себе. Сколько в карцере перебывал, нарукавники надевали... Настучишь себе — в сумасшедший дом свезут.

— Хоть куда отдавай, все едино меня не испугаешь, от прав-законов не отступлю...

Короленко задумался. Яшка стучит во имя бога. Разумеется, бог тут ни при чем. «Великий государь»?

— Великий государь в старом прав-законе пребывает, а царь польский, король финляндский — тот, значит, в новом, неправом... Старый-то суд меня оправдал, они новым, тихим, выпихнули...

Старый суд для него — это гласный; новый, административный — «тихий»...

Короленко начал работу над рассказом о Якове. Возвращаясь после бесед с ним в свою камеру, Короленко записывал их содержание почти дословно, часть разговоров он потом воспроизвел по памяти (благо память на лица, события, факты у него была исключительная).

Яков не просто стучит в пространство — пусть слышит неправедное «начальство», что он не смирился, он протестует. Яков не сумасшедший, он — подвижник, настоящий народный крестьянский бунтарь. Его появление говорит о том, что в народе зреет своеобразный протест против неправды жизни. Несмотря на весь трагизм своего положения, Яков немножко смешон — он одинок, да и стучание его пока не достигает цели. Пока! Но до каких пор?.. На этот вопрос Короленко еще не нашел ответа.

Якова увезли через несколько дней. Он не давался, кричал страшно, словно перед смертью:

— Володимер, Володимер!..

Короленко что есть силы застучал в свою дверь.

— Что такое, что вам угодно? — спросил суровый старик смотритель.

— Что тут творится, что вы делаете с Яковом?

— Ка-к-ко-е вам дело? Вас не касается. Получено предписание от начальства: номер пять в дом сумасшедших.

А на следующий день Короленко с товарищами повезли дальше.

Отказ от присяги

В сентябре 1880 года Короленко был водворен на жительство в губернский город Пермь.

Губернатор Енакиев, старик с внешностью и манерами екатерининского вельможи, решил оставить его в городе, предварительно заручившись словом, что бежать он не станет. Слово Короленко дал, ибо о побеге и не помышлял. Но он намеревался потребовать ответа от вятской администрации за ложное обвинение в побеге. С этой целью он описал свои

злоключения последних месяцев и отправил заметку в петербургскую газету «Молва».

О том, что заметка появилась в печати, Короленко узнал от знакомого. Сразу же Енакиев вызвал его и, передавая нераспечатанными письма из Красноярска от матери и сестры, спросил:

— Вы, господин Короленко, разве о двух головах? В письме, помещенном двенадцатого октября в «Молве» за вашей полной подписью, вы публично обвиняете вятскую администрацию в злоупотреблении высочайшим указом и даже... в подлоге. Я уверен, что последует опровержение, и вы подвергнетесь тяжелой ответственности.

— А я уверен, господин губернатор, что опровержения не последует. Возбуждению этого дела по суду я был бы только рад.

Енакиев, человек неглупый и честный, внушал Короленко доверие — это был один из не очень многочисленных добрых людей на плохих местах, без которых жизнь в этих плохих местах стала бы совсем невыносимой. Енакиев недоумевал: что же происходит сейчас в России? Эти страшные покушения на государя, на близких к нему слуг престола... Короленко отвечал откровенно. Террор он объясняет невыносимым правительственным гнетом. Террористами стали люди, ранее о терроре и не помышлявшие. На виселицах гибнут лучшие из лучших русских людей. Нет сомнения, что правительство, обратившее против себя такое отчаяние и такое самоотвержение, идет ложным и гибельным путем.

Он не счел нужным говорить с губернатором о другой стороне вопроса: о том, что, отдавая должное героизму террористов, не может согласиться с их методами. Насилие, террор Короленко не принимал никогда.

Что же касалось его собственной нынешней деятельности, то он, пересматривая свои наивно-народнические воззрения, понял: выбор профессии сапожника для него, интеллигента, неудачен, потому что очень уж много в этом «опрощении» искусственного, ненужного. И хотя вырезанный из бумаги сапог по-

прежнему красовался на окне его комнаты и он понемногу шил нехитрую, но прочную обувь жителям подгородней слободки, литературный труд становился все более насущной его потребностью. Когда в ноябрьском номере «Слова» появился его «Ненастоящий город», Короленко уже работал над рассказом о Яшке-стукальщике.

Теперешнее переходное время все чаще показывает на множестве примеров, что такие люди, как Яшка, одушевленные идеей, которой они преданы до конца, не сгинут бесследно. Близится час, когда из почвы «как грибы после дождика пойдут Яшки за Яшками», легионы Яшек, все такие же, как и он, неуклонные, непримиримые, все отрицающие, и громко постучат в двери общественной жизни. О, тогда, они не будут смешны перед неумолимым судом истории!..

Когда рассказ о протестанте из народа был написан, Короленко все же решил убрать свое обращение к читателю о легионах Яшек — о «настоящем народе» — все равно не пропустит цензура.

Рассказ «Временные обитатели «подследственного отделения» появился во втором номере «Слова» за 1881 год.

В Перми Короленко поначалу работал на железной дороге табельщиком. На эту должность его устроил Александр Капитонович Маликов, служивший в управлении Уральской горнозаводской железной дороги. В свое время Маликов привлекался по каракозовскому делу, был заметным человеком в народнических кругах, потом вдруг стал «богоискателем», побывал даже в Америке, где пытался основать «свободную коммуну». С умным, талантливым Маликовым Короленко быстро сошелся и стал частым гостем в его доме.

В Перми оказался Волохов и некоторые другие ссыльные, из которых составился кружок интересных людей.

К молодому ссыльному потянулись местные гимназисты, семинаристы, учителя. Сходились по вечерам, читали и обсуждали «нелегальщину», Писаре-

ва, «Политическую экономию» Джона Стюарта Милля с примечаниями Чернышевского, «Исторические письма» Лаврова.

Стояла суровая уральская зима, и в маленькой будке табельщика у ворот мастерских замерзали чернила, жестоко стыли руки и ноги. Короленко посоветовался с товарищами и перешел на работу письмоводителя статистического отделения службы тяги.

Во время непродолжительной работы табельщиком Короленко близко познакомился с новой для него средой железнодорожных рабочих, и впечатление было сложное и сильное: это были люди «настоящей» жизни, рабочие-пролетарии.

...Известие об убийстве царя произвело на писателя ошеломляющее впечатление. Не было особенной радости, но было чувство какого-то облегчения и были тревожные предчувствия. Очень хотелось знать, как отнесутся к событию Федоры Богданы, Санниковы, рабочие Перми, мещане, крестьяне. Это была трагедия умирающего самодержавного произвола, а вместе с тем и трагедия террористического движения. «Что же будет дальше?» — этот вопрос тревожил и Короленко, и его пермских знакомых, и всю Россию.

Через несколько дней состоялась обязательная для служащих панихида о старом и молебствие о новом царе и наследнике. Отслужив, священник прочел манифест Александра III, затем текст присяги. Церемония коллективной присяги прошла быстро, но Короленко пришла в голову мысль: «А что, если бы это была не простая формальность?»

Через несколько дней полицмейстер вручил ему присяжный лист с требованием присягнуть отдельно и вернуть с удостоверением приходского священника.

— Чье это распоряжение?

— Губернатора.

От него требовали сепаратной присяги, как от ссыльного. Надо будет вслед за попом, ханжой и лицемером, повторять и вот это: «Обещаюсь и клянусь... о ущербе его величества интереса и убытка, как скоро в том поведаю, не только благовременно объя-

вить, но и всякими мерами отвращать...» Это уже не пустая формальность — он должен стать еще и шпионом, соглядатаем; «объявлять», «отвращать»... Никогда! — он прямо объявит, что никаких авансов деспотия от него не дождется. Лгать он не желает — он не верноподданный царя, присяги не примет. Так требует его совесть.

В заявлении губернатору, перечислив беззакония и несправедливости, совершенные по отношению к его семье, к нему самому и многим людям, с которыми пришлось ему встречаться в тюрьмах и на этапах, Короленко писал: «...Законным властям дано опасное право, — право произвола, и жизнь доказала массой ужасающих фактов, что они злоупотребляли этим правом. Произвол вторгается во все отправления жизни, часто самые честные и законные, и, задушив эти стремления в лучших проявлениях, — отклоняет жизненные течения с пути идейной переработки и закона на путь *личных* столкновений. Он порождает тот разлад между законным требованием и требованием совести, который я решаюсь выразить в настоящем случае.

Ввиду всего изложенного выше — я заявляю отказ дать требуемую от меня присягу...»

Енакиев, прочитав заявление Короленко, побледнел. Вся суровость сошла с него.

— Пусть это будет разговор не губернатора с поднадзорным, — тихо сказал он. — Я мог бы быть вашим отцом... Послушайтесь совета старшего годами: не делайте этого. Свод законов не предусматривает такого преступления, и кто знает, что придумают в административном порядке...

— Я настаиваю на приеме моего заявления, ваше превосходительство, — произнес Короленко.

Тогда губернатор отвечал уже официальным тоном:

— Я должен был бы арестовать вас и отправить в тюрьму, но если вы продолжите действие данного вами слова не бежать, я оставлю вас на свободе до получения распоряжения свыше.

Слово Енакиев получил.

Короленко по-прежнему ходил на службу, исписывал требуемое количество бумаги, получал жалованье, радовался, что напечатал рассказ о Яшке-стукальщике, печалился, что нет писем от Иллариона, просил Юлиана отнести «Чудну́ю» к Щедрину в «Отечественные записки» — словом, делал все, что делает человек, когда над ним не висит дамоклов меч царского неправосудия. Он все, что надо, делал, и он — ждал.

Ему передали через знакомых, что «один человек» хочет его видеть. Сегодня под вечер. За оврагом, против дома, где он живет.

Человек был молод, лет тридцати, с приятным и умным лицом.

— Здравствуйте. Я — Юрий Богданович.

Кто тогда не знал этого имени! Народник-пропагандист, потом террорист, «мещанин Кобозев», владелец сырной лавчонки, откуда народовольцы вели подкоп. Его именем полны газеты, его голову оценили, а он только сбрил бороду и ходит чуть не на виду у полиции и жандармов.

Богданович знает, что Короленко отказался от присяги и ждет ареста. Он предлагает бежать, кстати, предстоит дело, для которого нужны решительные и смелые люди. Короленко решительно отказывается. Он дал слово Енакиеву, к тому же он не верит в террор. Богданович все же убеждает его взять фальшивый паспорт: может быть, он убежит с дороги, когда уже не будет связан словом.

Они прощаются, и Богданович уходит — суровый, мужественный человек, настоящий революционер, для которого и отказ от присяги и его последствия слишком малы перед масштабом битвы, которую ведет «Народная воля» с самодержавием.

А машина между тем пришла в движение. 23 июня Енакиев послал донесение об отказе сыльного Короленко от присяги, а месяц спустя директор департамента полиции Плеве представил министру внутренних дел доклад, который через несколько дней был утвержден. В докладе значилось: «Принимая во внимание предыдущую вредную деятельность Влади-

мира Короленко и вредное направление, обнаруженное им ныне отказом от принятия присяги на верность подданства, полагалось бы необходимым выслать Короленко на распоряжение генерал-губернатора Восточной Сибири для водворения его на жительство во вверенном ему крае под надзор полиции».

И вот ранним утром 11 августа 1881 года к Владимиру Галактионовичу постучался полицмейстер и объявил об аресте. Он может сходить на службу и покончить все дела, но его будет сопровождать городовой. К вечернему поезду он должен собраться, за ним явятся жандармы.

Владимир Галактионович побывал на службе и у знакомых. Рассчитался. Распрощался. Правление дороги демонстративно наградило письмоводителя Короленко за недолговременную, но отличную службу. Друзья и сослуживцы не побоялись прийти на вокзал для проводов «неприсяжника» и «государственного преступника»...

Путь сибирский дальний

Короленко решил твердо: куда бы ни занесла его судьба, он будет работать, и это даст ему силу дождаться лучших времен и свободы.

Первое суровое испытание ждало в Тобольске, где когда-то он сидел вместе с Яшкой-стукальщиком.

От знакомых ворот Короленко ведут уже не направо, а налево. «Военно-каторжное отделение». Смотритель не прячет злорадного торжества.

Замок щелкает с музыкальным звоном, хлопает еще одна дверь — уже с грубым лязгом, и — тишина.

На смену первому побуждению — помешать насилию, сопротивляться — пришло спасительное спокойствие, потом явилась ирония: Короленко всегда умел даже в самых трудных случаях жизни уловить иронические тона. Он не был трусом, испугать его было нелегко, и все-таки вскоре он пал духом: все было мрачно, беспросветно. Правда, ему оставили пе-

рья и бумагу, но, видно, впредь до окончательного решения, которое будет неизвестно каким.

Это настроение как-то само вылилось в стихи.

Вкруг меня оружье, шпоры,
Сабли звякают, бренчат,
И у «каторжной» затворы
На пол падают, гремят.
И за мной закрылись двери,
Застонал, звеня, замок...
Грязно, душно, стены серы...
Мир — тюрьма... Я одинок...

Короленко надписывает на листке заглавие — «За дверью» — и убирает листок подальше от чужих глаз.

И тут второй раз судьба предоставила ему выбор — оставаться в тюрьме, чтобы по-прежнему тянуть лямку гонимого скитальца, или... бежать отсюда.

Условия, в которых Короленко очутился в тобольской тюрьме, были настолько тяжелыми, что он решился на побег. Терять, казалось, было нечего. А тут еще открылась возможность с помощью уголовных арестантов перебраться через тюремную ограду. Побегу помешала... тюремная собачонка. Едва Короленко попытался вскарабкаться на забор, собака кинулась на него. Каждую минуту могли появиться надзиратель, часовой... (Много лет спустя свои переживания в тобольской тюрьме писатель запечатлел в очерке «Искушение».)

А на следующий день за ним явились жандармы и с ними полицмейстер.

— Удивляетесь, господин Короленко, что мы засадили вас в каторжную? — сказал он благодушно. — Оттуда меньше видно. Мы не любим, когда о нас пишут.

Далек сибирский путь.

Томская тюрьма, прозванная «содержающей», — здесь содержатся подследственные арестанты. Путь на телеге до Красноярска... Генерал-губернатор Восточной Сибири Анучин отказал в просьбе об оставлении Владимира Короленко в Красноярске, где жили родные. Резолюция: «Послать по назначению».

Назначение ссыльному стало известно в Иркутске — Якутская область. Предстояло проехать еще три тысячи верст.

Много незабываемых встреч и бесед было у Короленко в иркутской тюрьме: со столпами народничества — И. Н. Мышкиным, Д. М. Рогачевым, П. И. Войнаральским, С. Ф. Коваликом, с рабочим П. А. Алексеевым.

Особенно запечатлелся в сознании многознаменательный и бесплодный спор между представителями двух течений в революционном народничестве — сторонниками террора и мирными пропагандистами. Короленко уже знал: крестьянская Россия не откликнулась ни на призывы пропагандистов, ни на деятельность боевиков — и тем и другим было суждено остаться «революционерами без народа».

Все же спор очень взволновал Короленко — не менее, чем его участников. Посуровел весельчак Сажин, известный в революционной среде под именем Армана Росса. Вытянув тонкую шею, широко раскрыв глаза, нетерпеливо слушал возражения оппонентов Мышкин. Большой грузный Ковалик сейчас, казалось, утратил свою прирожденную флегматичность. Маленький подвижной Войнаральский нервно покусывал губы и спорил горячо и решительно. Рогачев зачем-то постоянно приглаживал отросшие на обритой половине головы волосы. Зунделевич волновался до заикания.

Мужественное лицо Петра Алексеева, стоящего среди маленькой группы рабочих, было печально. Он смотрел поверх голов яростно споривших товарищей, словно пытался разглядеть что-то лежавшее за их бесплодной борьбой, уходящее в туманное будущее.

6 ноября Короленко отправили из иркутской тюрьмы, и только 24-го он добрался до Якутска, откуда его повезли еще дальше — почти за двести верст от города. 1 декабря 1881 года он прибыл в Амгинскую слободу, или Амгу, где ему предстояло прожить неизвестно сколько — о сроках ссылки правительство не объявляло.

Амгинская слобода

В Амге была маленькая колония ссыльных. Короленко примкнул к ней.

Сапожный труд заработка не давал: население предпочитало носить якутскую обувь, поэтому Короленко обслуживал лишь товарищей, живущих в Амге или в ее окрестностях. Через год после приезда он взялся обучать детей местной жительницы Татьяны Андреевны Афанасьевой.

Никогда раньше Короленко не предполагал, что ему придется стать заправским землепашцем и что крестьянский труд сможет так увлечь его. Все три года он настойчиво и старательно постигал тайны древней, но новой для него профессии земледельца. Научился управляться с лошадьми, охотно принялся пахать. Удалось собрать урожай сам-восемнадцать.

Короленко редко испытывал такую радость — труды не пропали даром.

Самым приятным, хотя и поначалу очень трудным, занятием был покос. Уже через несколько дней Короленко шел в ряду со всеми, не отставая. Хлеба и овощей хватило до нового урожая.

Товарищи не могли нахвалиться Владимиром Галактионовичем — прекрасный оказался работник, мастер на все руки. И пашет, и сеет, и боронит, и косит, и жнет, и топором владеет, и часы починяет, и сапожничает, и педагог отличный. Работа у него спорится — все делает чисто, аккуратно и даже изящно.

Весной 1882 года в соседний с Амгой наслег привезли двух ссыльных — Михаила Антоновича Ромася и Александра Павловича Павлова. Слесарь Павлов был одним из активных деятелей «Северного союза русских рабочих». Ромась, в прошлом смазчик на Киевском железнодорожном узле, обвинялся в принадлежности к революционному кружку. По пути в сибирскую ссылку оба отказались от присяги и угодили в Якутскую область.

Павлов и Ромась сразу же задумали побег. Бе-

жать было решено весной следующего года — с тем чтобы оставить между собой и погоней ледоходы горных рек. Короленко, не колеблясь, присоединился к товарищам. Вероятность удачи была, разумеется, ничтожно мала, брести пришлось бы не менее трех лет, но сидеть в Якутии и ждать годами, а может быть, и десятилетиями милостей от начальства не хотели и стали усиленно готовиться к побегу. Однако в конце 1882 года стали приходить извещения о сроках ссылки. Короленко узнал, что он приговорен к трем годам; таким образом, его должны будут освободить 9 сентября 1884 года. От побега отказались.

Весной 1883 года из отдаленного улуса начальство перевело в Амгу Осипа Васильевича Аптекмана.

Это был известный народник, один из руководителей «Земли и воли». После раскола общества он вошел в группу «Черный передел» и стал членом редакции ее печатного органа. Арестованный по делу чернопередельческой типографии, Аптекман поплатился пятилетней ссылкой в Якутию. Человек большого организаторского таланта, умный и выдержанный, живой и чуткий собеседник, Осип Васильевич пользовался огромной симпатией Короленко и, в свою очередь, сильно привязался к писателю.

Однажды Аптекман увидел, как Короленко закаливал свой организм. После работы, уже перед закатом солнца, Владимир Галактионович достал из глубокого колодца воду и принялся окачиваться. Тело его стало сизым, он пожимался от холода, но занятия своего не прекращал. Аптекман, ушедший в революцию с четвертого курса медицинского факультета, рассердился и отругал товарища.

— Меня к этому с детства приучал отец, — невозмутимо ответил Владимир Галактионович.

Обливаний он не прекратил и ни разу в Амге не болел. Аптекман только руками разводил — с таким богатырем даже свирепый якутский климат не в силах справиться.

Короленко не был рассеянным человеком, но случалось, что, задумавшись, он переставал замечать ок-

ружающее. В голове роились образы, он произносил за своих героев целые диалоги, а в это время забывал посолить тесто, вместо чая заваривал окурок, а как-то даже запахал в борозду книгу. Один случай едва не кончился для него плачевно.

Весенним днем ехал он над рекой, любовался закатом. Вдруг лошадь поскользнулась и грохнулась сразу со всех четырех ног. Потом она поднялась, а нога всадника застряла в стремени. Выручили сообразительность и опыт. Зная, что лошадь не побежит на лежащего человека, Короленко подтянулся к ее передним ногам, отдышался и вдруг резко ударил по морде. Бешеный скачок в сторону, но молодой сильный человек уже успел ухватиться за длинную гриву и вскоре оказался в седле. Это случилось на берегу реки, у подножья Яммалахского утеса.

«Любить этот народ — не в этом ли наша задача?..»

Острые голые камни, причудливые уступы, корявая лиственница на вершине — это Яммалахский утес.

Короленко очутился здесь совсем неожиданно, и, как это с ним нередко бывало, решающая минута жизни наступила внезапно для него самого.

Две силы есть сейчас в стране: интеллигенция и народ. Народ признаёт то, против чего борется интеллигенция. Где, где она, пресловутая народная мудрость, таинственная, неопределенная, кто ее выдумал, кто возвел на пьедестал, к чему зовет она? Что он видел в починковских обитателях, что разглядел в амгинских? Ни малейших запросов нравственного или умственного свойства. И на фоне починковских дебрей особенно видна и другая сторона российской жизни — та, где бродят живые нравственные процессы, где люди бьются среди полутьмы всеобщего невежества над их разрешением, и эти люди — интеллигенция. Правда на ее стороне, и он, Короленко, должен вместе со всеми нести эту правду, даже, если понадобится, восставая против целого на-

рода, убеждая его в своей правоте и верности его интересам. И он знает: у него есть орудие для этого — литература.

Он не революционер — это ему ясно. Он принимает правду народнической интеллигенции как самый общий закон, ибо есть пропагандисты, есть террористы, он же не разделяет воззрений ни тех, ни других. Для него теперь неприемлема слепая вера народников в таинственную народную мудрость, ему всегда были чужды методы революционного террора. Он будет искать иной, свой путь.

...На дороге, ведущей на Яммалахский утес, послышался топот и показался верх остроконечного якутского бергеса (шапки). Короленко вдруг страстно захотелось поговорить сейчас с живым человеком.

— Догор! — крикнул он. — Мин нюче сударской. (Друг! Я русский ссыльный.)

Якут спешился, подвязал лошадь и пошел, улыбаясь и протягивая руку, навстречу. Он приехал из Второго Чакырского наслега и очень рад видеть сударского, они все хорошие люди. Неправильно царь сделал, что выслал их с родины в далекую сторону. Короленко почувствовал, как что-то хорошее, нужное вновь начало работу в его душе. Пусть так же наивна, как речи и мысли этого якута, народная мудрость. Любить этот народ — не в этом ли задача интеллигенции?! А он чувствует к народу именно любовь.

Желтое солнце скрылось за краем дальнего леса. Фигура якута потонула в сумерках приамгинских лугов. Быстро темнело, от реки потянуло резкой сыростью, холодом. Взошла луна, освещая бодро идущему к слободе путнику узкую луговую дорогу. «Любить этот народ — не в этом ли наша задача?..»

К Короленко часто приходил в гости Захар Цыкунов, сосед, пашенный.

Жизнь Захара дала писателю материал для рассказа, который должен отразить мысли, чувства, стремления темных забитых Макаров якутских суровых краев.

«Работал он страшно, жил бедно, терпел голод

и холод... Его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!..»

Захар сидит перед пишущим Короленко. Он голоден, но стесняется попросить еду — знает, что сударские сами живут небогато. Короленко заваривает чай, пододвигает Захару хлеб.

Как объяснить ему, что больше так жить, как он, невозможно?! Написать о нем и о тысячах таких же обездоленных Захаров? Но едва ли они прочтут — они неграмотны. Народ не читает книг... Все равно: его Макар должен — хотя бы и во сне или даже на страшном суде — заявить протест сильным мира сего.

Захар дует на чай и пьет чашку за чашкой, а Короленко пишет и пишет, изредка поглядывая на гостя. Он словно примеривает: решился бы Захар на те обвинения, которые предъявляет старому тойону Макар из рассказа, или нет?

«Как мог он [Макар] до сих пор терпеливо выносить это ужасное бремя своей жизни?.. Он выносил ее лишь потому, что вдали перед ним, как звезда, мерцала надежда; он жив еще, стало быть, может, должен еще испытать лучшее... Теперь он стоял у конца, и надежда погасла.. Тогда во мраке сердце его переполнилось слепою яростью, и он стал засучивать рукава, готовясь вступить в драку... Он знал, что при этом ему страшно достанется, но даже в этом находил какую-то жестокую отраду: если так, — пусть же его бьют... пусть бьют его насмерть, потому что и он будет бить... тоже насмерть...»

Короленко пишет.

Когда в сердце одного человека, забитого и несчастного от рождения и до самой смерти, истощается терпение, когда ярость, как буря в пустой степи ночью, начинает бушевать в нем, когда он забывает свой страх перед начальством и перед богом, забывает все, кроме своего гнева, — это значит, что скоро то время, когда легионы Яшек и Макаров скажут свое слово. Но пока стучат только одинокие Яковы,

пока Макары терпеливо несут свою ношу, долг писателя заявить о том, что́ они должны сделать в будущем, когда придет их время.

Короленко сейчас словно въяве видит это время и своего Макара. Не среди угрюмых ленских скал, не в гиблой тундре скажет он слово протеста. Где же? А вот здесь:

«...На равнине как будто стало светать. Прежде всего из-за горизонта выбежали несколько светлых лучей. Они быстро пробежали по небу и потушили яркие звезды. И звезды погасли, а луна закатилась. И снежная равнина потемнела.

Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равнины, как почетная стража.

И в одном месте, на востоке, туманы стали светлее, точно воины, одетые в золото.

И потом туманы заколыхались, золотые воины наклонились долу.

И из-за них вышло солнце и стало на их золотистых хребтах и оглянуло равнину.

И равнина вся засияла невиданным, ослепительным светом.

И туманы торжественно поднялись огромным хороводом, разорвались на западе и, колеблясь, понеслись кверху.

И Макару казалось, что он слышит чудную песню. Это была как будто та самая, давно знакомая песня, которою земля каждый раз приветствует солнце...»

...Один из зимних субботних вечеров был посвящен только что написанному рассказу «Сон Макара».

Аптекман словно собрал воедино все впечатления.

— Ваш рассказ, Владимир Галактионович, настоящий гимн человеческой природе, оправдание высокого звания человека.

Короленко перебрался на житье к Заха́ру Цыкунову — к Макару, как его теперь называли в разговорах товарищи писателя. Захар с женой и маленькой дочкой жили в юрте, прилепленной к стене «амбара» (избы), где поселился Короленко.

Здесь в одиночестве работалось лучше, чем в юр-

тешке у товарищей, всегда полной людей, и Короленко со времени переезда к Захару — с осени 1883 года — работал с огромным напряжением.

«Сон Макара» никуда не был отослан. Автор охотно читал его товарищам, шлифовал, но после истории с рассказом «Убивец», затерявшимся в редакции журнала «Русская мысль», решил повременить, не посылать пока своих произведений в столицы.

«Убивец» писался под свежими впечатлениями пути по Сибири. По дороге в Красноярск как-то ночью Короленко разговорился с молодым ямщиком, и тот рассказал ему о своих исканиях правды, которые привели добровольного бродягу в тюрьму. Потом он женился, зажил как будто спокойно, но прошлое, как видно, тревожило этого человека, и он поведал о нем незнакомому внимательному спутнику. Уже в Амге Короленко вернулся к впечатлениям сибирского пути, и в его воображении соединились вместе два образа — простодушного искателя истины и мрачного святоши, старика из секты «покаянников» — его указали Короленко в томской «содержающей». Злобный изувер проповедовал: «Без покаяния нет спáсения, а без греха нет покаяния». И он доказывал, что для «спáсения» нужен грех. Не потому ли им была организована разбойничья шайка, наводившая ужас на всю округу?..

В этот период Короленко не допускал еще мысли о том, что когда-нибудь станет профессиональным писателем. Но вот однажды он получил от знакомого письмо, в котором сообщалось: недавно в одном из столичных кружков Глеб Иванович Успенский читал по рукописи его «Чуднýю», очень лестно отозвался о ней и просил передать автору, чтобы он продолжал писать. Окрыленный, работал Короленко над «Макаром», и все это время ему казалось, что любимый писатель, подвижник и народолюб, стоит над ним как взыскательный судия. В конце концов молодой автор решил, что рассказ Успенский должен одобрить.

Но как можно было писать о якутах и не упомянуть об их очень своеобразной поэзии? Короленко

принялся записывать народные предания и песни. Якуты охотно пели при нем, тут же находились переводчики, которые диктовали любознательному «нюче сударскому» содержание импровизаций. Однажды Короленко пришлось даже выслушать своеобразное объяснение в любви. Ссыльные пригласили несколько якутских женщин и девушек, чтобы послушать их песни. Одна из девушек, полненькая смешливая Ленчик, смело глядя на Короленко, запела:

На Камчатке стоит серебряное дерево (береза),
На второй ветке этого дерева сидит тетерев.
Он распустил хвост.
На его хвосте есть загнутые очень красивые перья.
Твоя борода напоминает хвост этого тетерева и лучшие его перья.
Когда ты везешь дрова мимо моего двора,
Я выхожу на поленницу и смотрю на тебя...
Но ты на меня не смотришь, и я вздыхаю.

Короленко смеялся вместе со всеми, смеялась и милая черноглазая певица. Короленко впервые за много лет разрешил себе подумать о том, что в ссылке проходят лучшие годы, оставляя в стороне свойственные этим годам молодые мечты, увлечения, надежды...

Но все на свете кончается, кончился и срок ссылки.

10 сентября 1884 года в десяти верстах от Амги, в Яммалахской пади, под огромной лиственницей, сплошь увешанной якутскими амулетами, состоялось грустное веселье — проводы отъезжающего Короленко. Афанасьева приготовила чай, закуску. Аптекман сказал растроганно уезжающему:

— Если кто-нибудь обрадуется вашему возвращению, то это ваша мать.

Короленко улыбнулся недогадливому товарищу: столько раз был у него в гостях Осип Васильевич, одно время даже жили вместе, а вот карточка Дуни ему ни о чем не сказала.

Нетерпеливо пофыркивают лошади. Пора ехать. Афанасьева не скрывает слез. Мужчины сосредоточенны, хмуры.

Короленко вскакивает в тронувшуюся тележку,

снимает фуражку и машет, машет... Вот стоящие под деревом люди стали еле заметны, вот скрылась из глаз и громадная лиственница.

Потянулись по сторонам дороги хмурые осенние леса, надвинулись вершины дальних гор. Из чужих края эти стали знакомыми, и, хотя по-настоящему полюбить Короленко их не смог, он чувствовал сейчас, что сердце щемит и ноет. Или это боль о прожитом, о невозвратно ушедшем — кто знает?.. А сейчас вперед, вперед!

Якутск, Олекминск, Киренск, Верхоленск. Зима гналась по пятам. Приходилось торопиться. Начинались морозы, метели. Хотелось поскорее выбраться из плена здешних гор на сибирские просторы.

В Томске, как и почти во всех крупных городах, где были колонии ссыльных, Короленко читал своего «Макара». Об этом произведении всюду уже знали еще до приезда автора, как знали и о том, что он отказался от присяги. Малознакомые, а то и вовсе незнакомые люди высказывали ему свое уважение, с огромным вниманием слушали его рассказы о Якутии, сердечно напутствовали, провожая в Россию.

Для ссыльных томичан приезд Короленко был целым событием. Приветствовали его писатель Константин Михайлович Станюкович, революционер-народник Феликс Вадимович Волховский.

На вопрос о его дальнейших литературных работах Короленко ответил не сразу.

— Вывезу из тайги могучую сосну, — наконец сказал он полушутливо, полусерьезно, — сделаю из нее музыкальный инструмент, и будет этот инструмент рассказывать о Сибири, ссыльных, о жителях Якутской области...

За три года жизни в Амге Короленко написал и набросал вчерне свыше двух десятков произведений и среди них рассказы «В дурном обществе», «Сон Макара», «Убивец», «Соколинец».

Это было много, очень много, но самым важным было другое: после «Сна Макара», после единодушно одобрительных отзывов о рассказе многих людей Короленко поверил в свои силы, перестал смотреть на

свои занятия литературой как на дилетантские упражнения. Сибирская, и в частности якутская, тема оплодотворила его творчество на многие годы.

Кончался 1884 год, кончались ссыльные скитания. Впереди была Россия, новые места, новые люди, работа. Порой Короленко охватывал нетерпеливый озноб — скорей, скорей устроиться, приняться за недоконченные вещи, начать новые!

Как-то особенно звонко, весело, обещающе пели для него ямщицкие колокольцы.





V. «ЭПОХА КОРОЛЕНКО»

...Не преувеличивая, можно сказать, что десятилетие 86—96 было для Нижнего «эпохой Короленко»... В ущерб таланту художника он отдал энергию свою непрерывной, неустанной борьбе против стоглавого чудовища, откормленного фантастической русской жизнью.

М. Горький

Год первый

Стоит закрыть глаза, как представляется, что ты не в санях, везущих тебя по льду Волги к Нижнему Новгороду, а в гостеприимном доме Анненских в Казани. Встреча рождества в обществе немногих близких людей: сверкающий остроумием, неизменно веселый Николай Федорович, дородная спокойная Александра Никитична — «теточка», десятилетняя Таня, Илларион, живущий здесь после глазовской ссылки...

Через день они с братом собрались. Анненский раздобыл рекомендательные письма. Друзья все ни-

как не могли расстаться. Уже одетый в дорожный тулуп и шапку, Короленко, полуобняв Анненского, в который раз доказывал ему преимущества переезда в Нижний — это самый близкий к столицам крупный город, где разрешено жить поднадзорным, центр губернии, связан Волгой с другими большими городами края. Здесь жизнь бьет ключом — оживленная река, ярмарка, в губернии кустарные промыслы, большие заводы. Есть надежда, что возвращающиеся через Нижний из Сибири ссыльные станут оседать в нем и со временем соберутся значительные культурные силы.

Николай Федорович обещал подумать.

Ни звездочки в темном небе. Тишину нарушают только скрип полозьев по снегу, да пофыркивание усталых лошадей, да негромкий звук колокольчика. Скоро рассвет. Думы, думы... Вот так же, как и они с братом, возвращаются ныне из отдаленных мест люди его поколения, так и не обретя «пупа земли» — тех рычагов, с помощью которых хотелось им повернуть землю в ином, более разумном направлении, и не встретив того крестьянского сына Микулушки, которому они приписывали желание и умение совершить эту важную работу. Лично он сам уже после Березовских Починок прочно утратил веру в правоту многих рациональных народнических схем, но в отличие от других не растерял своего жизнелюбия, не обиделся на людей, на Россию и Микулушку за то, что жизнь оказалась сложнее схем...

Трудная была это пора — середина 80-х годов.

Расчет народовольцев на то, что вслед за убийством Александра II начнется крестьянская революция, оказался неверным. Последствием титанических усилий революционеров-террористов было только то, что оказался освобожденным трон для другого монарха.

Оправившись от первого испуга и растерянности, вызванных небывалым в России событием, правительство ответило свирепыми преследованиями. Народовольческая организация уже не смогла восполнить потерь, понесенных после 1 марта: агония была

короткой и сильной. Самой заметной фигурой на политическом горизонте стал архиреакционер Победоносцев. Реакция правительственная соединялась с реакцией общественной. По-прежнему молчало крестьянство. А рабочий класс был сравнительно малочислен и еще плохо организован. Идейный разброд среди народничества достиг кульминационных пунктов. «Подлыми годами» назвал этот период середины 80-х годов Глеб Успенский. Старые идеи не оправдали себя, а нового знамени никто не подымал. Реакция. Глухая, «подлая» пора разгрома надежд, утраты веры в общественные идеалы...

И тем не менее необходимо было начать новую жизнь — хотя бы для того, чтобы внести в нее свою мысль, и свои искания, и негодование, и надежды на лучшие времена. Как это сделать, Короленко, как и многие его современники, еще не знал. Правда, в его расчетах на будущее особое место занимали несколько исписанных тетрадок, лежащих сейчас в его портфеле.

Показался город — казарменного типа дома на набережной, темные окна. Никто их здесь не ждет. Послышался звук трещотки ночного сторожа. Братья Короленко и ямщик сошли с саней и стали медленно подниматься по крутому извилистому въезду. Прямо на длинной каменной стене качался большой фонарь, освещая неровным светом огромные буквы странной надписи: «Чаль за кольца, решетку береги, стены не касайся».

Короленко усмехнулся в ответ на это суровое лапидарное красноречие отцов города:

— Где здесь то кольцо, за которое дозволительно зачалить и мою утлую лодочку?

Так для Короленко начался памятный январский день 1885 года.

Остановились в гостинице на Нижнем базаре. Здесь продавали и покупали с зазываниями, божбой, хлесткими ругательствами. Покрикивали в толпе полицейские офицеры, орали и толкали кого-то городовые, монументами возвышались конные полицейские с нагайками. И даже две церкви в разных концах

базара стыдливо предоставили свои нижние этажи под торговлю. Короленко с трудом выбрался из этого сонмища яростного торга и не совсем чистой наживы.

В тот же день отправился с рекомендательными письмами.

Местный мировой судья А. А. Савельев принял радушно.

— Какая у нас теперь, батюшка, оппозиция? — Александр Александрович отвечал на вопрос гостя с легким удивлением. — Одни открыто воруют и хотят сохранить эту приятную традицию. Это консерваторы. А мы и хотели бы эту традицию прекратить, да не можем. Вот и вся оппозиция. Да и немного нас. Живем по старинной поговорке: блюдите да опасно ходите... Вы вот, видно, не ходили опасно — и очутились в Якутии. А мы выучились — с опаскою ходим... У нас, батюшка, крамолой тут считается и ревность излишняя к народному просвещению, порой даже и больницы, вообще всякое «баловство» мужика. А вы говорите — оппозиция...

Александр Серафимович Гацисский, статистик, этнограф и литератор, принял Короленко не менее радушно, чем Савельев. В отличие от сдержанного, добродушно-насмешливого Савельева Гацисский являл собой тип восторженного ученого-идеалиста.

— Наш девиз, уважаемый Владимир Галактионович, — мягко говорил Гацисский, поблескивая стеклами пенсне, — мосты мостити и гати гатити. Но и этого нам не позволяют. Мы тихо, очень тихо движем свое дело. Растут школы, городские и земские стипендиаты кончают гимназии, университеты. «И се видех, яко добро есть». Но...

Светлая улыбка осветила интеллигентное, доброе лицо Александра Серафимовича и тут же погасла.

Короленко угадал, что́ давило Гацисского, Савельева и их друзей.

— Громко кричащая ложь, — сказал он, — всегда сильнее робко бормочущей истины... По-прежнему обыватель самому факту восхождения солнца готов поверить не иначе, как по соответствующем о том

извещении с пожарной каланчи или из полицейской будки. Так я вас понял?

Гацисский как-то странно взглянул на говорившего. Вот она, первая ласточка оттуда, из областей весьма отдаленных. Строптивец, настоящий якобинец. Он ищет, на кого можно опереться. Он полон молодого задора, несомненно талантлив, его имя приобрело уже некоторую политическую известность. Над его косвенным предложением союза стоит подумать.

Как и Савельев, ничего определенного не обещая, Гацисский приветливо прощается. Короленко хотя и понимает причины осторожности этих людей, но досада от этого не меньше.

Братья решили, что за матерью и сестрой с детьми, вернувшимися из Красноярска в столицу, поедет Владимир.

В Москве Короленко остановился на несколько дней и повидался с Авдотьей Семеновной Ивановской. Встреча была радостной, неожиданно новой, полной самых светлых и радужных надежд для обоих.

Короленко понес своего «Макара» в редакцию журнала «Русская мысль». (В окончательном варианте автор исключил несколько строк в сцене «бунта» Макара, где тот готовится драться до смерти: цензура могла «зарезать» из-за них весь рассказ.) Редакторы приняли Короленко приветливо. Но они не могут гарантировать ничего. Цензурные строгости... Обилие беллетристического материала...

Через две недели, когда Владимир Галактионович, забрав мать и семью Лошкаревых, проезжал через Москву, в редакции его ждало радостное известие — рассказ принят журналом.

Зимний солнечный день был особенно радостен еще и потому, что на вокзале семью Короленко — на правах старой знакомой — встречала Ду́ша Ивановская и, провожая в Нижний, обещала приехать навестить.

На вокзальной площади Нижнего все уселись в несколько извозчичьих санок и с шумом и смехом

помчались «домой» — в нанятую скромную квартирку. Вот и Варварка, прямая, в одноэтажных домиках, а в перспективе улицы — белое здание с решетками на окнах.

— Опять... — тихо сказала Эвелина Иосифовна, и ее доброе лицо исказилось, словно материнское сердце опять почуяло недоброе.

— Ничего, мамашенька, — беззаботно возразил сын. — Я ведь только что приехал на новое место, предосудительного ничего сделать не успел...

В шуме, смехе, суете проходило устройство на новом месте. Но ему помешали.

Под вечер 1 февраля 1885 года в коридоре зазвенели шпоры. «Кого это носит нелегкая?..» Громкий стук: «Отворите». Входят жандармы. Офицер оглядывает схожих друг с другом братьев:

— Кто из вас Владимир Галактионович Короленко?

— Я,— отвечает один из них, кареглазый, веселый, крепкий. — Что вам угодно?

Прочитав предписание, он бледнеет и закусывает губу. Все сначала — обыск, арест, тюрьма, а там, может быть, опять путь сибирский дальний. Пересиливая себя, Короленко утешает плачущую мать, одевается и уходит, окруженный позванивающими шпорами, к белому зданию с черными воротами. Еще полчаса назад за семейным столом царили уют, и мир, и веселье. Чей-то знак, чей-то приказ — и все разрушено, изломано, ввергнуто в горе и отчаяние...

Где только можно, Короленко неистово протестует — в Нижнем, в Москве, в Доме предварительного заключения в Петербурге, куда его привезли 8 февраля. В жандармском управлении старый знакомый ротмистр Ножин, арестовывавший его шесть лет назад, предъявляет нелепейшее обвинение. Письмо какого-то хвастуна, подписанное «Вл. Корол.», где автор сообщает, что покрыл уезд сетью нелегальных организаций.

— Это не я писал,— сердито заявляет Короленко, отдавая письмо.

Нет худа без добра. За те несколько дней, что он пробыл в одиночке Дома предварительного заключения им был дописан начатый еще в Амге рассказ «В дурном обществе», о сирых и бездомных людях — их он мальчиком видел в Ровно, — о детях, из которых серый камень высосал жизнь. Серый камень давит сейчас и на него самого — не оттого ли обратился он в тюрьме к теме сирых, обездоленных и бесправных?..

Через три дня дело разъяснилось, и Короленко был отпущен. Так закончилось в жизни его еще одно «недоразумение».

Когда он снова зашел к кому-то из нижегородских либералов за ответом на принесенное до ареста письмо, хозяин дома встретил его с плохо скрытым ужасом.

— Извините, ничего не могу. Вы только что приехали и... уже были арестованы. Прощайте-с...

Больше Короленко ни к кому не пошел.

Вот оно, одно из проявлений рабского молчания людей, их страха перед жестокостью жандармских преследований. Нечего ждать вскоре «нового неба и новой земли». Но в нем не задавить страстное желание вмешиваться в эту застойную жизнь, желание открыть форточки в затхлых помещениях, громко крикнуть, чтобы рассеять кошмарное молчание общества. Нет ни партий, ни классов, которые бы вели сплоченную борьбу за права общества и народа, создавать их — не его призвание. Значит, остается одно — выступить партизаном на защиту права и достоинства человека всюду, где это можно сделать пером. Пока он начнет борьбу сам, а там наверняка окажется не один скиталец, ищущий партизан какой бы то ни было борьбы во тьме бесправия и забитости. Свидетельства о благонадежности не требуется лишь для работы в газетах — он возьмется за работу в провинциальной прессе.

И Короленко начал эту работу. Ко времени его возвращения в Нижний из казанского «Волжского вестника» — единственной, кажется, порядочной газеты Поволжья — пришел ответ редактора: Н. П. За-

госкин соглашался на его сотрудничество. Короленко тотчас же отослал заметку, вскоре еще одну и еще.

Их печатали охотно, редакция принимала все, что он посылал, но цензура... Она кромсала заметки с таким ожесточением, что автор сам едва их узнавал. Приходилось мириться и учиться писать так тонко, так отчетливо, чтобы был заметен и значителен каждый оттенок, но не было бы наивной подчеркнутости, которую свирепо искореняли казанские цензоры И Короленко оттачивал свое перо, не жалея сил и времени.

В «Волжском вестнике» Короленко напечатал первое после возвращения из Якутии беллетристическое произведение — рассказ «В ночь под светлый праздник».

...В пасхальную ночь из тюрьмы бежит арестант. Молоденький часовой прицеливается и, закрыв глаза, объятый ужасом перед тем, что должно случиться, стреляет. В час, когда неправедный мир фарисейски возвещает о любви и братстве, человек, захотевший свободы, гибнет от руки другого человека, в сущности не повинного в убийстве. Но кто же виновен? Автор не говорит об этом прямо — пусть сам читатель делает вывод о том, что в обществе, построенном на притеснении и насилии, ежедневно, ежечасно — и в серые будни, и в светлые праздники — кто-то гибнет, кто-то страдает...

Почти одновременно с рассказом, в мартовской книжке «Русской мысли», появился «Сон Макара», сразу привлекший к имени автора пристальное внимание читателей и критиков.

А между тем нижегородская либеральная гора сдвинулась и пошла к Магомету. Первым явился доктор Позерн; потом зашел Гацисский, а позднее Короленко сблизился и с Савельевым. В молодом человеке, искрящемся здоровьем, умом, веселостью, энергией, была такая притягательная сила, что померкли страхи и зароки кружка перед «опасным хождением».

Короленко правильно оценил поведение этих местных, почвенных людей: они хорошо понимали, что им недостает чего-то, и это могут дать люди не местные, а бродяги, «якутяне», «сибиряки», не пустившие еще прочных корней в Нижнем, которым нечего терять и которые не разучились называть вещи своими именами. И вот в Нижнем зародился союз благонадежно-оппозиционных земцев-почвенников и заведомо неблагонадежных корреспондентов из людей, хорошо знавших отдаленнейшие места Сибири.

Первые давали материал, вторые — свою отчаянность.

Вербовал «отчаянных» Короленко.

Он познакомился с Ангелом Ивановичем Богдановичем, бывшим студентом-медиком, который находился в Нижнем на положении поднадзорного. Жил частными уроками, был одинок и в свои двадцать пять лет успел разочароваться в жизни и идеалах, к былой своей революционности относился скептически. В семье Короленко обласкали молодого пессимиста, отогрели. Богданович ответил на предложение стать корреспондентом усмешкой, однако через несколько дней принес заметку для «Волжского вестника», которая под пером Короленко приняла пригодный для печати вид и вскоре появилась в газете.

Затем последовала вторая, третья.

Несколько позднее Короленко приехал с семьей из Сибири врач Сергей Яковлевич Елпатьевский и тоже примкнул к «отчаянным».

В период учебы в Московском университете во второй половине 70-х годов Елпатьевский был одним из руководителей московского студенчества; позднее, когда работал земским врачом в Рязанской губернии, оказывал различные услуги членам партии «Народная воля». До ссылки в Сибирь он уже напечатал в народническом журнале рассказ. Его большая повесть о семидесятниках «Озимь», написанная до ссылки, появилась уже после возвращения автора — в «Северном вестнике».

Короленко и Елпатьевский очень привязались друг к другу — особенно неизменно веселый, добродушный оптимист Елпатьевский.

Переехали из Казани Анненские. Кружок «отчаянных» быстро рос. Они стали получать отовсюду сведения о тайных сторонах местной жизни. Когда за «обиженных» вступалась цензура, «отчаянные» не очень смущались. Им ли, некогда обвиненным в настоящей крамоле, было бояться гнева предводителя дворянства или председателя земской управы.

Однако материальное положение семьи Короленко заставляло желать лучшего. Нередко приходилось перебиваться мелкими займами и даже прибегать к закладам. Лошкарев определился капитаном на небольшой пароход «Охотник», был все время в разъездах, но жалованье получал скромное. Илларион организовал слесарную мастерскую, которая приносила только убытки. Юлиан и Веля, жившие в Петербурге, зарабатывали мало и могли помогать только эпизодически.

Короленко очень скоро занял в «Волжском вестнике» лестное положение одного из ведущих беллетристов. Он получал построчную плату такую же, как и Мамин-Сибиряк — четыре копейки со строки, но писал мало, тщательно работая над каждым своим рассказом. В апреле 1885 года Короленко поместил в газете своего любимого «Старого звонаря» — рассказ о больших горестях в жизни маленького человека, к лету отдал туда большой рассказ «Глушь», к осени — очерк «На станке» (первоначальная редакция «Ат-Давана»).

Он окончательно убедился, что потребность писать — результат глубокого внутреннего побуждения, без этой работы жизнь для него потеряет главный смысл, поблекнут ее краски. Но невыносимо было видеть нужду в семье, а работать наскоро, ради денег — Короленко знал, что все равно не сможет.

И он поступил, правда ненадолго, кассиром на пристань крупного волжского пароходства Зевеке.

Молодой писатель Короленко

В сентябре 1885 года Короленко напечатал в «Северном вестнике» «Очерки сибирского туриста (Убивец)», через три месяца тот же журнал опубликовал первый из «Рассказов о бродягах» — «Соколинец».

Сибирская тема введена была не Короленко в русскую литературу. О суровом «гиблом» крае писали еще протопоп Аввакум, Рылеев, Достоевский. Непосредственные предшественники Короленко, в том числе народнические беллетристы, не увидели в сибирских бродягах, поселенцах, беглых каторжниках ничего незаурядного, в лучшем случае их герои были протестантами-обличителями сектантского толка.

Но у Короленко, первого из русских писателей, тема изгоев среды обрела общественно-социальное звучание. Герои его сибирских произведений предстали перед растревоженным читателем как люди, в которых предельно суровая жизнь не сумела загасить стремлений к свободе, к независимости, к счастливой доле.

Вот герой рассказа «Убивец» Федор Силин, темная, ищущая правды и справедливости душа. Обиженный начальством, он медленно и трудно приходит к выводу, что «настоящий грабитель» не тот, кто «в кандалах закован идет», а тот, кто обижает простого, немудрого человека, толкает его на преступление. К числу последних Федор относит и себя. К их числу относится и бродяга «Иван тридцати восьми лет». Он с детства «на тюремном положении», ему «острог — батюшка, тайга — матушка». И в трудную минуту у него — угрозой несправедливо устроенному миру — вырываются слова: «Давненько что-то я с ним, с богом-то, не считался... А надо бы. Может, еще за ним сколько-нибудь моего замоленного осталось...»

Яркий, цельный образ настоящего рыцаря вольной бродячей жизни создал писатель в «Соколинце». Старый Буран, чьи глаза смотрят на мир «тускло и

с угрюмым равнодушием», по-своему честен и верен главной заповеди неписаного бродяжьего закона: не бросать друга в беде. Несчетное число раз бежал он из неволи, и никакая сила не может погасить в нем жгучей тоски по воле. Смертельно раненный во время последнего в его жизни побега, Буран торопится дать товарищам наставления, как избежать опасностей по пути на родину.

Вот молодой бродяга Василий, он своим рассказом о лихом побеге с Сахалина — Соколиного острова — «всю кровь взбудоражил» в своем собеседнике. «Я видел в нем, — писал Короленко в «Соколинце», — только молодую жизнь, полную энергии и силы, страстно рвущуюся на волю...»

Писатель не скрывал своей симпатии к изображаемым им героям. Он показывал читателю множество теневых сторон их жизни — не всегда оправданную жестокость, оторванность от общества и трудовой среды, бесперспективность и трудность существования, но его привлекало в этих людях и их судьбах другое: романтика суровой борьбы с тысячами препятствий на своеобычных, труднейших путях их жизни.

Образы вольнолюбивых протестантов, не желающих терпеть насилия над собою, Короленко выводил и в «Федоре Бесприютном», и в «Содержающей», и в «Черкесе». И по-прежнему протест его героев звучал как суровое обвинение несправедливому общественному строю.

Бродяга Бесприютный, как и Федор Силин, ищет ответа на трудный вопрос: почему все в жизни устроено так, что один обречен на скитания, другой живет в свое удовольствие? Судьба сводит его с революционером-народником, товарищем по этапам, и свой вопрос Бесприютный задает ему.

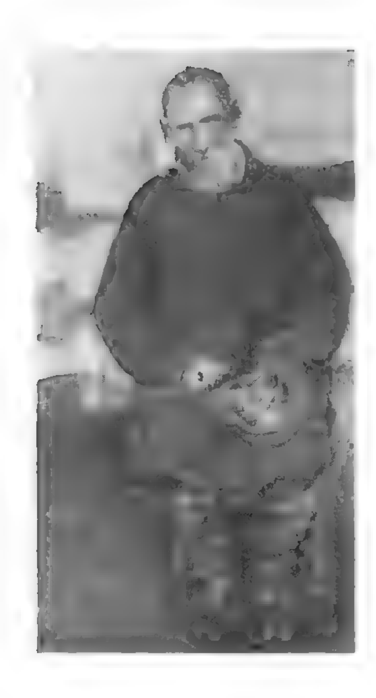
Этот рассказ Короленко был первым из произведений писателя, запрещенных цензурой. Рассказ пришлось радикально перерабатывать, смягчать его социальное звучание. Под измененным заглавием — «По пути» — он появился только в начале 1888 года в «Северном вестнике».



«Мушкетер» у входа в камеры Рогожской полицейской части в Москве. Рисунок В. Г. Короленко 1879 года.



Внутренность избы в Березовских Починках, где жил В. Г. Короленко. Рисунок В. Г. Короленко 1880 года.



Захар Нефедович Цыкунов, послуживший В. Г. Короленко прообразом Макара в рассказе «Сон Макара». Позднейшее фото.



Юрта Захара Цыкунова, в которой жил В. Г. Короленко. Позднейшее фото.

В 1886 году готовился первый сборник рассказов и очерков писателя, куда вошли также его произведения о Сибири. Цензура неохотно дала разрешение, мотивируя это тем, что по своей тенденциозности они «могут принести значительную долю вреда в среде читающей публики».

Тема социального протеста зазвучала у молодого писателя и в произведениях другого цикла — так называемого волынского, связанного с воспоминаниями детства и юности.

«Проблематические натуры» из рассказа «В дурном обществе», как и сибирские бродяги, — изгнанники обывательской среды, многие из них «отмечены чертами глубокого трагизма». В этих людях дна — ворах, нищих, пьяницах — умеет автор найти и человеческое достоинство, и товарищескую взаимопомощь, и великое чадолюбие, а главное — протест, прямо направленный в адрес всего общества, которое обрекло их на подобную участь.

В полесской легенде «Лес шумит» Короленко утверждал право человека на месть насильнику, напоминал о тех эпизодах прошлых времен, когда кончалось терпение угнетенных и они поднимались на «панов».

И снова вернулся Короленко, теперь уже в большом рассказе «Глушь», к вопросу о «ненастоящих городах».

У «бывшего города» Пустолесье тот же «прототип», что и у «Ненастоящего города», — Глазов. Здесь жизнь застыла на «мертвой точке», нет ни новых промыслов, ни фабрики, ни железной дороги. «Стоячая трясина, а не жизнь», — говорит герой рассказа пустолесский учитель. Так появляются «люди смирения» вроде попа Ферапонта и присных, темные изуверы, как дьячок Стратилат, а «людей гордыни» ждет участь безвременно погибшего учителя Иванова. «Какой же путь лучше, какое мировоззрение надежнее?» — спрашивает автор. По-прежнему вопрос о путях к будущему, о формах общественной жизни волнует его. Путь поисков или «ненастоящее» прозябание, спокойствие затхлой жизни или путь искания,

смятения и страдания? «...Всегда были и всегда — да, всегда — будут гордые безумцы, которые предпочитают спотыкаться, страдая, и падать в изнеможении на трудном пути, чем смиренно и с улыбкой спокойствия идти рядом с другими по хорошо протоптанной дороге». Так отвечал Короленко, к этому звал он своих читателей.

«Но кто же они, эти люди, которые изберут для себя трудные пути?» — задумывался Короленко. Интеллигенция? Да, отдельные ее представители. А в массе — кто способен идти нехожеными, тернистыми, неизведанными дорогами протеста? Крестьянство? Рабочие? Кустари?

Еще осенью 1885 года Короленко, оторвавшись на несколько дней от беллетристической работы, ездил в Горбатов, уездный город, где слушалось дело о крестьянских беспорядках. (Отчет о процессе, напечатанный в «Русских ведомостях», явился началом его сотрудничества в газете.) Короленко решительно принял сторону крестьян. В конце зимы следующего года он намеревался поехать во Владимир на судебное разбирательство дела о стачке орехово-зуевских ткачей на Морозовской мануфактуре, и только необходимость срочной работы над повестью «Слепой музыкант» заставила его отложить эту поездку.

В начале 1887 года в «Русской мысли» (книжки 1-я и 2-я) началось печатание повести «Прохор и студенты»; и хотя в февральском номере значилось «Продолжение следует», читатели больше не встретились с выселковским жуликом Прошкой.

Продолжения не последовало потому, что Короленко понял: «цензурная скала» преградит путь. Очень было обидно: интерес к повести все увеличивался, замысел разрастался.

В повести Короленко предполагал вывести народнически настроенных людей, которые в дни своей молодости страстно призывали «пробуждение господина грядущего», а позднее не менее страстно принялись уверять: и хорошо случилось, что этот господин не проснулся. Писатель заострял свое произведение против народнических эпигонов, призывавших в 80-х

годах к примирению с действительностью. Сам он был уверен, что обновление может быть достигнуто только в борьбе.

Поиски среды, способной к борьбе и протесту, продолжались. Они нашли отражение в работе над другой повестью — «Табельщик», — которая началась еще в 1885 году.

Через месяц после появления второй (и последней) книжки журнала «Русская мысль» с повестью «Прохор и студенты», в марте 1887 года, Короленко напечатал в «Русских ведомостях» новое произведение — «На заводе», снабдив его подстрочным примечанием: «Предлагаемые читателю две главы составляют часть большой повести, под заглавием «Табельщик».

Во время работы над «Табельщиком» «цензурная скала» маячила особенно грозно. Еще бы: он говорит о рабочих, об их трудной, суровой жизни, о стихийном бунте на заводе. Повесть писалась почти наверняка «на зарез», но не писать Короленко не мог. Замысел поглотил его.

...Большой завод за высоким крепким забором. Фигуры рабочих, бредущих в полутьме рассвета от слободки к темному зданию, над которым взвиваются клубы пара и вечно грохочет молот. Угрюмая дыра проходной будки с табельщиком, скрежет сотен напильников, стон паровой пилы, шуршание ремней на шкивах... Двое мальчишек-сирот попадают на завод в обучение к забитому беспросветной жизнью угрюмому шорнику. Однажды они уснули в уголке среди грохота и шума большого завода и подверглись жестокой трепке. Барышня, дочь управляющего, случайно оказавшаяся на заводе, вступилась за мальчиков.

...Но вот они выросли. Один из них, монтер Фома, в противоположность своему приятелю, мечтательному, безвольному табельщику Ивану, вырос в человека сильного и волевого. В нем рабочая масса увидела своего руководителя, вожака. Он и был настоящим рабочим вожаком. В бурную минуту возмущения рабочих против «начальства» Фома сумел показать себя

подлинным руководителем; его волю толпа приняла как приказание.

Повесть осталась в архиве писателя в виде многочисленных набросков. Писатель опубликовал только две вполне безобидные в цензурном отношении главы о детстве мальчиков. Кроме опасений, что цензура не пропустит повесть о рабочих, поднявшихся против «хозяев жизни», была еще одна причина, из-за которой работа над «Табельщиком» была прекращена. Писатель предстоящую борьбу за обновление страны связывал не с пролетариатом, смутно представляя себе, какой исторической силе принадлежит будущее.

Читающая публика как-то сразу выделила Короленко среди других авторов. Имя его очень скоро — менее чем за год — стало одним из популярных, любимых передовым читателем. Критика припомнила, что несколько лет назад Короленко уже опубликовал ряд своих произведений; читатели стали разыскивать редкий в столицах «Волжский вестник», где печатался молодой писатель.

Быстрый рост популярности Короленко показал, что общественный подъем мятежных 70-х годов не забыт, что освободительные идеи даже теперь, в глухую пору правительственной и общественной реакции, способны тревожить сердца — особенно молодые сердца — непогасшей верой в народные силы, в человека, в грядущую светлую, обновленную жизнь. Читатель понял и принял романтическую приподнятость образов короленковских героев — строптивцев, протестантов.

Короленко привлек всеобщее внимание прежде всего как писатель четко выраженных социальных симпатий. В отличие от беллетристов-народников молодой автор настойчиво стремился освободиться от формул, говорить ярким языком образов, как это делали писатели его поколения — восьмидесятники, и прежде всего Всеволод Михайлович Гаршин. Глеб Успенский в своем художественном методе сочетал образы и авторские формулировки. В очерках, начиная с «Ненастоящего города», Короленко усвоил эту манеру своего предшественника и учителя, но одно-

временно в художественных произведениях стремился отойти от канонов демократической беллетристики 70-х годов с ее публицистичностью, настойчивым подчеркиванием автором своих идейных позиций, ее четкими формулировками. Человеческие судьбы в произведениях Короленко — всегда отражение исторической расстановки сил в стране; лучшие стороны человеческой. натуры вызывает к жизни борьба за социальную справедливость.

Он «страстно любил красоту — справедливость, искал слияния их в единое целое», — сказал о Короленко М. Горький. По его словам, Короленко был одержим «неутомимою жаждою «правды — справедливости» и «проникновенно чувствовал... необходимость воплощения этой правды в жизнь».

В Москве. «Слепой музыкант». У Толстого в Хамовниках

В конце весны 1885 года приехала погостить Авдотья Семеновна. Не забыть Владимиру Галактионовичу чудесных майских дней, прогулок по откосу и в лодках, долгих часов бесед, объяснения. 27 января 1886 года в Троицкой церкви на Большой Печорке они обвенчались. Потом немногочисленный «брачный поезд» разместился в обыкновенной, вовсе не поэтической конке и отправился на квартиру Короленко близ набережной, где и состоялось «свадебное пиршество» — по обычаю семейства, как и всякое веселье, с небольшим количеством вина, но с обилием смеха, шуточных перепалок и тостов.

На следующий день молодые уехали в Москву.

Супруги поселились в Большой московской гостинице близ Кремля. В городе предполагалось прожить месяц — по возможности беззаботно: познакомиться с литературной Москвой, побывать в театрах, у знакомых. Днем Короленко сидел в Румянцевской публичной библиотеке, делая выписки из исторических сочинений для нового рассказа (будущего «Сказания о Флоре».)

Велики были удивление и граничащая с ужасом растерянность Владимира Галактионовича, когда утром в воскресенье 2 февраля он увидел на первой странице газеты «Русские ведомости» знакомое заглавие — «Слепой музыкант (этюд)» и в конце — «Продолжение будет».

Редакция пригласила его выступать с беллетристическими вещами, и в конце прошлого года Короленко послал в газету первую главу начатой повести «Слепой музыкант». Послал только для того, чтобы доказать свое согласие на беллетристическую работу, не больше: даже второй главы еще не было. Повесть рисовалась пока очень смутно, в виде основного мотива — борьбы слепого за возможную полноту существования.

И вот перед ним номер газеты с первой главой... Есть отчего прийти в ужас! Пришлось отложить рассказ из античной истории, мечты о беззаботном «медовом» литературном месяце в Москве и засесть за работу тут же, в номере московской гостиницы. Отдельные главы пришлось писать прямо набело. Впоследствии Короленко говорил друзьям, что без этого «недоразумения» с первой главой «Слепой музыкант» так мог бы и остаться в виде начала. Зато с этих пор Короленко всей душой возненавидел работу «к сроку» и прилагал все усилия к тому, чтобы не приневоливать свое творческое воображение.

Если бы его спросили впоследствии, как и когда именно зародилась в его сознании идея «Слепого музыканта», он затруднился бы ответом. Первичным, исходным было стремление противопоставить теперешней умственной реакции и мракобесию извечное человеческое стремление к свету, преодоление личной неполноценности и борьбу за свое место в общественной жизни.

Итак, основной психологический мотив будущего произведения — инстинктивное, органическое влечение к свету. И это лучше всего можно было проследить у человека, рожденного слепым. Могли возразить, что не видевший света не должен чувствовать лишения в том, чего вовсе не знает. Неверно! Мы не

летали, как птицы, но как долго ощущение полета сопровождает детские и юношеские сны. Человек *должен* тосковать по неизведанному и недостижимому, он всегда должен стремиться к возможной полноте своей личности, ведь он — человек! Это первый и главный мотив, который должен зазвучать в произведении.

Трудное себе взял писатель задание!

В «Слепом музыканте» перед ним почти terra incognita — земля неведомая. Правда, он встречал в своей жизни несколько слепых. Мальчиком в Ровно он наблюдал девушку, дочь их домовладелицы. Она бралась оценивать красоту материй, которые ощупывала, и очень обижалась, когда над ней смеялись. А однажды она даже *почувствовала* в небе падающую звезду. В Амге его учеником был мальчик, постепенно теряющий зрение. Наконец, в Нижнем слепой музыкант Духовский, человек взрослый, развитой и культурный, рассказал о себе (он ослеп вскоре после рождения). И тем не менее подтверждения главного тезиса о тоске слепорожденных по свету у него пока нет. Так пусть она будет у его слепого — Петра Попельского. Петр будет бороться за свою долю «света» в жизни, в обществе. В этом ему помогут близкие люди — старый воин-гарибальдиец дядя Максим, «маленькая женщина» Эвелина, подруга, возлюбленная, жена, а потом мать его зрячего сына, Иохим со своей дудкою... Темное, слепое, казалось бы, неисходное горе должно быть преодолено, эгоистическое страдание — отвергнуто. Слепой должен прозреть!

И в подготовленной для «Русских ведомостей» повести, в сцене рождения сына, слепой действительно видит въявь и огромный сверкающий купол синего неба, и черную землю, и деревья с причудливыми листьями, и дядю Максима с коротко остриженными волосами и длинными серебристыми усами, и голубые глаза своей белокурой Эвелины...

Мог ли Короленко тогда, зимою 1886 года, лихорадочно работая над повестью, предположить, что это произведение принесет ему мировую известность,

выдержит еще при его жизни множество изданий на родине, перешагнет континенты?..

Не закончилось печатание «Слепого музыканта» в газете, как Короленко получил от «Русской мысли» предложение напечатать его в журнале. Неудовлетворенный первоначальной редакцией, автор частично переработал повесть. Прежде всего он связал момент прозрения слепого со звуковыми ощущениями. Теперь Петр воспринимает «звуки, которые оживали, принимали формы и двигались лучами. Они сияли, как купол небесного свода, они катились, как яркое солнце по небу, они волновались, как волнуется шепот и шелест зеленой степи, они качались, как ветви задумчивых буков».

Повесть появилась в июльской книжке «Русской мысли» за 1886 год.

Новой переработке «Слепой музыкант» подвергся в отдельном издании, которое вышло в конце 1887 года. Автор усилил социальное звучание повести: дядя Максим стремился вывести племянника из тесного усадебного мирка в большой мир, полный жизни, страданий, борьбы, движения.

Но наиболее существенные изменения были внесены Короленко в шестое издание, вышедшее в 1898 году.Толчком к этому явился эпизод, который подтвердил правильность тезиса писателя о неизбежности стремления у слепых к свету.

Это случилось летом 1890 года во время посещения Короленко Саровского монастыря в Тамбовской губернии. На колокольне писатель разговорился со слепорожденным звонарем.

С волнением, словно предчувствуя, что̀ ответят ему, спросил автор «Слепого музыканта»:

— Не казалось ли вам когда-нибудь, хоть в сновидении, что вы видите?

— Нет, не доводилось... Это дело бывает, ежели человек ослеп... А я родился таким.

Брови звонаря поднялись. Много раз виденное Короленко выражение слепого страдания проступило на бледном лице. И вдруг слепец с тоскою добавил:

— Хоть бы ты, господи, хоть во сне дал свет-

отраду повидать. Хоть в сонном видении. Да нет, не дает...

Короленко услышал как раз то, что так хотел услышать.

Он включил сцену на колокольне в окончательный вариант повести. Петр слышит эти слова от слепца-звонаря. Жизнь подтвердила предположение художника!

Много позднее, в 1916 году, приват-доцент Московского университета по кафедре психологии А. М. Щербина, слепой с двухлетнего возраста, пытался публично и печатно оспаривать точку зрения писателя. Он даже читал лекцию в Полтаве и посетил Короленко. Но Владимир Галактионович остался при своем мнении.

...Через московских знакомых, у которых бывал Толстой, Короленко стало известно, что Лев Николаевич, узнав о судьбе молодого писателя, заинтересовался им. «Мне кажется, что я знаю Короленко, — передавали слова Толстого. — Если бы он захотел прийти ко мне и разрешить какие-нибудь свои сомнения и вопросы, я рад бы его увидеть и поговорить с ним».

Поначалу Короленко обрадовался предстоящему знакомству, но, поразмыслив, решил, что уже своим приходом он солжет. Спорить с Толстым, перед художественным гением которого он преклонялся, Короленко не хотел. Но у него не было никаких иллюзий относительно толстовского учения о «непротивлении злу насилием». Он не террорист, но необходимость противления казалась ему до такой степени очевидной, ясной, обязательной, что слушать иное мнение без возражений, даже от Толстого, Короленко равнодушно не смог бы. Он решил, что приглашение Толстого не примет и к нему не пойдет.

Прошло несколько дней, и Короленко все же пошел к Толстому. У редакции «Русской мысли» зародилась идея сборника в память двадцатипятилетней годовщины «освобождения» крестьян, и редакция просила Владимира Галактионовича и известного писателя-народника Николая Николаевича Златоврат-

ского посетить Толстого и пригласить участвовать в издании.

Они пришли к известному всей Москве дому в Хамовниках вечером.

По широкой лестнице оба писателя, изрядно волнуясь, поднялись на второй этаж.

На верхней площадке, среди группы людей, стоял Толстой, известный Короленко по портретам, — высокий, худощавый, широкоплечий, с большой седеющей бородой, в блузе. Когда Короленко назвал себя, Толстой взял его руку и, задерживая в своей, договорил, обращаясь к группе:

— ...Да, да,. я действительно нашел истину. И она мне все объясняет — большое и малое и все детали. Вот это вот пришел Короленко. Он был в Сибири и отказался от присяги. Теперь он пришел ко мне. И я знаю, зачем он пришел, и что ему нужно, и что он хочет у меня спросить.

Короленко густо покраснел. Опасение оказалось не напрасным — его приход все же выглядел как ложь. Но Толстой вдруг резко перебил себя:

— Пойдемте ко мне... Счастливый вы человек, Владимир Галактионович, — произнес он на ходу. — Не удивляйтесь, что я так говорю... Вот вы были в Сибири, в тюрьмах, в ссылке. Сколько я ни прошу у бога, чтобы он дал и мне пострадать за мои убеждения, нет, не дает этого счастья. За меня ссылают — на меня не обращают внимания.

В большой, просторной комнате, служившей Толстому кабинетом и приемной, стало тесно от людей. Здесь были художник Ге с сыном, тоже Николаем Николаевичем, бывший нечаевец Орлов, то принимавший веру Толстого, то отвергавший ее, некто Озмидов, толстовец, и другие, кого Короленко не знал.

На предложение участвовать в сборнике Толстой, не задумываясь, согласился и обещал дать что-нибудь для него, но выразил сомнение, пропустит ли сборник цензура (впоследствии оказалось, что опасения были справедливы).

— Цензура, Владимир Галактионович, — говорил

Толстой, — вычеркивает у нас все то, что ярко, что ново, что движет мысль, и оставляет одно бесцветное, ненужное. Пока цензура занята таким непохвальным делом, не стоит писать...

Сказал — и быстро оглядел из-под мохнатых бровей обоих писателей: не обиделись ли? Но Короленко и бровью не повел, у него на сей счет было свое, особое мнение: писать стоит!

Когда Орлов, позабыв об общественном и воспитательном значении литературы, заявил, что незачем описывать, как некий Остап играет на глупой бандуре, Короленко, до сих пор молчавший, не выдержал. Намек был слишком прозрачен. Толстовца возмутил появившийся в январском номере «Русской мысли» рассказ «Лес шумит». Да, там, конечно, не найти мыслей о смирении и непротивлении злу насилием. Пришел конец панской злой власти — загуляли хлопцы с рушницами (ружьями) по большим дорогам да по панским хоромам. Грозно тогда шумел лес над убитым паном и его доезжачим — шла буря. Разве только пан перед смертью стал бы проповедовать идею смирения своим взбунтовавшимся холопам... «Глупая бандура» для бывшего народника Орлова только предлог, чтобы обрушиться на искусство, литературу, втоптать их в грязь — и все под флагом «великих христианских идей Льва Николаевича».

Короленко ответил на выпад спокойно, умно, лукаво. В ответ самодовольный Озмидов разразился длиннейшей наставительной речью, но все почувствовали в тоне его холодное, неискреннее резонерство, и Толстой поспешно прервал своего апологета:

— Нет... Это не то... Я думаю, что Владимир Галактионович прав.

Короленко покидал дом Толстого взволнованный и усталый от всего увиденного и услышанного. Сам Толстой произвел на него очень сильное и в целом хорошее впечатление, но его окружение ужаснуло. Люди вокруг гениального писателя более толстовцы, чем он сам. Они не дают ему и задуматься над чужими возражениями, тотчас вываливая готовые формулы и примеры. Слова правды заглушаются их

расшаркиванием, а самого Толстого они окуривают фимиамом.

Да, он прежде всего художник, а не мыслитель. Художник огромный, какие рождаются веками, и творчество его кристально-чисто, светло и прекрасно. Он поражен христианством, но его мучит противоречие этого учения и конкретных жизненных фактов. Жизнь всколыхнулась до глубины, и Толстой остановился в недоумении перед сложностью ее.

Уже была глубокая ночь, когда хозяин пошел провожать гостей. Тишина стояла над Хамовниками. Скрипел снег под ногами бодро шагавшего Толстого. Он крепко, вовсе не по-стариковски пожал руку Короленко, ласково заглянул в глаза, пригласил заходить еще. Когда Короленко около Садовой оглянулся, в тусклом свете редких фонарей высокой фигуры Толстого уже не было видно. Исчез чудный старик...

При всем уважении к Толстому Короленко не мог не протестовать против его вредного учения. И в своем новом произведении — «Сказание о Флоре Римлянине и Агриппе-царе» — Короленко заговорил о том, что борьба необходима, что насилие питается покорностью, как огонь соломой. Сила руки — зло, когда она подымается для грабежа и обиды слабейшего; когда же она поднята для труда и защиты ближнего — она добро. Камень дробят камнем, сталь отражают сталью, а силу — силой.

И еще верит герой «Сказания», мудрый и храбрый Менахем, предводитель восставших иудеев против римских завоевателей-насильников, что придет время, когда исчезнет насилие, народы сойдутся на праздник братства, и никогда уже не потечет кровь человека от руки человека!

Это будет в будущем, а пока надо бороться.

Боритесь же за свою идею. Но не осмеливайтесь забыть человека в вашем враге. Никогда цель не может оправдать средств, употребленных для ее достижения. Так утверждал Короленко.

«Сказание» появилось в октябрьской книжке журнала «Северный вестник» за 1886 год.

«Братья-писатели»

Короленко возвратился из Сибири никому не известным скромным «сапожником и живописцем», как именовал его один из полицейских документов, теперь он стал российски известным и любимым писателем. Его согласия на сотрудничество добивались лучшие журналы и видные газеты, его переводили на европейские языки.

Слава, настоящая слава писателя, выражающего думы и запросы передовых слоев общества, пришла к Короленко. Его ставили теперь в один ряд с такими художниками, как Чехов, Гаршин, Глеб Успенский, Мамин-Сибиряк.

В начале 1887 года Короленко начал работать в редакции «Северного вестника», и отныне в его обязанности вошло чтение рукописей, поступающих в беллетристический отдел журнала. К нему непосредственно стали обращаться молодые авторы за советом и помощью. Как-то незаметно, миновав литературную юность, вступил писатель в пору творческой зрелости.

Это был период особенно напряженных раздумий Короленко над путями и судьбами русской литературы и ее служителей — писателей, отдающих свое перо, свое сердце служению народу. В эти же годы завершилось формирование миросозерцания Короленко, хорошо понимавшего, что писатель не может не быть в то же время и общественным деятелем, не может не принимать горячего участия в политической жизни страны.

Думы свои он поверял друзьям и заветному хранилищу его мыслей — дневнику, который с начала «оседлой» нижегородской жизни стал вести систематически.

Крупным, прямым, красивым почерком исписываются страницы дневника, записных книжек, писем. Самые различные вопросы жизни интересуют писателя Короленко, и он знает, что не одинок в своих думах и поисках. Немало в России писателей, которые так же, как и он, бьются в поисках жизненных

путей, страстно ищут связи с народом, одержимы теми же скорбями, радуются теми же радостями, что и он. Это поистине его братья по перу, братья-писатели.

Самый близкий из них — Глеб Иванович Успенский, чистая, возвышенная душа, русский писатель всеми помыслами прикованный к роковым этапам общественной жизни, свидетелем которых он стал.

В одну из своих поездок в Петербург Короленко отправился к Глебу Ивановичу знакомиться. Это было в последних числах февраля 1887 года. Над столицей спускались ранние сумерки, когда Короленко подошел к громадному серому дому на Васильевском острове.

В квартире на пятом этаже было шумно и людно. Посетитель назвал себя, и тут к нему, отодвигая в сторону столпившуюся в прихожей молодежь, кинулся высокий худощавый человек, обнял и заговорил негромко, ласково, радостно. Это был Глеб Иванович. Он увел гостя в маленький кабинет, усадил, предложил папиросу. От печальных, удивительных глаз хозяина, его ласковой, с приметной грустью улыбки повеяло на гостя чем-то давно знакомым, совсем родным и близким.

— Какой вы счастливый, — говорил Успенский, — ссылка позволила вам сохранить совесть. А мы, пережившие здесь эти подлые годы, виновны уже тем, что пережили их, что остались живы и носим в душе подлое воспоминание. Это такое пятно, которого не вытравишь ничем. — И, стряхивая пепел, он задумчиво, с горькой и словно виноватой улыбкой взглянул на собеседника, такого крепкого, ладного, спокойного.

А Короленко думал, что именно таким должен быть автор «Будки», «Выпрямила», «Власти земли». Ни одной натяжки. Все говорится с глубочайшей, предельной искренностью.

— Вы любите Достоевского? — спросил Успенский, и, когда Короленко ответил, что не любит, но такие вещи, как «Преступление и наказание», перечитывает с величайшим интересом, в них много жиз-

ненной правды, Глеб Иванович переспросил с удивлением:

— Перечитываете?.. А я не могу... Не могу... Много правды, говорите, в нем... — Он задумался. — Вот посмотрите сюда, много тут за дверью уставится?.. Пара калош, ничего больше.

— Пожалуй.

— А он сюда столько набьет... человеческого страдания... горя... подлости человеческой... на четыре каменных дома хватит...

И выразительное лицо говорившего при словах «страдание», «горе» искажалось стократ испытанными собственными страданиями и болью за человека униженного, страдающего, оскорбленного.

Короленко долго бродил по пустынным набережным и проспектам, потрясенный личностью этого человека, чувствуя, что, как раньше Успенского-писателя, полюбил теперь Успенского-человека за этот особенный душевный склад, за эту чистую, глубокую искренность и боль за людей, за человека.

Это была уже вторая встреча с товарищем по профессии. За несколько дней до посещения Успенского, во время остановки в Москве, Короленко познакомился с Антоном Павловичем Чеховым.

Двухэтажный особнячок Чеховых на Садово-Кудринской был полон молодого, шумного веселья. Тон задавал сам Антон Павлович. Услышав о госте, он сбежал по лестнице. Чехов был выше гостя, поуже в плечах, легкий, гибкий, подвижной. В светло-карих лучистых глазах его Короленко увиделись одновременно глубокая мысль и детская непосредственность.

Пили чай в маленькой гостиной. За самоваром сидела старушка — мать трех молодых людей: Чехова, его брата и сестры, которые все показались Короленко веселыми и беззаботными. Но чем дальше присматривался Короленко к Чехову, тем больше казался ему этот молодой жизнерадостный человек похожим на молодой дубок, пускающий ростки в разные стороны, порой еще как-то коряво, бесформенно, но обещающий в недалеком будущем крепость и цельную красоту могучего роста.

— Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы? — спросил Чехов. Быстро оглядел стол, под руки попалась пепельница, он взял ее, окинул внимательным, смеющимся взглядом, поставил перед Короленко. — Вот... Хотите... завтра будет рассказ... Заглавие — «Пепельница».

Брат и сестра улыбнулись сочувственно: видно, они по опыту знали, что в этом нет ничего невозможного. А Короленко показалось, что над пепельницей уже зароились какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих готовых форм, но уже проникнутые юмористическим настроением. Это, без сомнения, образы беззаботного, удачливого Антоши Чехонте. Они теснятся к нему веселой и легкой гурьбой, забавляя, но, пожалуй, редко волнуя.

А позже, в кабинете, Короленко словно увидел другого Чехова, сознающего, что талант его не просто игрушка, которая тешит душу и приносит некоторый доход семье, а великая драгоценность, за которую он в ответе. На лице Чехова во время разговора проступило какое-то особенное выражение, и Короленко вспомнилось старинное изречение, очень точно его характеризующее, — «первые отблески славы».

Тонкое, чистое лицо Чехова стало грустным, когда он слушал рассказ Короленко о его ссыльных скитаниях. Сидел молча, с тихой лаской глядя на гостя, и внезапно вскочил, осененный созревшей мыслью.

— Владимир Галактионович, я приеду к вам в Нижний.

— Буду очень рад, только смотрите — не обманите.

— Непременно приеду... Будем вместе работать. Напишем драму в четырех действиях. В две недели.

Короленко рассмеялся.

— Нет, Антон Павлович. Мне за вами не ускакать. Я работаю медленно. Драму вы пишите один, а в Нижний все-таки приезжайте.

Почти в каждый приезд в Москву Короленко посещал Чехова, их отношения становились все более близкими и сердечными. По совету Короленко Чехов

взялся за повесть, и в начале 1888 года в «Северном вестнике» появился один из его шедевров — «Степь».

Многое сближало обоих писателей, и однажды Чехов высказал мысль, удивившую Короленко близостью к его собственным раздумьям.

— Мы, писатели, сообща, артельно делаем большое и важное дело, делаем усилиями целого поколения. Всех нас будут когда-нибудь звать не Чехов, не Короленко, не Баранцевич, не Тихонов, а «восьмидесятые годы» или «конец XIX столетия».

Короленко сделал поправку на чеховскую скромность, но в целом мысль была ему близка. В переломные, трудные эпохи необходим коллективный труд «братьев-писателей».

Вместе Короленко и Чехов не создали «драмы в четырех действиях», но совместная деятельность еще ждала их впереди.

«Личность весьма неблагонадежная, а не без таланта»

Семья Короленко росла. 28 октября 1886 года родилась дочь Софья. Чтобы обеспечить семью, надо было много работать, часто ездить не только по губернии, но и в столицы. Короленко написал заявление директору департамента полиции Дурново с просьбой разрешить ему жительство в столицах и в местностях, состоящих под усиленной охраной. Разрешено было жительство только в Москве. Для въезда же в Петербург всероссийски известный писатель вынужден был каждый раз просить разрешения у департамента, и только в конце 1888 года его уведомили, что освобожденному от гласного надзора полиции дворянину В. Г. Короленко министерством внутренних дел разрешено жительство в С.-Петербурге.

Однако и теперь, когда Владимир Галактионович приезжал в столицы, он и его знакомые тотчас попадали под пристальное наблюдение петербургских и

московских соглядатаев — это называлось «негласным надзором».

Особенно трудно было выносить надзор в Нижнем, — здесь он оказывался весьма явным. Переодетые жандармы ходили за Короленко по пятам, увязывались за его знакомыми и друзьями, среди которых были преимущественно лица поднадзорные, неблагонадежные. Очень скоро Короленко и его домашние узнали шпионов в лицо, и это постоянное нахождение под нескромно-назойливыми взглядами новых «знакомых» изрядно отравляло существование, К этому времени у писателя появилась вторая дочь — Наталья, которая родилась 1 августа 1888 года. Даже выходя на прогулки с детьми, Короленко не избавлялся от преследования шпионов.

Не избежал писатель и допросов в нижегородском жандармском управлении.

В конце 1889 года в руки Александра III попало одно из произведений Короленко. Царь прочел и заинтересовался личностью писателя. Вскоре ему был представлен пространный доклад. Здесь сообщались основные факты биографии Короленко в период отбывания им ссылок, особо отмечался отказ от присяги.

«Сочинения Короленко, — признавалось в докладе, — пользуются большой известностью в обществе и охотно принимаются всеми периодическими изданиями. Лучшие произведения Короленко, независимо от помещения в журналах, издаются отдельно, и некоторые из них выдержали уже три издания».

По прочтении доклада император всероссийский, которому Короленко так и не принес верноподданнической присяги, начертать изволил глубокомысленную резолюцию: «По всему этому видно, что личность Короленко весьма неблагонадежная, а не без таланта».

В политическом обзоре по Нижегородской губернии за 1891 год генерал Познанский, начальник жандармского управления, доносил, что Короленко «лично сам стал влиять на некоторые общественные дела. Около него группируются положительно все поднад-

зорные Нижегородской губернии, и все, что он им высказывает, — для них закон».

Был и другой источник, из которого Петербург черпал сведения о Короленко. Нижегородский губернатор Баранов сначала заигрывал с популярным писателем, надеясь, что Короленко воздаст должное его «просвещенному» управлению губернией. Когда писатель решительно отклонил генеральские ухаживания, Баранов тоже принялся писать на него доносы, вполне успешно соперничая в этом с Познанским.

Жизнь трудна и сложна

— Тише, Володя пишет!..

Когда раздавалось это предостережение — все в доме утихали. Это означало, что в маленькой угловой комнатке, где тесно от шкафов с книгами, письменного стола, рабочей конторки, кушетки, стульев, — работает Короленко. Писал он чаще всего стоя, заложив одну ногу за другую, слегка наклонив голову, торопливо откладывая в сторону исписанные листы. Если появлялись друзья или знакомые, они тихо проходили в столовую и — ждали. Посетителей, которых с каждым годом в доме Лемке на Канатной улице появлялось все больше, Авдотья Семеновна поила чаем, и они терпеливо дожидались, когда из кабинета раздадутся быстрые твердые шаги, на пороге появится бодрый, освеженный работой писатель и пригласит к себе.

— Пишет? — переспрашивал посетитель, незнакомый с порядками в семье Короленко. — Значит, нельзя его увидеть?

— Да, — твердо отвечала Авдотья Семеновна. — Пока он не кончит, он все равно не способен воспринимать окружающее.

Если кто-нибудь все же прерывал работу писателя, он отвечал невпопад, искоса жадно поглядывая на свою конторку с заметным желанием возобновить работу.

— Когда я что-нибудь описываю, — делился Коро-

ленко с друзьями, — я ясно вижу всю картину. Однажды, во время работы над сибирским очерком, я вдруг поймал себя на том, что перестал писать и рисую пером знакомый пейзаж...

Писал Короленко самозабвенно, увлеченно, с огромным удовольствием. Ему трудно было только начать, а затем, когда появлялось начало «в нужном тоне», работа шла быстро, легко. Публицистические статьи он нередко писал прямо набело, беллетристические произведения — со значительными поправками.

Когда Короленко дольше обычного задерживался за своей конторкой, друзья тихонько заглядывали в кабинет, покашливали, звали оторваться. Анненский был шумливее других. И когда он «на цыпочках» следовал из прихожей в столовую, Владимир Галактионович в своем кабинете по тяжелым шагам и шумному дыханию отличал его от всех и поскорее старался закончить работу — он очень любил Николая Федоровича.

Если работа все же увлекала Короленко и он забывал о времени, раздавался топот маленьких ножек, и в дверь, несмотря на предостережения матери, начинала ломиться Соня:

— Папа, титистик писоль... (статистиком она звала Анненского, возглавлявшего статистическое бюро губернии).

Появление Владимира Галактионовича в столовой встречается градом шуток. Он ловко парирует их, сам необидно высмеивает друзей и домашних.

— Мамашенька, — говорит он, — я заглянул в вашу расходную тетрадку, вижу всюду: рысь, рысь. Вы что же это — нас вместо риса рысями кормите?

Все смеются. Эвелина Иосифовна ласково и смущенно улыбается шутке сына, отвечает тихим голосом, не утратившим мягкого музыкального акцента родного польского языка. Она постоянно занята работой: вяжет носки и варежки внукам и чужим детям, кому-то шьет одеяла, ручные мешки, кофточки. Она ведет хозяйство умно и расчетливо — семья большая, а доходы невелики.

Особенно весело бывает в доме Короленко по

вечерам. Приходят бывшие «сибиряки» — кроме Анненских, Елпатьевский с женой, журналист Дробыш-Дробышевский, нижегородские «коренные» жители, Богданович, поднимаются живущие внизу Лошкаревы. Тогда каламбурам, шуткам, веселым рассказам не бывает конца. Особенно удачно выступают Анненский и Мария Галактионовна. Когда они «распускают своих собачек», достается всем. Владимир Галактионович сам никогда не нападает, зато среди удачно обороняющихся первое место принадлежит ему. Его шутки всегда мягки, они никого не ранят, но от них смеются не менее заразительно.

Нередко объектом шуток становится сам Короленко с его неутомимой готовностью помочь людям.

Когда друзья вышучивали эту его особенность, Короленко отвечал серьезно:

— Говорите, пропьет? На то, что я ему дал, много не выпьет.

— Несимпатичный? Да и монета, которую он получил, не бог весть какая симпатичная.

— Почему поехал на извозчике с дрянной клячей? А как же ему поправиться, если его не будут брать? Пусть хоть на мне заработает.

В кругу друзей Короленко получил прозвище «банкир» — за его стремление выручать людей из беды. Но так как личные скудные ресурсы «банкира» иссякали много раньше его готовности помочь, то он отправлялся отыскивать средства, писал записки знакомым, тормошил всех до тех пор, пока проситель не получал самого необходимого и не «вставал на ноги», по любимому выражению Короленко:

«Податель сей записки вопиет о 35 рублях, — я собрал все, что было, теперь ничего не имам. Не поможете ли?

В. Короленко».

Особенно чуток, внимателен и сердечен Короленко был в семье — «клане». Мать свою он обожал и очень внимательно относился к ее желаниям. Именины Эвелины Иосифовны совпадали с рождественским сочельником, и в этот день соблюдался старинный

польский обычай: собирались самые близкие люди, за трапезу принимались только с появлением первой звезды, стол накрывался на сене и подавались только кутья, взвар, жареный лещ. Правда, потом появлялся русский самовар и разговоры велись отнюдь не религиозного содержания, но Эвелина Иосифовна и не сетовала. Она всю жизнь прожила в России, сыновья и дочери ее были русские, она сама говорила по-русски.

Дети Лошкаревых любили «дядю Володю» беззаветно. Он возился с ними подолгу, когда они были здоровы, и превращался в «брата милосердия», если они заболевали.

Осенью 1888 года дом на Канатной посетила смерть. Заболела воспалением легких четырехлетняя дочь Лошкаревых Женя. Девочка жестоко страдала, и с ней мучились все остальные. Владимир Галактионович почти насильно взял из рук обезумевшей сестры забившуюся в предсмертных судорогах девочку и носил ее, и грел, и дышал на нее, и сам закрыл ей глаза...

Женя лежала в гробике, словно живая, спящая.

Короленко не захотел оставлять сестру одну. В комнате одуряюще пахло цветами, и ему сделалось дурно. Попил воды, каких-то капель — и снова тут же сел к столику: нужно было срочно выслать в «Северный вестник» рассказ.

— Пойди отдохни, — говорит Мария Галактионовна.

— Нет, я побуду с тобой. Постараюсь писать здесь...

И он пишет. Пишет о том, что было давным-давно, когда мать умершей Жени сама была девочкой, а он, сейчас уже бородатый мужчина, отец двух детей, был большеголовым мальчуганом, впервые задумавшимся в такую же ночь о великом таинстве жизни и смерти. В доме тогда тоже скрипели двери, шепотом разговаривали люди, и все было проникнуто тревогой. Старая нянька Гандзя гнала детей в кровати, а они недоуменно прислушивались к зву-

кам, которые доносились из той комнаты, где у мамы в эту ночь родилась «детинька».

Он пишет свой рассказ, который называется «Ночью». Тогда ночью родилась новая жизнь, теперь — тоже ночью — он сидит у гробика умершего ребенка. Многое ли он узнал о жизни и смерти за эти тридцать лет?..

Люди рождаются, люди умирают — такова жизнь. Просто и сложно, как все в этом мире. Короленко долго смотрит на усыпанный цветами крошечный гробик, на мерцающие огоньки погребальных свечей, на застывшую в горе сестру. Потом опять берет в руки перо. Какое читателю дело до того, что он в момент работы над рассказом о появлении новой жизни на земле сидел подле гроба близкого существа? Он взялся описать не смерть, а жизнь, и он сделает это, как бы ни тяжко было на душе.

Едва успев отослать «Ночью» в «Северный вестник», Короленко принимается за рассказ «С двух сторон», который был написан меньше чем за два месяца. В октябре был подготовлен для гаршинского сборника отрывок «На Волге». Во всех этих произведениях отразились настроения, властно овладевшие впечатлительным писателем после смерти Жени.

«Мы были с Николаем Гавриловичем словно родные...»

Летом 1889 года Авдотья Семеновна с девочками и сестрой А. С. Малышевой жила на хуторе в Саратовской губернии, а Короленко совершал свои обычные летние странствия по Нижегородью. В начале августа он заехал за женой, и они отправились в Саратов, на свидание к Николаю Гавриловичу Чернышевскому, который получил, наконец, разрешение выехать из Астрахани и поселиться в родном городе.

С Николаем Гавриловичем и его женой несколько лет назад познакомился Илларион Короленко. Он писал и рассказывал брату о Чернышевском, который очень интересовался автором «Сна Макара», счи-

тал его человеком талантливым, симпатизировал ему, как писателю, и предрекал блестящую будущность. Однако, когда Илларион Галактионович передал ему о желании брата познакомиться, Чернышевский ответил: «Нет, уж это не надо. Мы с Владимиром Галактионовичем, как два гнилых яблока. Положи вместе — хуже загниют».

Это был намек на их вконец испорченные в глазах начальства репутации. Приходилось Короленко довольствоваться рассказами Иллариона, его письмами и сообщениями о «дяде Коле», как конспиративно назвал писатель Николая Гавриловича в одном из писем. Но затем по просьбе Чернышевского Короленко собрал и выслал ему материалы для биографии Добролюбова. Вскоре было получено приглашение посетить Чернышевских в Саратове.

Жили они против общественного сада, в деревянном флигеле в глубине двора. На звонок вышла кухарка:

— Николай Гавриловича нету дома.

Короленко оставил визитную карточку — он придет завтра. Адреса не указал.

Рано утром супруги ушли в Гостиный двор за покупками, а когда в половине десятого вернулись, номерной подал записку. Крупным, слегка дрожащим почерком в ней было написано:

«Владимир Галактионович!

Зайду к Вам между 10 часами и четвертью 11-того.

17 авг. Ваш Н. Чернышевский».

За номерным еще не успела закрыться дверь, как кто-то, невидимый из-за перегородки, заговорил. Голос был глуховатый, старческий, но приятный.

— А-а, дома. Ну, вот и отлично, вот и пришел... А, вот вы какой, Владимир Галактионович... Ну, каково поживаете, каково поживаете?.. Ну, очень рад.

И, протягивая руку точно старому знакомому, Чернышевский подошел к столу. Длинные каштановые, без единой серебряной нити, волосы Чернышевского обрамляли темное, землистое, все перерезанное сетью морщинок, знакомое по портретам лицо.

Желтая астраханская лихорадка! Из студеной Якутии его нарочно послали в знойную Астрахань — в расчете на эту верную помощницу престола в борьбе с революционерами.

— А это кто у вас? Жена, Авдотья Семеновна? Ну, и отлично, ну, и отлично, я очень рад, голубушка, очень рад. Ну, вот и пришел...

Чернышевский говорил оживленно, почти весело. Короленко по рассказам ссыльных знал эту его черту: даже в самое тяжкое для него время Николай Гаврилович страдал молча, на людях был ровен, неизменно приветлив и даже весел — мужественный русский человек, отдавший себя революции до конца.

Целый рой мыслей и чувств всколыхнула эта встреча в молодом писателе. Бурное половодье русской жизни почти трех десятилетий прошло вдали от Чернышевского. В свое время он твердой рукой разрушил преграды, и в русское общество хлынул мощный поток освободительных идей.

С прежним блеском и умом, мастерски владея оружием диалектики, обрушился Чернышевский на учение Толстого о «непротивлении злу насилием».

Когда Владимир Галактионович вышел попросить, чтобы подали еще самовар, Авдотья Семеновна спросила Николая Гавриловича, какие произведения мужа ему нравятся больше всего. Стали перечислять вместе все лучшее из написанного Короленко: «Сон Макара», «Старый звонарь», «В дурном обществе», «Соколинец», «Убивец», «Слепой музыкант», «Лес шумит»... Авдотье Семеновне особенно нравилось «Сказание о Флоре».

Чернышевский улыбнулся:

— Я ругаю Толстого, а вы тут же: «Мне нравится «Сказание», — в нем развенчивается непротивление злу...» Помните, у Некрасова есть одно стихотворение: сидит на улице каменщик, бьет камни:

И если ты богат дарами,
Их выставлять не хлопочи:
В твоем труде заблещут сами
Их животворные лучи.

Взгляни: в осколки твердый камень
Убогий труженик дробит,
И из-под молота летит
И брызжет сам собою пламень!

— Так вот и у Владимира Галактионовича, — закончил мысль Чернышевский, — что́ бы он ни писал, всюду искры. Надо, чтобы он работал и не отходил в сторону. Это большой талант, это тургеневский талант.

Он оглянулся на вошедшего в комнату Короленко и лукаво закончил:

— Я только не примирюсь с ним до тех пор, пока он не напишет большое что-нибудь из общественной жизни.

За эти дни пребывания в Саратове Короленко дважды посетил Чернышевского на его квартире. Они подолгу беседовали, и не проходило ощущение, появившееся у Короленко еще в первое свидание их, что они с Николаем Гавриловичем были словно родные, свидевшиеся после долгой разлуки.

Последнее свидание было особенно теплым и сердечным. Владимир Галактионович подарил хозяину своего «Слепого музыканта», недавно вышедшего вторым изданием, с надписью: «Николаю Гавриловичу Чернышевскому от глубоко уважающего В. Короленко».

Чернышевский проводил гостя до ворот. В мерцающих сумерках позднего вечера в последний раз смотрел Короленко в глаза «яркого светоча науки опальной», в последний раз обнимал худые, старческие уже плечи.

Уехал далеко от Саратова — в Крым — и там все думал о человеке, ставшем близким и дорогим за несколько коротких летних дней.

Вспоминались беседы с Чернышевским. Цельный, твердый, несломленный человек, активный борец против пассивного смирения, против общественного зла, против условий, отнимающих у людей счастье и долю.

Накануне отъезда из Крыма Короленко лихорадочно, торопливо, словно боясь, что остынет гнев

против пассивного человечьего существования, этого страшного зла жизни, принялся набрасывать рассказ «Тени».

Мудрый строптивец Сократ, не боясь смерти, отстаивает свое право на поиски истины. Если ошибаются даже сами боги — они услышат слова протеста. «Уступите же с дороги, мглистые тени, заграждающие свет зари! Я говорю вам, боги моего народа: вы неправедны, олимпийцы, а где нет правды, там и истина — только призрак».

Короленко не видел новой веры, но твердо знал, что старая вера — зло и поэтому разрыв с ней необходим. Смирение перед злом — это то же самое, что сопротивление добру.

Учитель и ученик

Ясным декабрьским утром 1889 года у дома Лемке остановился высокий молодой человек лет двадцати, широкоплечий, крепкий, но худой и одетый скорее по-летнему, чем по-зимнему. Огляделся и решительно полез в худых сапогах напрямик через сугроб к крыльцу.

— Вам кого?

Невысокий коренастый мужчина в коротком тулупчике отставил лопату, смотрит внимательно, добро. Большая курчавая борода в инее, лицо разрумянилось от работы, а глаза карие, хорошие, с веселой искоркой.

— Мне нужен Короленко.

— Это я.

Молодой человек сконфузился, пробормотал, что его зовут Пешков, Алексей Максимович Пешков. Он принес писателю Короленко свою поэму, хочет узнать его мнение.

Пешков читал рассказы Короленко, и они вызывали в нем чувство, не схожее с тем, какое испытывал он при знакомстве с произведениями народнических писателей — Каронина, Златовратского, Засодимского, Наумова, Мачтета. Короленко не требовал

истовой, безоглядной веры в мужика, и поэтому его творчество в кругах нижегородских и казанских народников — «радикалов» — не пользовалось симпатиями. В нем они видели вредного скептика, отказавшегося следовать святой традиции поклонения народу. По правде сказать, Пешков чувствовал себя в среде «радикалов», как чиж в стае мудрых воронов, а их отзывы о Короленко только увеличивали его острый интерес к писателю.

Пешков уже шесть лет писал стихи, но желания показать их кому-нибудь из писателей-«радикалов» не испытывал, — очень уж много в стихах было такого, что вовсе не соответствовало взглядам его знакомых. В один из трудных периодов трудной своей молодости и пришел Пешков к Короленко. Свою поэму в стихах и прозе под названием «Песнь старого дуба» молодой автор искренне считал вещью замечательной: ведь он вложил в нее свои размышления о судьбах мира и человечества, тревожившие его всю недолгую сознательную жизнь. Он был уверен, что, прочитав его творение, все грамотное человечество будет потрясено им, после чего мир радикально переустроится, начнется иная, честная, чистая, веселая жизнь. Других желаний у Пешкова не было.

Листая объемистую рукопись, Короленко больше смотрел на автора, чем на его тетрадь, в которой оказалось еще и несколько листков со стихами.

— Почитаем! Тут у вас написано «зизгаг», это, очевидно... описка. Такого слова нет, есть — «зигзаг».

Пауза дала Пешкову понять, что Короленко знает: здесь ошибка, но щадит самолюбие автора. Таких «описок» нашлось немало.

— Какое суровое лицо у вас, — сказал Короленко, глядя прямо в лицо смущенному Пешкову, и вдруг широко, понимающе улыбнулся: — Трудно живется?

— Иностранные слова надо употреблять только в случаях совершенной необходимости, — мягко наставлял писатель. — Вообще же лучше избегать их. Русский язык достаточно богат, он обладает всеми

средствами для выражения самых тонких ощущений и оттенков мысли... Вы часто допускаете также грубые слова, — должно быть, потому, что они кажутся вам сильными? Это бывает.

— Я это знаю, — отвечал Пешков. — И о своей малограмотности знаю. У меня не было ни времени для того, чтобы обогатить себя мягкими словами и чувствами, ни места, где я мог бы это сделать.

Короленко согласно кивнул головой: он сумел проникнуть в настроение автора и в причины, побудившие его взяться за перо.

— В юности мы все немножко пессимисты, не знаю, право, почему, — говорил Короленко. — Кажется, потому, что хотим многого, а достигаем мало...

Пешков ушел расстроенный. Твердо решил больше не писать. Ничего. Ни стихов, ни прозы.

Через две недели знакомый принес ему рукопись.

— Владимир Галактионович думает, что слишком запугал вас. Он говорит, что способности у вас есть, но надо писать с натуры, не философствуя. У вас есть юмор, хотя и грубоватый, но это хорошо! А о стихах он сказал: это бред!

На обложке тетрадки Пешков прочел запись карандашом характерным короленковским почерком:

«По «Песне» трудно судить о Ваших способностях, но, кажется, они у Вас есть. Напишите о чем-либо пережитом Вами и покажите мне. Я не ценитель стихов, Ваши показались мне непонятными, хотя отдельные строки есть сильные и яркие.

Вл. Кор.».

Пешков разорвал тетрадку, листочки со стихами и затолкал в печь. «С этим покончено...»

Полгода спустя летней теплой ночью сидел он, задумавшись, на Откосе, высоком волжском берегу, и не услышал шагов Короленко.

Во Владимире Галактионовиче было что-то, напоминавшее Пешкову волжского лоцмана: плотная широкогрудая фигура, зоркий взгляд умных глаз, благодушное спокойствие во всем облике.

И молодой человек задал вопрос, который мучительно тревожил его давно:

— Почему вы, Владимир Галактионович, такой ровный, спокойный? Мы с вами несколько раз встречались у знакомых, и я ни разу не видел, чтобы вы взволновались, доказывая свою правду. Подо мною все колеблется, вокруг начинается брожение, а вы спокойно прислушиваетесь к спорам. Почему вы спокойны?

— Я знаю, что́ мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю, — отвечал Короленко просто и, отодвинувшись, чтобы лучше видеть лицо собеседника, улыбаясь, задал встречный вопрос: — А почему вы об этом спрашиваете?

Почему?! — хотелось крикнуть Пешкову. — Почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых кажется, да и есть на самом деле, совершенно бесполезной, насыщена духовной нищетой, диковинной скукой, равнодушной жестокостью во взаимных отношениях?..

Пешков говорил долго, горячо, а собеседник его, глядя на него — большого — снизу вверх, слушал молча, внимательно, добро.

Помолчав, заговорил дружески, негромко:

— Не спешите выбрать верования, я говорю — выбрать, потому что, мне кажется, теперь их не вырабатывают, а именно — выбирают. Всякая разумная попытка объяснить явления жизни заслуживает внимания и уважения... всякая.

Короленко помолчал, слушая, как проснувшаяся река встречает новый день плеском пароходных колес, гудками, людскими голосами, потом положил руку на плечо собеседника, и это вышло у него само собой, очень просто, по-дружески. Он продолжал:

— Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне говорили о вас, как о человеке иного характера... веселом, грубоватом и враждебном интеллигенции... — И он взволнованно, как о давно продуманном и очень близком, заветном, стал говорить об интеллигенции. Да, она всегда и везде оторвана от народа, но это

потому, что она идет впереди, в этом ее историческое значение. Она — дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, декабристы, Перовская, Желябов, все, кто сейчас голодают в ссылке, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость, а прежде всего, конечно, в тюрьму, — все это самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее... Необходима справедливость! Когда она, накопляясь понемногу, маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость!

Пешков пошел провожать Короленко через город.

— Что же — пишете вы? — спросил Короленко.

— Нет. Времени не имею.

— Жаль и напрасно. Если бы вы хотели, время нашлось бы. Я серьезно думаю — кажется, у вас есть способности. Плохо вы настроены, сударь...

Хлынул проливной дождь. Они дружески распрощались и расстались надолго. Весною следующего, 1891 года Пешков отправился в дальние странствия по Руси, а Короленко продолжал делать то дело, в полезности которого он был убежден.

«Волга-матушка бурлива, говорят...»

В летние месяцы Короленко отправлялся «в народ», как он шутливо называл свои странствия по России. Чаще всего пешком, с котомкой за плечами, или на подводе, на лодке, на пароходе он устремлялся туда, где сходилось множество людей, где движение народной жизни казалось ему особенно характерным. Брал он с собой неизменную спутницу — записную книжку, а к ней небольшой альбом для зарисовок. Записи приходилось делать часто на ходу, ощупью в кармане, чтобы не возбудить подозрение собеседника, или во время отдыха. Из мате-

риалов записных книжек, как колос из зерна, вырастали потом очерки и рассказы. Странствия писателя начались вскоре после его поселения в Нижнем и следовали почти каждое лето. Обремененная семьей, Авдотья Семеновна обосновывалась либо на даче, либо уезжала в Румынию к брату — политическому эмигранту и вынуждена была довольствоваться письмами мужа с описаниями его «хождений».

Короленко, собираясь в путь, одевался по-дорожному — в свои «странницкие» сапоги, брал посох.

Дорога вела к девичьему монастырю. Сюда ежегодно 22 июня приносилась «чудотворная» икона божьей матери, принадлежащая Оранскому мужскому монастырю, расположенному в пятидесяти верстах от города. Икону встречало и сопровождало в Оранки большое количество богомольцев и «поклонников» из ближних и дальних сел и городков — Балахны, Городца, Василя. Это были главным образом крестьяне, мещане. Рабочим из Сормова, Кунавина не до богомолья.

Ослепительно сияет золото на иконе, босые ноги богомольцев шлепают по мягкой пыли. Молебны у каждой часовенки, искаженные страданиями лица людей, пришедших в надежде на исцеление.

Короленко с волнением смотрит на эти картины. Такая волна человеческого горя, упований, надежд — неужели она останется без ответа?

Люди доверчиво простираются под иконой, и над сермяжными и ситцевыми спинами, над скрюченными руками, искаженными болью лицами недоступно, горделиво, величаво сияет золото венца, загадочно смотрит чуждый, неподвижный лик богородицы. Говорят, что она приносит исцеление, но никто еще не видел исцеленных ею.

Вот и монастырь.

Среди жителей окрестных деревень идет о нем худая слава. Местные раскольники упорно доказывают, что скоро ему уготована участь Содома и Гоморры за грехи черной братии. И, кажется, не без оснований: монахи пьянствуют, развратничают, вымогают деньги у богомольцев.



Глеб Иванович Успенский
Фото 80-х годов.



Николай Гаврилович Чернышевский. Фото 1888—1889 годов.



Алексей Максимович Пешков (М. Горький). Фото 1891 года.

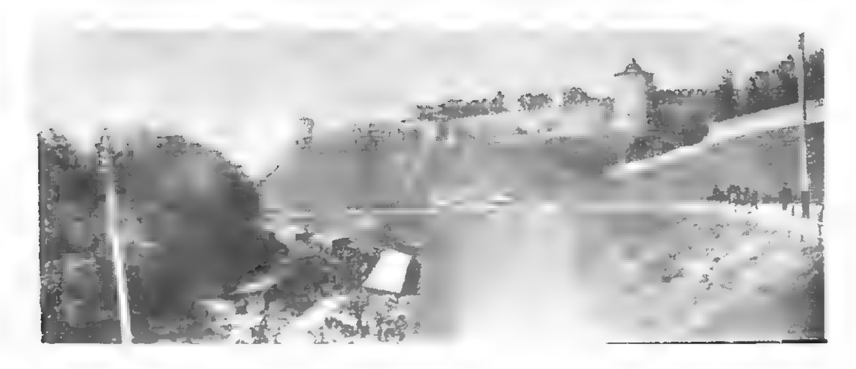


Владимир Галактионович Короленко. Фото 80 — 90-х годов.



Нижний Новгород. Сафроновский съезд.

Балчуг и кремль.



Сразу же после первого посещения Оранок летом 1887 года Короленко принялся за работу над рассказом «За иконой», который появился в сентябрьской книжке «Северного вестника».

В герое рассказа — беспокойном строптивце Андрее Ивановиче — писатель соединил черты своего давнего знакомого по Глазову сапожника Семена Нестеровича и нижегородского приятеля, публициста и общественного деятеля Ангела Ивановича Богдановича, с которым путешествовал в Оранки.

Едва рассказ был отослан, как писатель отправился в город Юрьевец на солнечное затмение, которое произошло 7 августа 1887 года (вскоре в «Русских ведомостях» появился его очерк «На затмении»). Наблюдая поведение простых, темных людей во время затмения, Короленко вспомнил полузабытые стихи:

На святой Руси петухи кричат,
Скоро будет день на святой Руси...

«Ох, скоро ль будет день на святой Руси, — с горечью подумал писатель, — тот день, когда рассеются призраки, недоверие, вражда и взаимные недоразумения между теми, кто смотрит в трубы и исследует небо, и теми, кто затмение считает наказанием грозного бога?..»

Короленко продолжал свои «хождения» по Руси. В последующие три года посещал озеро Светлояр, с которым народная молва связывала легенду о невидимом граде Китеже. Здесь писатель наблюдал, слушал, ловил живую струю народной поэзии среди пестрого человеческого сонмища — паломников, людей, «взыскующих града», расстриг и просто жуликов. Многое поражало и умиляло его, многое отталкивало. Наивного чувства и слепой веры было здесь предостаточно, да только мало видел он людей живой мысли.

Дважды после посещений озера Короленко покупал лодку и отправлялся вниз по течению бойкой красавицы Ветлуги и узкого задумчиво-красивого Керженца. По пути посещал раскольничьи скиты, деревни этого глухого края.

Одно было несомненно: умирает старая Русь древних мрачных икон, Русь темной веры в прошлое — умирает под широким веянием иного, нового духа. Писатель привез из этих путешествий материал для рассказов «Птицы небесные», «Ушел», для очерка «В пустынных местах», но не нашел главного — того «настоящего», подлинного народа, который хотел здесь найти.

Как приятно было после лесов и чащоб, нищих слепцов, суровых раскольничьих начетчиков, гнусавых нищих и похотливых монахов встретить вечно похмельного, ленивого и милого перевозчика Тюлина, увидеть взыгравшую Ветлугу, широкий, могучий волжский простор!..

Тюлин подвез «проходящего» к пароходу. Пароход, шлепая плицами по воде, спешил вниз по реке. Кто-то запел негромко:

Волга-матушка бурлива, говорят,
Под Самарою разбойнички шалят...

Часто слышит Короленко эту песню.

Неужели в невозвратное прошлое отошли бунтари-волжане, удалые разбойники, наводившие страх на купцов и воевод? Где сейчас мирские защитники, кто оборонит народ, кто разожжет искру, которая только вспыхивает и тотчас гаснет? Нет ответа, туманно будущее. Когда еще «взыграет» бурливая могучая Волга, какой клич раздастся на ее берегах?.. На Волгу вступает его величество капитал, пароходы свистом распугивают бурлацкие песни.

Скоро Нижний, дом, небольшой отдых. А там опять путешествия по краю, проселки, люди, их скорби и радости — жизнь, которую так интересно, и нужно, и важно знать ему, русскому писателю этой трудной для России поры.

Короленко убежден, что даже самое глухое и мрачное время не может в народе погасить «искры». Эти «искры» видны и в умении простого человека в трудную минуту встретить опасность лицом к лицу, и в том, что народная память цепко хранит воспоминания о добрых молодцах, бунтарях, «мирских заступниках», и во многом другом.

Перевозчик Тюлин больше молчит и лениво покряхтывает с похмелья, но в критическую минуту он словно вырастает, голос его гремит над взыгравшей рекой.

Василий Косой, ямщик, однажды возивший Короленко, поразил его своим ярким рассказом о прошлом, крепостном времени, когда в ответ на издевательства господ «вскипело холопье сердце».

Но есть в них и другое — то, что принадлежит уже не будущему, а прошлому. Тюлин вывел паром из быстрины и — сник, в его глазах угас задорный, живой огонек. Василий в момент рассказа показался писателю мудрым и величественным, а потом оказалось, что этот маленький, невзрачный мужичонка до смерти робеет перед полицейским начальством.

А, да разве главное в том, что Тюлин пьет, а Василий робок и неприметен?! В них есть то, что в какие-то минуты расправляет их во весь рост, делает красивыми, сильными, отважными, значительными. Может быть, измененная жизнь распрямит их или они, разогнувшись, изменят жизнь.

В рассказах «Река играет» и «В облачный день», повествуя о «героях на час» — Тюлине и ямщике Силуяне Кривоносом (прототипом его стал Василий Косой), Короленко создал необычайный пейзаж. «Взыгравшая» Ветлуга принуждает Тюлина к борьбе с ней. Рассказ ямщика ведется в момент, когда в природе оживает «какое-то тревожное, пугливое трепетание» — собирается гроза... Это были словно символы грядущей бури, когда «взыграют» всегда привычно тихие реки, «взыграют» привыкшие к покорности людские сердца...

Горький не раз говорил впоследствии, что Короленко в образе Тюлина сумел отразить «национальный русский характер», создать «исторически сложившийся» *«тип великорусского мужика»,* который в революционные годы «сорвался с крепких цепей мертвой старины и получил возможность строить жизнь по своей воле».

«Когда у меня перо в руках, я не знаю жалости»

Эти слова не раз слышали от Короленко соратники боевого публициста. Некий господин, умный и злой, из числа тех, кого больно задели корреспонденции Владимира Галактионовича, метко сказал однажды:

— Короленко как раскольничий епископ: появился здесь и основал целую секту корреспондентов...

— Короленко основал в Нижнем академию для писателей и журналистов, — говорили люди, понимавшие истинное значение подвижничества знаменитого писателя.

— Ищет популярности, — пытались объяснить себе деятельность Короленко люди недалекие и завистливые.

Те же, кто трепетал перед начальством, но не прочь бы и порадоваться редким победам правды и справедливости, добытым людьми мужественными и смелыми, осторожненько шептали по гостиным, что «Короленко убивает людей корреспонденциями».

Но всем — и врагам, и друзьям, и людям «золотой середины», было ясно, что с появлением в Нижнем Короленко пришел конец застойной — «провинциальной» — жизни, что нет в мире явлений, чуждых художнику и публицисту.

Несколько раз посетил писатель знаменитое кустарное село Павлово и был потрясен «трудовой нищетой» мастеров-умельцев, их горькой, беспросветной долей. Осенью 1890 года в «Русской мысли» появились «Павловские очерки» — страстный призыв к помощи людям труда, гневное обвинение всей системе чудовищной эксплуатации трудящихся кустарей.

Короленко напечатал ряд корреспонденций в «Волжском вестнике», «Русских ведомостях» о более или менее значительных местных событиях и вот, наконец, дал открытый бой дворянству, «первенствующему сословию», бесцеремонно, нагло захватившему все командные высоты в Дворянском банке, суде, земстве.

Это была трудная, неравная борьба, все перипетии которой благодаря Короленко и его друзьям стали известны далеко за пределами Нижнего Новгорода. Начать бой против дворянства — значило посягнуть на святая святых, на «устои» существующего правопорядка. Незадолго перед выступлением писателя последовал ряд правительственных мер, которые должны были еще более увеличить дворянские льготы и привилегии, упрочить неограниченное господство «первого сословия»: учрежден Дворянский банк, введены земские начальники.

В «Волжском вестнике» появилась большая корреспонденция «Темные деньги», подписанная *«В. К.»*

Из земской управы ее председателем Андреевым получена некоторая сумма для раздачи погорельцам. Но, попав к Андрееву, деньги вдруг *потемнели* — он использовал их для очередных своих мошеннических операций.

«Что же это, наконец, такое? — спрашивает Короленко — «В. К.» — Кто же и когда разъяснит г-ну Андрееву, что деньги погоревших людей — это «кровные», а не... «темные деньги»?!»

Передовой читатель по достоинству оценил общественное значение смелого выступления. Вору прямо сказали, что он вор, и главное — печатного опровержения не последовало.

Корреспонденты, сгруппировавшиеся вокруг Короленко, составили теперь внушительную силу, с которой приходилось считаться и ретроградам, и поддерживавшему их начальству, и даже неблагосклонной к ним цензуре.

— Когда вы пишете обличения, — наставлял Короленко своих товарищей по перу, — воображайте себе, что все это вы говорите спокойно и открыто в лицо обличаемому. Если вы почувствуете, что все вами написанное вы и сказать можете ему в глаза, значит и тон и мера соблюдены. А главное — будьте чрезвычайно точны с фактической стороны, потому что люди забудут сотни ваших истин и заслуг и придерутся к самой маленькой ошибке.

Теперь, когда нанесен был сокрушительный удар по Андрееву, можно было приняться и за цитадель нижегородской реакции — за Дворянский банк. Была разработана «диспозиция», и сражение началось.

В «Волжском вестнике» появилась сухая заметка о финансовых делах банка, грубые нарушения устава которого дворянскими заправилами вели к тому, что в случае краха должны были пострадать интересы мелких вкладчиков — крестьян, городских ремесленников, небогатых торговцев, служащих в невысоких чинах.

Началось дворянское собрание, на котором обычно ставился отчет дирекции банка. Короленко вместе с Богдановичем отправился в Дворянский дом, но их не пропустили. Корреспонденты ушли. В этот же день в несколько столичных газет и в Казань были отправлены телеграммы: перед обсуждением банковского отчета предводитель нижегородского дворянства не пустил на заседание корреспондентов, хотя по уставу дворянского собрания отчет банка должен быть гласным.

Дворянское собрание еще не закончилось, когда появились газеты с телеграммами. Вкладчики тотчас ринулись в банк за своими деньгами. Денег не оказалось. Директорá банка пришли в ужас. И тут-то одна за другой в «Волжском вестнике» появились восемь корреспонденций Короленко, статистический материал для которых подготовил Анненский. Скандальное дело получило настолько широкую огласку, что правительство было вынуждено назначить ревизию. Она обнаружила миллионные хищения. Все факты, изложенные в статьях, подтвердились полностью. Несколько директоров пошли на скамью подсудимых. Банк изъяли из рук дворянства и передали в казну. Мелкие вкладчики были спасены от разорения.

Дело о Нижегородском Александровском дворянском банке было прекращено «по высочайшему повелению». Андреева убрали, и на его место был избран Савельев. (Впрочем вскоре ушедшему было в отставку Андрееву дали хорошее казенное место.)

Победа над «дворянской диктатурой» оказалась столь убедительной, что трудно было теперь отрицать значение печатного слова, гласности в борьбе с произволом властей и сильных мира сего.

Когда выяснилось окончательно, что поле сражения остается за Короленко и его корреспондентами, отовсюду посыпались изъявления признательности писателю за его последовательную и мужественную борьбу.

В отделение «Волжского вестника», незадолго перед тем возникшее по инициативе Короленко в Нижнем, как-то однажды пришел человек, одетый очень скромно. Он спросил писателя:

— Это вы пишете в газеты?

— Я.

— Пришел вам низко поклониться. По правде сказать, когда вы начали писать о банке, очень я на вас был сердит. Ведь там и мои деньги были. «Вот,— думаю, — погибнет банк, и пропадут последние мои гроши». А теперь вижу: если бы вы вовремя не подняли тревогу, они бы всех нас по́ миру пустили. А теперь все-таки спаслось кое-что. Спасибо вам за это!

Короленко понимал, чувствовал, знал, что в будущем ждут его новая борьба, новые трудности. Чем больше он боролся, чем смелее выступал в защиту простого народа, тем чаще к нему приходили скромные трудовые люди со своими жалобами на начальство, с просьбами помочь им словом и делом.





VI. ГОД 1892-й

Людей простых, хороших, здоровых физически и нравственно, когда они страдают от лишений, жалко всем существом, — совестно и больно быть человеком, глядя на их страдания!

Мне кажется, что с этим голодом что-то важное совершается, кончается или начинается.

Л. Н. Толстой

Борьба с голодом и война с голодающими

Призрак голода уже около двух лет витал над поволжскими полями и летом прошлого, 1891 года стал явью.

Когда в Петербурге стало известно о голоде, первым побуждением правительства было «отменить» его. Со страниц ретроградной печати исчезли слова «голод», «голодающие», их заменили выражения «недород хлебов», «не вполне сытые крестьяне»... Однако вскоре стало ясно, что замолчать голод невозможно — им было охвачено уже двадцать губерний. Кроме того, голодные бунты не начались — крестья-

не страдали и умирали покорно. Петербург забил отбой. Был создан Особый комитет помощи голодающим, под председательством наследника-цесаревича, будущего царя Николая II. Комитет издал циркуляр, где, в частности, указывалось, что «деятельность лиц, посвятивших себя, по чувству любви к ближним, делу помощи нуждающимся, отнюдь не должна быть стесняема».

Короленко, снабженный открытым листом от губернского благотворительного комитета и тысячью рублями, собранными добрыми людьми, выехал в уезд. С этим он начнет кампанию помощи голодающим. И вот на рассвете зимнего мглистого Касьянова дня — 29 февраля 1892 года — въезжает писатель в город Лукоянов, чтобы через головы местных крепостников — «лукояновцев», — оказать изнемогающим от голода людям посильную помощь.

На следующий день Короленко присутствовал на открытии местной столовой. У дверей невзрачного домика собралась толпа — сгорбленные старухи, старики и дети, множество детей — в лохмотьях, с голодными глазенками, испитыми лицами. Какие невероятные усилия потребовались здешним сторонникам «политики кормления», чтобы пробить глухую стену противодействия и наладить питание для пятидесяти человек сирых и убогих! Лукояновское «начальство» — земский и предводитель дворянства — утверждало, что столовые «отвлекают от работы». Кого — детей, стариков?..

День спустя, обосновавшись на Белецком хуторе у знакомых, Короленко отправился на первое «дело» в село Елфимово.

Набилась полная изба народу. Короленко объяснил стоящим впереди всех старикам, какова цель его приезда. Писарь подал бумажку. «Список крестьянам села Елфимова, нужда коих действительно граничит с голодом». В селе 1 650 человек, из них до марта получали полную ссуду (тридцать фунтов в месяц!) только шестеро. Но теперь и им отказано в пособии. Они со слезами спрашивают у Короленко о причинах такой немилости. Что он может им ска-

зать? Пуститься в длинные объяснения, что уездное начальство отказалось от губернской ссуды и теперь, рассчитывая на даровую ссуду из фонда наследника-цесаревича, сняло с довольствия и этих шестерых несчастных?.. Но это означало бы на языке «лукояновцев» «подстрекательством к бунту», и Короленко с тяжелым сердцем промолчал. Из своих скудных фондов он наметил в селе открыть столовую на сорок человек и обратился к старикам и всем присутствующим, прося помочь ему найти особенно нуждающихся.

Список составили быстро.

— Ну, спасибо, старики, что помогли, — сказал, поднимаясь, Короленко.

— Спасибо и вам, что потрудились, ваше благородие.

— Все мы голодные, всем бы надо помочь...

— Все-таки хоть не станут эти сбирать, и то нам легче.

— А кто же поможет нам, мужикам-те, прочиим жителям, ваше благородие?

Последний выкрик больно ударил в сердце. Люди сгрудились, подались к нему.

А он медленно, чтобы овладеть собой и не разрыдаться, принялся разъяснять им, что он — не «ваше благородие», что не может принимать их жалоб, что не имеет никакой — никакой — власти и порядки эти изменить не в его силах. Все, что он может, — это посоветовать написать им земскому начальнику и в губернскую продовольственную комиссию.

Когда среди тяжелого молчания выходил он из сборной избы, больше всего на свете боялся Короленко укоризненного возгласа: «Э-эх, ваше благородие!..» Он бы тогда не выдержал этой пытки и сделал вовсе не то, что полагалось делать ему, одинокому представителю жалкой частной благотворительности, — записал бы всех нуждающихся.

К счастью, елфимовский мир понял, что бо́льшего он действительно сделать не может, и проводил его молча.

На следующий день — составление списков в мордовском селе Пичингуши. Здесь картина еще тяжелей. Земский начальник не был в селе ни разу. Списки нуждающихся составили плутоватый староста и писарек, его сын, и внесли в них... богатых. Беднота волнуется, кричит, рвется к столу. С трудом удалось составить списки.

Побывав еще в нескольких деревнях, Короленко вернулся в Лукоянов. Здесь он узнал, что уездное начальство открыто выступило против столовых и политики кормления и грозило «выдворить господина Короленко из уезда силой», что на него послана в Петербург какая-то «мемория», где прямо говорилось о «неблагонамеренных и даже поднадзорных лицах, сеющих смуту», кои под видом столовых посягают на «спокойствие уезда». Это был уже открытый политический донос. Оставалось либо уехать, либо удесятерить силы в этой борьбе, забыть о себе, о семье и своих девочках (их теперь трое — в январе родилась Леночка).

Короленко, не колеблясь, выбрал борьбу.

Поздно вечером шел он с одним знакомым, как вдруг они услышали чей-то плачущий голос и разглядели в темноте две женские фигуры. Голос одной из женщин поразил писателя безысходной щемящей тоской.

— О чем, тетка, плачешь, о чем? — догоняя ее, спросил Короленко.

Женщина остановилась.

— Голодом сидим вот... — проговорила она и снова заплакала. — Ссуды хватает на неделю. А девочка из дому согнала... «Ступай, мама, добейся хлебца». А отколь я добьюсь?

Утерла слезы, но они вновь залили тоскующие, обведенные коричневой каймой глаза.

— По четвертому годочку девочка. «Зарой, — говорит, — меня, мама, в земельку». Господи! «Что ты, — говорю, — милая моя, нешто живых-те в земельку зарывают?» — «А ты меня зарой», — говорит. И то, кабы такая вера, легла бы и с девочкой-те в землю, право, легла бы...

Они дают женщине денег, записывают фамилию, но она продолжает плакать, и слезы капают на ладонь, на смятые бумажки. Нет сил уйти от этого безысходного народного горя...

Первая открытая им столовая — в Елфимове. Молебен. Развеска микроскопических долей хлеба. Перекличка. Садятся за стол немногие счастливые. Сотни голодных глаз провожают каждый отправленный в рот кусок, каждую ложку похлебки. Как прогнать девочку, которая села за стол «не по праву»?..

— Дни два не ела она... сиротка, — слышит Короленко говор в толпе и вносит девочку в свой список.

Красивый мальчонка, тоже не записанный, смотрит с печальным и наивным недоумением на хлеб, на дымящиеся миски. Короленко отрезает ему горбушку.

— Постой, сынок, я налью тебе щей.

Но мальчик уже у двери. Хлеб он не тронул, а бережно спрятал за пазуху.

— Илюшка еще у нас, ма-аленький, ему надо... — И мальчик исчезает.

Вот женщина привела двоих ребятишек, а в списках числится только один. Она сажает за стол меньшого, а старший стоит и плачет. И ничего нельзя сделать, чтобы осушить эти слезы, накормить всех голодных.

Чем глубже в уезд забирался Короленко со своими столовыми, тем страшней и безысходней представало перед ним народное бедствие. С каждой новой картиной, вырисовывающейся во все более мрачных тонах, казалось ему, что бо̀льшего горя и голодного страдания он не увидит. Но в следующем селе или деревне он убеждался, что его воображение бессильно перед страшными картинами действительности. Это было какое-то путешествие по кругам ада.

Село Шутилово. В одной семье трехлетний мальчик все просил хлебца, а потом кинулся на мать, искусал ей плечо, давясь слезами и криком. В другом доме мать, доведенная до отчаяния непрерывным криком крошечной девочки, кинула ее с высокой печи.

Ребенок разбился, но остался жив. «Да ведь могла убиться», — говорят матери соседи. «Так что? Один конец. С голодухи разве легче околевать?..» — со слезами отвечает женщина, судорожно обнимая разбитого ребенка.

Первым побуждением Короленко, когда он узнавал о подобных случаях, было писать, кричать, телеграфировать. «В городе Лукоянове голодная трехлетняя девочка просила мать зарыть ее в земельку». «В селе Шутилове мальчик искусал от голода свою мать». «В Лукояновском уезде мать покушалась убить своего ребенка, не вынеся его голодных стонов». Сколько лжи и фальши будет в этих телеграммах! Разве в одном Шутилове или Лукоянове? Во всех селах и деревнях сейчас происходит то же самое. По всем дорогам можно встретить бредущих за подаянием непривычных нищих — детей, стариков, женщин. Идут они от хутора к деревне, от деревни к селу и просят у таких же, как они, изголодавшихся людей, а завтра или уже сегодня те, у кого они просят, тоже пойдут по заснеженным дорогам с именем Христа.

Проваливаясь в мокром ноздреватом снегу, попадая в зажоры, движутся через уезд сани Короленко.

— Доедем ли до Петровки, Алексей?

— Кто его знает, Лактионыч, овраг коли не тронулся, проедем.

Идет страшная весна, еще более голодная, чем зима. Рушится дорога под напором весны, и, как эта дорога, рушится крестьянство. Переходят в кулацкие руки мельницы, сапоги и самовары, лошади и коровы, гибнет скотина от бескормицы. Рушится крестьянство!.. Недаром народ считает, что причины нынешнего бедствия не в стихийных случайностях одного-двух годов. Кончится этот голод, и потечет далее река народной жизни, но течение уже будет не то. Отложатся на ней новые мели, целые пласты сельского пролетариата, отсутствием которого так гордилась Россия. Давно уже нет в общине, как и в кустарной артели, той гармонии внутренних инте-

ресов, которая мечталась народникам — людям доброго сердца, но отнюдь не прозорливого ума.

Удивительно легко господа лукояновского образа мыслей верят любой клевете на русский народ. *Он-де* и пьяница, и лентяй, и оболтус. *Он* сапоги и самовары завел да еще и ссуду просит. *Он* лошадей покупает на свои денежки и требует ссуды на прокорм и на семена. *Он, он!* Что угодно делай *ему:* по морде бей, пори, голодом мори — все вытерпит русский мужик... «*Ён* достанит», — кривляясь, толкуют эти господа на своих дворянских собраниях. Вот и получается:

— Кто продал хлеб для столовой?

— Мужик.

— Кто будет обедать в столовой?

— Мужик.

— Ах, обманщики!

Когда Короленко думал об этом, непроизвольно сжимались кулаки. Негодяи, паразиты народа! Разве *тот самый* мужик, который продал хлеб, пойдет в столовую? Вот в том-то оно и дело, что не тот самый, что хлеб продал, Федот, а в столовую пойдет Иван, а если и Федот, да не тот, а другой... В том-то и дело, что «мужика», единого и нераздельного, *просто мужика* совсем нет; есть Федоты, Иваны, бедняки, богачи, нищие и кулаки, добродетельные и порочные, заботливые и пьяницы, живущие на полном наделе и дарственники, с наделами в один лапоть, хозяева и работники.

Днем Короленко в санях или в душной избе; ночи заняты писанием отчетов в «Русские ведомости». Там уже появилась первая корреспонденция «с голода» — «По Нижегородскому краю». Каждый раз с тяжелым сердцем подъезжает писатель к очередной деревне. Всюду одно и то же. Списки, плач, крики, те же вопросы, те же ответы.

В Дубровке он посоветовал крестьянам подать просьбу о помощи через голову начальства, — и мужики сникли, отказались. Деревенское смирение! Народ не смеет нести свои жалобы даже законным путем.

А впереди Короленко ждала Пралевка.

Беспорядочно разбросанные низенькие избушки, солома на крышах развеяна. Тишина. Безлюдье.

— Где староста? — спрашивает Короленко какого-то старика.

— Его земский посадил. Стал говорить старшине насчет семенов, ну и взяли его, затулямали. Опять, значит, бунт...

Три часа в темной курной избе, набитой народом, среди шума, и криков, и воплей, и слез показались Короленко каким-то кошмаром. Изможденные, темно-желтые лица, никто не говорит спокойно. Только три-четыре кандидатуры прошли при молчаливом согласии, а далее каждое имя встречалось криками десятков людей, которые рвались к столу, плакали, молили.

Пошатываясь, шел через расступавшуюся толпу старик. Трясущиеся губы, гноящиеся красные веки.

— Максим Савоськин, — негромко сказали в примолкшей толпе.

— Болен я, господин, — тихо проговорил старик. — Выдали ссуду, спек я каравашек из чистого хлеба, без лебеды, без мякины. Только на ту пору фершал ко мне. «А хлеб, — говорит, — у тебя-то, вишь, хороший». И к земскому. Тот ссуду и сбавил.

— Верна-а, — грохнула изба.

— У нас ныне и лебеды не стало подбавлять...

— Всё лысо, все помираем, все не евши.

— Какие мы жители? Нищие, с сумами ходим... Всех пиши, всех!

— Нельзя, старики, — как можно мягче произносит потрясенный Короленко. — Надо составить список... с разбором... А вы просите у земского...

Снова взмывают крики. Проталкиваются бабы, плачут, падают в ноги. Мужики попрекают друг друга мерами лебеды. Наконец начинают роптать и на Короленко.

— Ты что это пишешь?

— Кто еще такой приехал?

— Вон Листашка околевает, его не пишешь, а кого записал, те еще дышат.

Максим Савоськин свалился ничком. Короленко с трудом сажает его на лавку возле себя. Нищие проталкиваются к столу, пралевцы отталкивают их:

— Мы хуже вас, вы хоть просить привыкли...

За час пять имен. Все страшнее «определения» голода, все мрачнее атмосфера.

— Ребра у мужика потрескались...

— Не дышит... разорвало от травы... шкура отвалилась...

Короленко вдруг понимает, что он может вовсе не выйти отсюда. Он дразнит многих изголодавшихся людей одним крошечным куском. Крикни кто-нибудь неосторожное слово — и начнется свалка, шабаш. Но он стискивает зубы и упорно ведет запись. Пятьдесят человек записано — больше нельзя. Всех он все равно включить не может, иначе в десятках других Пралевок начнутся голодные смерти.

Когда Короленко вышел на воздух и подставил пылающую голову ночной метели, ему показалось, что эти несколько часов состарили его на много лет. Скорей, скорей помощь сюда!

Снег заметает несчастную деревню, отделяя ее от всего мира, от людей сытых и довольных, от равнодушного начальства, от России, которая плохо знает о своих Пралевках.

За деревней, спотыкаясь в сугробах, бредет какая-то женщина.

— Останови, Алексей.

Кучер задерживает лошадей. Женщина опирается о задок саней.

— Откуда? Из Талызина, симбирские мы. Почему так далеко забрела? Муж на чугунке, на заработках, ничего не пишет. Когда он еще денег пришлеть, а я, стало быть, надумала насчет землицы. Потому мы с детишками, никак без земли-то не пробиться, никак...

— Ну, ну? — поощряет ее заинтересованный Короленко.

— Наняла, знашь, работника, — доверчиво делится женщина. — Он добер, делает снисхождение. «Пять-те рублей, — говорит, — я тебе расчислю на

срок, а шестой подавай сейчас. Без рубля и сохи не налажу, и в поле не выеду...»

У нее на глазах появляются слезы стыда за непривычное нищенство, и она озирается с внезапно прихлынувшей печалью.

— Вишь ты... забрела в голодну сторону. Сами гладом помирают, где тут добудешь?..

Короленко дает ей этот рубль и отворачивается от благодарных поклонов женщины, от одобрительного взгляда кучера. Слезы текут по щекам, застревают в бороде... Будут еще на Руси лучшие дни! Сгинут страшные образы голодных годов, народ позабудет о гнусной лукояновщине. Эта не сломленная бедой женщина с такой бодрою заботою о земле, о детях, о будущем вдохнула и в него бодрую, светлую надежду!

А пока писатель немедля отправляется в Нижний. 28 марта на заседании благотворительного комитета и 29-го на заседании продовольственной комиссии он читает доклады о состоянии уезда, о борьбе «лукояновцев» с голодающими, о мизерных ссудах, о больных и обезумевших от голода людях — о последовательной политике «вымаривания». Крестьянина рассматривают не как хозяина, попавшего в беду, а как попрошайку, но крестьянин — не нищий, он нуждается в кредите, а не в милостыне, и ведать помощью ему должно земство.

Губернатор Баранов был вынужден отправиться в Лукоянов «наводить порядок». Вернувшись в первых числах апреля в уезд, Короленко увидел, что ссуды стали выдаваться более щедро. Однако уже начались голодные смерти. Помощь нередко опаздывала.

«Народ напрасно верит царю»

Незадолго до отъезда Короленко в Нижний его знакомый, молодой присяжный поверенный Н. Н. Фрелих, привез в Лукоянов деньги, собранные для голодающих адвокатами, и кучу вопросов. Пер-

вый из них Фрелих задал, едва переступив порог номера писателя:

— Ну что, Владимир Галактионович, скоро здесь начнется революция?

— Революция? — рассмеялся Короленко. — Нет, дорогой мой Кока, революции не будет, хотя местные власти делают все, чтобы ее приблизить.

— Местные власти?! — переспросил удивленный Фрелих.

— Да, именно они. Деревня еще живет иллюзиями, верой в доброго царя, которого «обошли» начальники и чиновники, деревня еще ломит шапку перед мундиром и покорно ложится под розги, еще несет голодное свое страдание, но, я уверен, в народе уже зреет пламенная ненависть против всех этих господ... Однако революция — дело очень и очень далекого будущего. Может быть, не скоро, но настанут времена, когда в ответ на все, что сейчас происходит, народ ответит вулканическим взрывом. Страшные это будут времена, но они неизбежны!

Новые и новые заботы гнали Короленко по уезду, некогда было толком поспать, поесть. И не выходили из головы тревожащие мысли, роем поднявшиеся после вопроса Фрелиха. То, что сейчас происходит в охваченных голодом деревнях, уездах, губерниях, — это только один из *элементов* будущего революционного подъема.

Он видел придавленный, измученный голодом, но смиренный еще народ. Видел слепую веру крестьян в доброго царя. Но он увидел и другое, и это другое о многом сказало ему, гораздо больше, чем это проклятое смирение.

В самый критический момент пралевского спора его выручил молодой мужик, первым подавший голос не за себя, а за какого-то Листашку. В Дубровке особенно запомнился красивый черноволосый старик, выкрикнувший не себя, а матерей нескольких многодетных семей. В мордовском селе Пекшень мужики отказались от пособия в пользу тех, кто по-настоящему нуждался. А бунтовщики васильевцы! Весь огромный Васильев Майдан населен исконными про-

тестантами, который еще с «освобождения» — тридцать лет — не вносят выкупных платежей за землю. Село голодает, ходит с сумами и в обычные годы, васильевцев периодически порют, но пассивное сопротивление продолжается.

Эти размышления Короленко неожиданно сплелись с многознаменательным эпизодом, который напомнил ему о том, что русская интеллигенция не ограничивается филантропией, не только ждет бунта в деревне, но и зовет ее бунтовать.

Была распутица. Усталые лошади с трудом тянули телегу, на которой бочком примостился Короленко. Стоял туман над снежными еще полями, надсадно каркало оголодавшее воронье.

Обогнали четырех мужиков, тяжело бредущих по обочине. Они были в мокрых липовых лаптях, с темными от голода лицами.

— Куда идете, почтенные?

Один из путников стащил с головы драную ушанку.

— К становому, ваше благородие, идем... Беда, склёка... Видишь ты, бумажки какие-то разосланы...

— От начальства настрого приказано, — добавил знакомый мужик-сотский, — как чуть... чтобы, значит, доставлять в стан...

И, доверительно наклонясь к Короленко, подал листок.

— Насчет, значит, смуты, ваше благородие...

«Первое письмо голодающим крестьянам», — значилось на обращении. На обороте, в конце текста стояло:

«Мужицкие доброхоты.
Типография народовольцев.
Март 1892 г.».

Мужики безразлично отошли к ямщику, закурили. Повернувшись спиной к ветру, Короленко бегло читал прокламацию:

«Тяжелая беда навалилась теперь на Россию: в 20 губерниях народ голодает... Все крестьянское хозяйство рушится, и крестьянину ничего не остается делать, как идти в батраки к помещику или купцу...

Народ разоряется потому, что земли у него было мало, подати брались с него большие, а в случае нужды он ниоткуда помощи не получал. Правительство помогало богатеть помещикам, купцам и фабрикантам, а крестьянин управлялся с своей бедой, как умел... Народ напрасно верит тому, что царь сделает для него что-нибудь настоящее...»

Короленко оглянулся. Мужики курили, нисколько не интересуясь, что пишут в бумаге.

«...Теперь народ, — читал Короленко, — надеется на царя и не хочет понять, что вся беда его произошла оттого, что царь дружит с дворянами, чиновниками и купцами. ...Пойми, русский народ, что тебе надеяться не на кого, кроме как на свою силу могучую...

Много теперь в городах людей, которые хотели бы помочь народу; надо бы вам с этими людьми столковаться... А пока прощайте».

Медленно, очень медленно сложил бумагу Короленко, бывший неприсяжник и ссыльный. Под каждой строкой мог бы он здесь подписаться, а он даже не прочтет неграмотным мужикам эту бунтарскую прокламацию! У него другие задачи, другие цели, главное же — он не верит в действенность подобных форм борьбы.

Подошли мужики.

— Озорничают какие-то, — сказал один из них, — а мы, видишь, отдувайся.

Короленко, вздохнув, отдал бумагу.

Уже к самой ночи приехал он в село, а много позднее пришли к становому мужики, мокрые, голодные, злые, но — покорные.

10 мая Короленко возвратился в Нижний. К концу весны стало легче — установилась дорога, столовые работали бесперебойно, удавалось даже доставать семян на посевы. Столовых было уже более пятидесяти, и в них кормилось почти все наиболее остро страдающее от голода население уезда. В конце апреля приехал в Лукоянов Илларион, чтобы сменить брата. Сложное чувство владело Короленко, когда, передав дела, он тронулся в обратный путь. Более

двух месяцев он пробыл здесь, многое сумел сделать, но сколько таких уездов в России, как Лукояновский? Вся Россия, по существу, в руках у «лукояновцев», и только слово писателя может вскрыть эту до предела гнусную систему крепостнических безобразий. Нужна ежедневная кропотливая работа интеллигенции, чтобы изменить положение вещей. А как это сделать? Прокламациями? Кто он, автор крамольного листка? Мужики ничего не знают об этом своем доброхоте. (Позднее Короленко стало известно, что автор прокламации писатель Н. М. Астырев погиб в тюрьме.) Да, народ напрасно верит царю, но поймет он это не скоро — для этого надо работать и работать. А на горизонте уже маячит другой страшный пришелец — холера, наступающая с низовьев Волги.

В июне Короленко выехал в Саратов за материалами для статьи о холерной эпидемии.

Судьба одной книги

Журнал «Русское богатство» представил очерки Короленко «В голодный год» в цензуру. Они попали к цензору Елагину, человеку откровенно-охранительных взглядов, грозе и гонителю печатной крамолы. Елагин знал, что все двенадцать очерков уже печатались в «Русских ведомостях» и пропускал все подряд — столичная цензура, вообще более снисходительная, чем московская, относилась к перепечаткам мягче. Короленко воспользовался этим и принялся в первоначальный газетный текст вставлять дополнения. Две главы Елагин все же запретил печатать, и писатель после переработки опубликовал их в «Русской мысли». Очерки печатались в «Русском богатстве» с февраля по июль 1893 года. Они имели большой успех, и редакция журнала решила выпустить их отдельным изданием.

Книга уже готовилась к печати, когда внезапно стало известно, что над ней готова разразиться гроза. Член главного управления по делам печати Позняк настрочил докладную записку, представлявшую донос на автора очерков. В свое время Позняк, бу-

дучи воронежским вице-губернатором, познакомился с очерками по «Русским ведомостям» и не поверил, что подобная «крамола» может быть напечатана в легальной газете.

«Взгляды господина Короленко на необходимость пересмотра земельного вопроса, — писал теперь Позняк в докладной записке, — идут прямо вразрез с твердо и ясно выраженной монаршей волей... Итак, «черный передел». Вот до чего договорился господин Короленко, откровенно братаясь на страницах подцензурного журнала в единомыслии с органами подпольной прессы».

Позняк знал, на кого он пишет донос! В Петербурге косо смотрели на деятельность Короленко в Лукояновском уезде. Доносы генерала Познанского министру внутренних дел говорили о том, что допущенный к устройству столовых в уезде Короленко крайне подозрителен в политическом отношении, что он находит положение крестьян бедственным до невозможности, распространяет данные о голоде в преувеличенном виде. «Идеи Короленко опасны для общественного спокойствия, порождают несбыточные надежды в малограмотных слоях общества», — доказывал Позняк.

Цензоры переполошились. Говорили, что теперь Позняк поднимется очень высоко, что главное управление, допустившее в газете очерки с их проповедью «черного передела», постигнет кара и кое-кого уволят «по третьему пункту» — без прошения. Елагин от страха и горя запил.

Создалась редкая и очень своеобразная обстановка: главное управление и цензурный комитет уже хотели, чтобы книга Короленко вышла в свет, доказав своим появлением несостоятельность упреков Позняка в адрес автора и цензоров.

Спасение пришло из... министерства внутренних дел. «Голодным годом» заинтересовался некий А. И. Деспот-Зенович, деятель поры первых недолгих либеральных увлечений Александра II, занимавший ныне пост члена совета министра внутренних дел.

Когда старик узнал о доносе Позняка, он вознегодовал, принялся тормошить влиятельных людей, чтобы заручиться их поддержкой. Деспот-Зенович обратился со своей просьбой к министру внутренних дел Дурново. Тот долго отговаривался недостатком времени и, наконец, не прочтя книги, сказал, чтобы отделаться:

— Да, да, я прочел. Совершенно с вами согласен.

— Значит, книга будет пропущена? — спросил настойчивый старик.

— Да, да... я им скажу...

Дурново приказал книгу выпустить. Возражать министру Позняк не решился.

Вообще судьба произведений Короленко складывалась не весьма счастливо. С самого начала своей литературной карьеры писатель был на плохом счету в цензурных комитетах Москвы и Петербурга. Каждая вновь появившаяся вещь, подписанная именем Короленко, вызывала в недрах цензурных ведомств неприязнь, а то и открытую вражду. Причиной была глубокая заинтересованность писателя в судьбах простых людей из народа, его открытый протест против условий, уродующих их жизнь.

В конце сентября 1892 года Короленко вместе с Анненским написали статью о холерной эпидемии. Статья предназначалась для октябрьской книжки журнала «Русская мысль», в котором Короленко согласился вести отдел «Текущей жизни». Подписанная псевдонимом «В. Н. Кор-ский» статья «По России (очерки общественной жизни). Холера. Холерные порядки и беспорядки» была вырезана по распоряжению цензора уже из журнала, готового к рассылке подписчикам. В ней разоблачались вопиющие административные неурядицы, сопровождавшие холерное бедствие, осуждались нераспорядительность, жестокость и глупость чиновников, вызывавших народные возмущения способами борьбы с эпидемией. «По рублю на бациллу обошлась холера», — говорила ходившая в это время на Волге поговорка. Удалось напечатать статью значительно позже.

Русский писатель должен быть человеком стойким и мужественным

Все, что было написано Короленко в 1892 году, прямо или косвенно связано прежде всего с главным событием этого страшного года — голодом.

И только одно художественное произведение Короленко не имело, казалось бы, отношения к народной трагедии голодного года — это рассказ «Ат-Даван», появившийся в 10-й книжке журнала «Русское богатство». Старая, но незабытая история вновь всколыхнула потревоженную душу художника, по-новому зазвучала щемящим аккордом, завершившим трудные впечатления минувшего года.

Ат-Даван — станция на высоком берегу Лены. Узкая тропинка, извиваясь среди валунов, круто поднимается к станку. Зимой ямщики запрягают коней прямо на берегу, потому что не подняться саням по высокому и скользкому десятисаженному крутояру наверх, к деревне. Над кручей чья-то могила, и крест печально склонился к обрыву, словно хочет видеть тех, кого везут по дну ущелья, на север, ямщики. Нет, кажется, на Лене печальнее места — может быть, поэтому именно эта станция ассоциировалась в сознании Короленко с историей о грозном Алабын-тойоне.

Адъютант генерал-губернатора Восточной Сибири Анучина Алабин был послан к якутскому губернатору с извещением о смерти Александра II. Всю дорогу он скакал, как сумасшедший, загоняя лошадей, колотя направо и налево ямщиков, смотрителей и всех, кто попадался ему под руку. Через города он мчался в тучах снежной пыли, неистово размахивая красным флажком, безумный, страшный, готовый на все. Весь тракт только и говорил о страшном Алабине, Алабын-тойоне, когда Короленко спустя несколько месяцев ехал тем же путем в Якутск.

— Подавали жалобу? — спрашивал Короленко ямщиков, смотрителей, писарей, избитых Алабиным.

— Где нам! Такое лицо... Тут ведь *сам-то* заступится... Из России его с собой привез... — отвечали ему.

Да, конечно, всесильный сибирский наместник Анучин привез с собой адъютанта не для того, чтобы отдавать его под суд.

Прошли три года, кончилась амгинская неволя, и снова услышал Короленко о грозном губернаторском курьере — теперь его поездка уже стала страшной легендой. Ее заунывно, тягуче, на якутский лад, пели у камельков и на бесконечных перегонах ямщики. От великого северного города надвигается гроза — то летит по дороге всесильный, безжалостный Алабын-тойон...

Вскоре после возвращения в Россию, в январском номере «Русских ведомостей» за 1885 год, Короленко прочитал коротенькую заметку: на одной из сибирских станций адъютант приамурского генерал-губернатора А-ин выстрелом из револьвера убил почтового смотрителя.

Писатель сразу узнал «старого знакомого». Это Алабин!

Он стал следить за газетными сообщениями, и вскоре убедился, что был прав. Господин Алабин ворвался на злополучную станцию с шумом и боем, а когда смотритель попросил не шуметь (в доме была больная), он выхватил револьвер и — на этот раз осечки не было...

Короленко отложил все дела. В такие минуты он чувствовал себя словно лично ответственным за последствия подлого поступка. Надо сказать громко и гневно — на всю Россию: невинный человек убит безнаказанным негодяем, которого не остановили вовремя. Убил — и, как четыре года до этого, спрятался за спину могущественнейшего покровителя. Виноваты, как и тогда, — и сами их превосходительства и их адъютант. И прежде всего, конечно, тот порядок, который допускает разбойничье убийство беззащитного.

Несколько столичных газет, в том числе и «Новое время», получили из Нижнего корреспонденцию Короленко: «Адъютант его превосходительства (Комментарий к недавнему событию)».

«...На кого же должна пасть кровь, пролитая хотя бы маниаком, которому облегчали (да, именно!) воз-

можность палить из пистолета до тех пор, пока выстрел не попал в человеческое сердце!..» — спрашивал в заключение автор.

Вопрос остался без ответа: ни одна газета не рискнула опубликовать опасную корреспонденцию.

Тогда Короленко напечатал в «Волжском вестнике» очерк «На станке». Здесь Алабин, названный автором Нашленкиным, выступал как эпизодическое лицо, но ситуация, в которой был изображен этот персонаж, очень походила на рассказанную в корреспонденции.

Но очерк, помещенный в провинциальной газете, прошел незамеченным, не вызвал никаких откликов.

Тогда в третий раз взялся Короленко за перо, чтобы рассказать об этой истории. Он попытался написать драму. Ничего не получилось. Этот жанр явно был чужд его художнической манере. И только в 1892 году трагическая алабинская история получила, наконец, свое законченное выражение — появился рассказ «Ат-Даван». Кругликов против Арабина. Маленький человек, неспособный к активному протесту, пытается утвердить свое попранное человеческое достоинство против сильных мира сего. Утверждает, как умеет. Первый раз, когда стреляет в спину врага, второй — когда требует у грозного «тойона» уплаты прогонов. Но и это уже много для забитого, смиренного человечка, для него это уже подвиг.

«Ат-Даваном» Короленко дебютировал в новом для него журнале. Несколько времени спустя после появления книжки «Русского богатства» с рассказом из Петербурга пришло письмо. Писал С. Н. Кривенко, известный народнический публицист, редактор журнала. «Многоуважаемый Владимир Галактионович! Был у меня вчера вечером Алабин с крайне тягостным объяснением. Оскорблен, взволнован, все лицо нервно подергивается. Говорит: «Пусть я буду все, что хотите, только я не вор и прогоны платил». Говорит: «Мне указывают на это, и я решительно ни перед чем не остановлюсь, чтобы опровергнуть и снять с себя это бесчестье...»

Кривенко и в приписке к его письму член редакции

А. И. Иванчин-Писарев просили заявить, что действующие лица рассказа вымышлены и автор не имел желания лично задеть кого-нибудь. Оба они явно тревожились за Короленко, зная, что Алабин скор на любое насильственное действие.

«Господин Алабин очень огорчен и взволнован, — отвечал Короленко. — По человечеству мне очень жаль, но помочь я тут не могу: нельзя убивать людей и после этого оставаться всю жизнь спокойным и неприкосновенным».

Короленко понимал трудность положения товарищей по журналу, сознавал, что Алабин может совершить диверсию против него лично, но за ним, русским писателем, стояли сейчас жестоко пострадавшие люди, маячила кровавая тень убитого смотрителя, вопияли об отмщении его сироты, и против всех этих простых тружеников, за которых некому заступиться было ни прежде, ни теперь, выступала как олицетворение торжествующей безнаказанности российского произвола и бесправия мрачная фигура Алабина. Нет! Никакого даже подобия извинения не получит от него этот человек. Алабин вправе потребовать от него, писателя, чтобы он снял совсем покровы художественного вымысла, если находит, что они его недостаточно прикрывают. Что ж, он готов дать ему все средства для уголовного преследования, только вряд ли сей господин на это пойдет — не захочет. Нельзя же на самом деле попирать самые законные требования, убивать отцов на глазах у дочерей и заявлять после всего этого притязания на ненарушимость своего душевного спокойствия. Что касается до того, что он «ни перед чем не остановится» и опасений товарищей, то это дело Короленко не касается. Речь, по-видимому, идет о тех же «сибирских» приемах «для восстановления» чести. Господину Алабину не следует повторяться. И если журнальная оговорка будет приписана ему, автору, то он будет возражать печатно.

Одновременно с этим ответом Короленко пишет письмо Н. К. Михайловскому, руководившему журналом, где выражает опасения, как бы Кривенко

в своей уступчивости Алабину не зашел слишком далеко. Если надо, он печатно заявит, что все сказанное в рассказе — правда в главных и худших чертах.

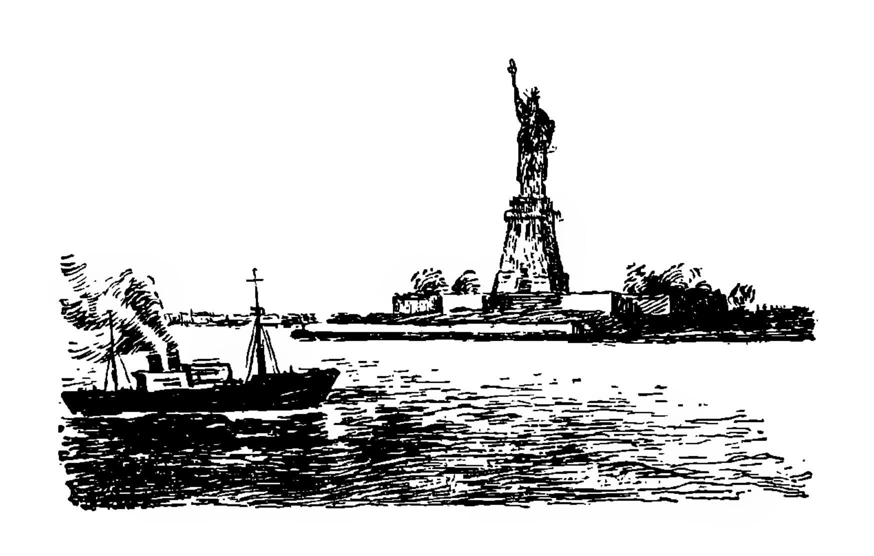
Получив № 1 журнала за 1893 год, писатель убедился, что Кривенко все же спасовал перед Алабиным. «По поводу помещенного в октябрьской книжке рассказа В. Г. Короленко «Ат-Даван», — сообщалось в постскриптуме к «Внутреннему обозрению», — нас спрашивают: имеет ли он какое-нибудь отношение к действительности? Кроме чисто художественного — никакого: как фабула его, так и действующие лица относятся к области художественного творчества».

Это была явная уступка Алабину, хотя дипломатичный Кривенко сделал ее и не от имени автора рассказа.

Долго сидел Владимир Галактионович над книжкой журнала с злополучным реверансом перед Алабиным, негодуя, возмущаясь, досадуя. Достал старую свою записную книжку, ветхую, с выпадающими листками, в коричневом матерчатом переплете. Нашел свой карандашный рисунок ат-даванской станции: склоненный над чьей-то могилой крест, угрюмый откос Лены... Печальный, неуютный край, трудные судьбы беззащитных людей... Со вздохом спрятал книжку, отложил журнал. Надо править корректуру «Голодного года». Книга эта будет лучшим ответом господам, привыкшим к безгласному повиновению, рабьему молчанию.

Итак, за дело!





VII. В ЧУЖЕДАЛЬНИХ КРАЯХ

Золото... носится в воздухе мельчайшим прахом, попадает в человеческие легкие, проникает в нашу совесть, приглушает, обременяет, отягчает ее, соединяется с душою богачей, которые становятся от него надменными, и с душою бедняков, которые от него ожесточаются.

В. Гюго

Европейский проселок

22 июня 1893 года в дневнике Короленко появилась лаконичная запись «Выехал в 4 ч. 30 м. в Америку».

Путь предстоял дальний. В Европе в это летнее время были политические каникулы, и было решено ехать стороной от большой европейской дороги, «проселком», — через Финляндию, Швецию, Данию до Англии, а затем океаном в Америку. Спутником писателя был нижегородский общественный деятель Сергей Дмитриевич Протопопов, владевший английским языком. Обоих связывали дружеские отношения

и совместная борьба с беззакониями нижегородских властей.

Авдотья Семеновна с Соней и Наташей уехала на лечение в Румынию к брату. Младшую дочь, полутораегодовалую Лену, Владимир Галактионович отвез в Дубровку к Малышевым.

Из Петербурга Короленко и Протопопов выехали 2 июля.

Писатель ехал в Америку по делам своей литературной службы. Формально — на Международную выставку в Чикаго как корреспондент «Русских ведомостей», на самом деле задача поездки была сложнее. Что капитализм неизбежно придет на смену старым, отжившим «устоям», для него ясно. Но ведь и сам капитализм полон противоречий, и буржуазный строй Запада с его демократией, по-видимому, далеко не совершенная форма общественной жизни. Он хочет вблизи посмотреть на все это, хочет узнать, как живется простым людям в Европах и Америках, что лучше у них, а что лучше у нас.

...В окне замелькали тощие леса, озера, показалось море, крошечные островки на нем. Финляндия понравилась Короленко. Повсюду, где видно жилье, чувствовался кропотливый и упорный труд человека, побеждающего скупую, суровую природу. Народ здешний, добродушный и трудолюбивый, даже среди камней научился выращивать хлеб, осушил болота, провел дороги. Глупа и смешна очередная кампания клеветы, поднятая «Московскими ведомостями» и всей рептильной печатью против финнов, у которых, без сомнения, по отношению к России нет никаких «изменнических» наклонностей.

В Гельсингфорсе Короленко познакомился с супругами Игельстромами. Андрей Викторович, в прошлом офицер русской службы, за участие в деятельности польской социалистической партии «Пролетариат» был разжалован в рядовые и сослан в Сибирь. Теперь он преподает русский язык в местном политехническом институте, часто пишет в русские и финские журналы.

— До этой некрасивой истории, когда «Московские ведомости» начали антифинскую кампанию, — рассказывал Игельстром, — в Финляндии отлично относились к русским, молодежь изучала русский язык, студенты читали русские книги. Ваших писателей переводили. Мне известны переводы на шведский язык «Слепого музыканта» и других ваших рассказов. Теперь же вслед за выступлениями печати последовали и правительственные меры. Естественно, в Финляндии стали расти настороженность и антагонизм к русским вообще...

Игельстром выжидающе посмотрел на Короленко.

— Мне очень досадно, — ответил писатель, — если выпады продажной прессы принимаются за голос России и ее народа, за мнение нашей интеллигенции.

— Я считаю себя верным другом России, — тихо и печально сказал Игельстром, — но это не мешает мне любить свою страну. Однако из «Московских ведомостей» я узнаю, что я уже не финн, а чухонец, точно так же, как еврей стал жидом, а поляк — ляхом...

— Андрей Викторович, — твердо сказал Короленко, кладя свою руку на руку Игельстрома, — нам надо не горевать, а бороться. Надо противопоставить этим воинственным кликам финнофобов свою точку зрения, свою правду и проводить ее в печати. Это задача и русской и финской интеллигенции.

Они долго гуляли по Гельсингфорсу с его чистенькими улицами, набережными, каменными дамбами, памятниками.

— Когда у вас заходит солнце, море темнеет, и даже этот красивый город становится как будто мрачнее, — проговорил Короленко. — Но это ведь не вечно. Уверяю вас, националистической болезнью не заразить русскую интеллигенцию и даже простой народ.

Над спавшим Гельсингфорсом стояла ночь, когда Короленко и Протопопов шли по улицам к пристани. Там уже пыхтел и пускал клубы дыма пароход, ко-

торый должен был повезти их в Стокгольм. Вскоре он уже шел вдоль гранитных берегов Финского залива, осторожно лавируя среди темных пустынных шхер.

К концу следующего дня «Норра Финлянд» пришвартовалась к берегу в самом центре шведской столицы. Оставив вещи в гостинице, Короленко и Протопопов отправились осматривать город. Узкие высокие дома с крутыми черепичными крышами были какого-то неопределенного грязно-серого цвета, множество узких улиц и переулков, где верхние этажи почти сходятся, — таков старый Стокгольм. Тут же неподалеку разместились новые районы города со светлыми красивыми домами, просторными улицами и скверами. Удивительная смесь современности и тяжелой, северной, рыцарской старины. На многочисленных памятниках шведские монархи изображены в необычайных, богатырских сапогах. Сколько полей Европы потоптали они в прошлые века!.. И немало, должно быть, интереснейших страниц русской истории хранят здешние архивы.

Уже через несколько дней после переезда через границу Короленко заболел тоской по родине.

— Мне нужны люди, — пожаловался он своему спутнику, — их жизнь, бытовые черты, особенности и их житейские драмы, а тут — панорама видов и суетня людей с незнакомыми интересами. Вот поглядите!

Сергей Дмитриевич подошел к окну. Внизу два каменотеса, мостившие тротуар узкого переулка, прилегли на груды камней и стали читать газеты — каждый свою.

— У нас нет времени, чтобы понять народ этой страны, хотите вы сказать? — спросил Протопопов.

— Да, и это очень досадно, — отозвался Короленко. — О чем думают эти двое рабочих и почему читают разные газеты? Что за человек тот швед, который так любезно проводил нас вчера до морской купальни? Какой здесь уровень развития? Есть ли антагонизм классов и каков он? Ничего не знаем, мы без языка...

Но вот остались позади угрюмые горы северной Швеции, черные от елей, лиственниц и дубов, лесистые ущелья и деревеньки. Поезд спустился в плодородную долину, к морю. Переехав через пролив, путешественники очутились уже в другой стране. Дания. Копенгаген. Море лениво плещется у песчаных отмелей. Обгоревший королевский дворец с грузной статуей монарха на коне. Вялая, угрюмая дремота датской столицы точно контрастирует с шумной и оживленной шведской стороной за проливом.

Сразу же по приезде они отправились к Георгу Брандесу, европейски известному критику. Несколько лет назад Брандес посетил Москву, и Короленко присутствовал на обеде, устроенном в его честь группой писателей и ученых. Потом Короленко узнал, что критик тепло отозвался в немецкой печати о его творчестве.

Теперь он считал себя человеком до известной степени знакомым Брандесу и очень хотел повидаться с ним.

В лабиринте темных, унылых и малолюдных улиц разыскали нужный им дом. Поднялись по плохонькой, скрипучей лестнице на второй этаж, где на потемневшей дощечке прочли скромную надпись: «Доктор Георг Брандес». Знаменитый критик явно был небогат, как и большинство его русских собратьев по перу. Увы, оказалось, что хозяин в отъезде...

Они посетили музей Бертеля Торвальдсена. Великий датский скульптор лежит под простой каменной плитой в центре маленького дворика, сжатого с четырех сторон огромным дворцом-музеем. Здесь собраны все его произведения, которые он отдал на пользование и вечный суд потомкам, всему человечеству. «Это идея, в которой есть какое-то невыразимое величие, это лучшая из могил на свете», — подумалось русскому писателю у гробницы датского скульптора.

Вечером Короленко и Протопопов побывали во дворце и в парке короля Христиана IX, тестя Александра III. С удивлением оглядывали они облупленные стены, изрядно запущенный парк.

— Да-а, — заметил Протопопов. — Скупо дают датчане деньги своему кенигу...

— Вот это, — отозвался Короленко, — меня мало беспокоит. Гораздо печальнее было наблюдать оборванных рабочих стокгольмских каменоломен на берегу озера Мелар. Вы обратили внимание на их землистые лица, на тяжелые кирки, которыми они с трудом выколачивали шпуры? Физиономия европейских городов не всегда привлекательна. А рестораны, кегельбаны и варьете копенгагенского Тиволи посещает одна буржуазия. Вы видели фиолетовые от пива физиономии толстых приличных господ, видели их упитанных жен, их детей? Но рабочие не отваживаются посещать эти дорогостоящие удовольствия. Везде и повсюду в Европе роскошь и нищета соседствуют и не стыдятся друг друга.

Из Эсбиерга, городка на самом краю европейской земли, им предстояло отплыть в Англию. На пустынной пристани грузчики под дождем катили тяжело нагруженные вагоны. Мокрая одежда в заплатах, угрюмое равнодушие на изможденных лицах. Как похожи эти датские «королевские золоторотцы» на портовых босяков Нижнего, Ростова-на-Дону, Казани!

«Всё то же. Везде и всюду всё то же...» — подумал Короленко. Скорбью и тоской наполнилось сердце. И зачем он принес эту тоску с собою в чужие края, ей отлично нашлось бы место и на родных просторах.

В Эсбиерге Короленко увидел эмигрантов. Бедно одетые, беспомощные женщины забывали успокаивать плачущих детей. А за дамбой ревело грозное море, вселяя страх и уныние в этих гонимых суровой нуждой бедняков.

Чем отличались они от тех переселенцев с Украины, которых еще совсем недавно писатель видел в Сызрани?.. На плохонький пароходишко грузилось множество людей—плачущие дети, измученные женщины, растерянные мужчины. Знакомые и всякий раз печальные картины бедствий народа, ищущего вдали от родных мест призрачное, недоступное счастье. Ко-

роленко сколько мог оделил тогда деньгами заплаканных ребятишек и с грустью убедился, что и они уже знают цену этим светленьким штучкам, от которых теперь так сильно зависит их жизнь.

Вечером 13 июля гудок «Ботнии» оглушил пассажиров, и, подобрав мостки, она медленно отвалила от пристани.

Короленко считал, что он свободен и от наивного доверия к Западу и от кичливого «патриотического» пренебрежения к нему. «Ну что же, у вас тут лучше нашего, — размышлял писатель. — У вас тут свобода, конституция или республика... Что же, нет у вас голода, нищеты и порока?.. Все то же. Это, видимо, неизбежная прелюдия для дальнейших впечатлений за границей». Матросы с какой-то протяжной песней, напоминавшей русскую «Дубинушку», с усилием тянут мокрый и тяжелый якорный канат. Внизу, в третьем классе корабля, в страшной тесноте ютятся эмигранты. А наверху, в комфорте и роскоши, располагаются пассажиры первого класса. На «Ботнии», как и на земле, слишком тесно одним и слишком просторно другим.

Голос бездны и мыло Пирса

Январским вечером 1690 года из бухты Портлендского полуострова спешно вышло в море крохотное суденышко. Кучка контрабандистов, спасаясь от преследования, оставила на безлюдном берегу одинокого ребенка, который неминуемо должен был погибнуть от холода и голода.

А над морем и над беглецами с «Матутины», как отмщение за содеянное преступление, собралась грозная снежная буря. Когда утихла радость по поводу удачного бегства, обитатели судна поняли весь ужас своего положения. У них был плохонький компас и не было карты. «Матутина» должна была стать добычей моря.

На судне в числе пассажиров плыл странный старик — доктор Герардус Геестемюнде; он хорошо знал

море и все опасности, которые таит оно в такую бурную ночь.

— Знаешь, как зовут сегодня нашу смерть? — вдруг спросил старик капитана. — Ее зовут востоком.

И он отчеканил медленно и грозно:

— Если сегодня ночью, когда мы будем в открытом море, до нас долетит звон колокола, судно погибло... Настало время омыться черным душам.

И вскоре они действительно услышали звон.

— Колокол! — крикнул капитан. — У нас земля за штирбортом.

— Нет у нас земли за штирбортом, — ответил доктор. — Звон доносится с моря... На полпути между Портлендом и Ла-Маншским архипелагом находится буй, прикрепленный цепями ко дну, а на нем колокол — он звонит в бурю... Ветер гонит нас на восток, на рифы. Колокол — это набат, возвещающий о кораблекрушении.

Морская бездна давала о себе знать похоронным звоном...

...Стоя на верхней палубе «Ботнии», Короленко вспомнил этот эпизод из романа Гюго «Человек, который смеется». Где-то здесь, в виду затянутых дымной полоской бриза берегов Англии, нашла гибель несчастная «Матутина».

Солнце еще не садилось. Густые тяжелые облака придавили бледную полоску вечерней зари на горизонте. Дым из трубы стлался грязной пеленой по верхушкам бурых волн пустынного моря. Несколько парусов виднелось вдали.

Вдруг слух писателя поразил странный звук, знакомый и вместе с тем новый, — Короленко ясно услышал звон колокола.

Напрягая зрение, Короленко смотрел туда, откуда все слышней неслись волны гремящего звона, и, наконец, разглядел качающийся на волнах большой красный буй. Колокол на нем звонил размеренно и громко. Но вот волна качнула буй, пронеслась дальше, а на обнажившемся боку выступила четкая белая надпись:

«Pears soap!» — «Мыло Пирса».

Больше ничего — ни адреса, ни цены. Современная цивилизованная бездна обращалась к современным путникам. Короленко засмеялся. Вместо зловещей формулы nix et nox *, вместо священного ужаса, вместо голосов, грозящих тайной и смертью, несложная формула, изобретенная вездесущим, неведомым Пирсом. Сей господин не сомневается, что вы благополучно доберетесь до старой веселой Англии и в гостиничном номере ощутите потребность в куске мыла. Тогда вспомните о мыле Пирса, не смешайте его с другим, купите именно это мыло — мыло Пирса!

Досада пришла к Короленко позднее. На береговых скалах, вдоль линий железных дорог, даже в небе — огненными буквами — повсюду, как сомкнутая рать из цепочки двух бесконечно повторяющихся слов, стояло: «Мыло Пирса», «Мыло Пирса». Нехитрую идею вбивал могущественный и ловкий фабрикант в беззащитные умы путешественников. Он стал между людьми и природой властно, уверенно, прочно.

«Что это? — спрашивал себя Короленко. — Может быть, это высшая ступень выражения фальшивой западной культуры, проникнутой торгашеским духом? Соревнование в рекламе, а не в улучшении производства. Торгующие ворвались в храм природы и обратили его в торжище».

Когда поезд из приморского города Гарвича мчался к Лондону, Короленко смотрел не отрываясь в окно. Повсюду расстилались поля, покрытые густой, роскошной зеленью. Берега узких речушек были заботливо обложены дерном, маленькие, словно игрушечные, барки и пароходики плыли по веселым речкам. Красота этой возделанной рукою человека природы покоряла. Природа не истощена, не обезображена — она только приняла на себя ровный и спокойный отпечаток человеческого труда

* Снег и ночь (*лат.*).

и человеческого гения — чудесная гармония очеловеченной природы!..

— Все разделено на клочки, ничего общего, все мое, нашего нет, — сказал Протопопов и спугнул тихое очарование.

И словно подтверждая его слова, поезд в узком коридоре между рядами зданий замедлил ход, и по стенам замелькали, чередуясь, вереницы слов: «Чернила Стеффенса», «Мыло Пирса... Пирса... Пирса...»

Протопопов, наблюдавший, как меняется лицо Короленко, засмеялся. Улыбнулся и писатель:

— Я пока не вижу иного средства против этого зазывалы, кроме смеха. Бог с ними, с пирсами. Придет время, и подлинный, вдохновенный труд преобразует лицо земли. Она скинет с себя эти пестрые крикливые вывески, границы, изгороди. И освобожденный простор обретет новые черты, нанесенные уже по грандиозному плану всего человечества.

— А пока это произойдет, пирсы из звезд сделают вывеску для ваксы... — скептически заметил Протопопов.

Джентльмены подрались в парламенте...

Объехав несколько лондонских гостиниц, путники, наконец, нашли в Гранд-отеле на Трафальгарской площади сравнительно недорогое пристанище.

В день приезда, 15 июля, были именины Владимира Галактионовича. Протопопов настоял на бутылке шампанского. В ресторане было тихо, и только по временам, когда открывалась входная дверь, врывался глухой и ровный гул Лондона.

— Как здесь дорого, это по карману только богатым, — заметил Протопопов.

Внезапно все звуки покрыли пронзительные, торопливо беспокойные крики.

Собеседники надели шляпы и вышли на улицу.

От резких голосов газетных разносчиков зазвенело в ушах.

— «График»... «Дейли ньюс»... Evening special... Вечерний экстренный выпуск...

— Free fight on the House... — Драка в Доме, Фри файт, фри файт он де хаус!

Вскоре все стало ясно.

«Free fight» — «свободная драка», которая случается на улице, в кабаке, драка предосудительная и разнузданная. И такая драка в Доме — в парламенте! В тот день на повестке дня стоял вопрос о предоставлении независимости Ирландии — вопрос давний, трудный, кровавый.

В вестибюле отеля газета была в руках швейцаров и официантов, о драке говорили джентльмены во фраках и декольтированные леди. Публика рвала листки из рук газетчиков, тут же на ходу они читались, и событие обсуждалось во всех подробностях.

Русские остановились у гордой Трафальгарской колонны с ее серыми львами, словно стерегущими могущество и славу Великобритании.

— Национальный вопрос, — сказал писатель задумчиво, — до сих пор у всех народов решался железом и кровью, и меня не удивляет, что все страсти и ненависть, копившиеся веками, привели к взрыву. Ирландцы и англичане оказались теперь в положении двух враждующих наций — притеснители и притесненные, завоеватели и мятежники. Ирландцы хотят широкой автономии, возвращения фермеру земли, захваченной английским лендлордом. А это в наше время почитается как мятежное стремление, как открытое возмущение. Но все же лучше пусть дерутся депутаты в парламенте, чем народы на полях сражений...

Пять дней спустя Короленко посетил парламент. Со скамей прессы он внимательно следил за прениями, но они на этот раз были вполне респектабельны, сухи и скучны. Ничто не напоминало о том, что несколько дней назад те же самые депутаты, как простые уличные буяны, тузили друг друга в «свободной драке» под громкое шиканье публики и журналистов.

Когда спустя несколько дней пароход, отвозивший

русских путешественников в Америку, проходил мимо туманного берега Ирландии, Короленко стоял на палубе. Над старинной каменной башней с узкими бойницами, как напоминание о пока бесплодной борьбе народа за свою независимость, полоскался на сыром ветру флаг — английский, не ирландский.

Дьявол хохочет...

Воскресный вечер. Идет из церквей нарядная публика. Искательно заглядывают в глаза многочисленные проститутки. Переливаются огни цветных реклам.

На углу Оксфорд-стрит и маленького переулка — толпа. Протопопов, а за ним Короленко протискиваются в середину: здесь оказалось небольшое пустое пространство. Мальчик в очках держит фонарь, на котором виднеются надписи: «Где хотите вы ныне потерять вашу вечность?», «Христос — спаситель мира», «Остановитесь! Сегодня день спасения вашего!»

Приличные джентльмены ораторствуют. Они по очереди произносят длинные речи, сопровождая их отчаянной жестикуляцией. Протопопов вполголоса переводит.

Когда очередной оратор устал махать руками и сорвал голос, несколько человек из толпы, вытащив молитвенники, деловито затянули псалмы.

Короленко уже догадался, что странное сборище — отряд пресловутой Армии спасения. Тут только он разобрал, что вокруг вовсе не публика, а солдаты того же отряда сальвационистов *. «Настоящая» же публика даже не останавливалась — шумливая и беспечная толпа проходила мимо, устремляясь в самые объятия «дьявола», навстречу соблазнам и порокам большого города. Разглядывая окружавших его «борцов с дьяволом», Короленко приметил одного: остренький носик, круглый живот, бегающие хитрые глазки. «Настоящий тайный союзник дьявола... Ин-

---

* Salvation (*англ.*) — спасение.

тересно, что он скажет». Но очередь до остроносенького не дошла.

Последний оратор, мелко семеня тонкими ножками, вышел на середину и снял с головы новехонький цилиндр. Он обратился уже прямо к Короленко и Протопопову с предложением немедленно спастись сегодня, ибо завтра, в понедельник, уже будет поздно.

— Джентльмены, — взывал проповедник, — я верю в ад и в дьявола, как в существование реальных предметов, все равно как в Лондон, в медведя или в собаку. Дьявол не дремлет, он повсюду раскинул свои сети — берегитесь их!

Короленко отметил, что все ораторы говорили из рук вон плохо, как семинаристы, обильно пересыпая речь примерами из священного писания. От этих выступлений веяло изрядной пошлостью, а кривлянья проповедников будили вражду и раздражение. «Странная, однако, форма человеческого спасения», — подумал писатель.

Пропели последний гимн, знаменосец потушил фонарь, и все стали расходиться.

— Спасены ли вы, брат мой? — вдруг услышал Короленко подле себя ласковый голос.

Это спрашивал человек, который верил в дьявола, как в медведя. Короленко оглянулся. Толпы вокруг уже не было, только два других оратора и барабанщик, напряженно вытянув шеи, с видимым интересом ждали результатов проповеди.

Насмешливый бесенок проснулся в писателе. Он свободно мог произносить по-английски только одну фразу. С серьезным видом он сказал:

— Ай донт спик инглиш, сэр. (Я не понимаю по-английски.)

Лицо почтенного проповедника вытянулось — добыча явно ускользала из рук.

Видя, что собеседники сами не изъявляют желания идти с ними, джентльмен искательно и настойчиво напомнил:

— В нашей квартире на Уэльбек-стрит вы можете услышать сейчас много поучительного...

Его коллеги сгрудились вокруг, готовясь вырвать из когтей дьявола две заблудшие души. Но перспектива закончить вечер среди кривляющихся ханжей русским джентльменам не улыбалась. Даже деликатный Короленко решительно шагнул в сторону. Они кивнули приунывшему проповеднику, так крепко верящему в дьявола, и ушли не оборачиваясь. Когда стало ясно, что погони нет, Короленко остановился и засмеялся.

— Смотрите, Сергей Дмитриевич! Улицы горят электричеством, рестораны разверзлись, девицы «с беспокойною лаской во взгляде» снуют вокруг... Мне кажется, что дьявол смотрит сверху на своих жалких противников и хохочет, подлец, хохочет, держась за бока...

Впоследствии и в Америке Короленко изредка встречал мужчин и женщин в форме Армии спасения — красные мундиры, фуражки, уродливые черные капоры. Они маршировали под вой рожков, гром барабанов и улюлюканье мальчишек.

«Россия за границей»

— ...Английские рабочие, — горячо говорил Короленко Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский,— с большой симпатией относились к беззаветной готовности нашей революционной молодежи отдать себя на алтарь борьбы за свободу народа. От них можно было ожидать митингов солидарности, демонстраций и даже денежной помощи, — конечно, в пределах их скромных возможностей. Но английская буржуазия смотрела на нас по-иному — движение принимало социалистический характер, и это ее пугало. Англия боялась сильной России, а Россия демократическая, революционная была бы гораздо сильнее России самодержавной. Именно это притягивало к нам симпатии английских рабочих и отталкивало пугливую консервативную английскую буржуазию.

— Моя задача здесь, в Англии, сводится к тому, — продолжал Кравчинский, — чтобы как можно

шире знакомить англичан с русской жизнью вообще, с русской литературой в частности. Мы переводим Достоевского, особенно Толстого, вас, Чехова. Здесь должны узнать лучшие культурные, умственные, бытовые стороны жизни нашего народа.

Скромный домик Кравчинских на Ойгест-род быстро заполнили приглашенные. Среди них были русские политические эмигранты, «Россия за границей», как их про себя называл Короленко: Ф. В. Волховский, с которым они встречались зимой 1884 года в Сибири, К. Доброджану-Герея. Пришли и англичане, друзья хозяина, которые просили познакомить их с автором «Слепого музыканта».

Короленко до приезда в Лондон не был знаком с Сергеем Михайловичем, но знал о нем многое.

4 августа 1878 года Кравчинский убил шефа жандармов Мезенцева, и это событие громом отдалось по всей России. Дерзкое, смелое покушение произошло в центре Петербурга, на глазах гуляющей публики. Один из двух изящно одетых молодых людей, шедших навстречу Мезенцеву, прижал к стене его спутника, а другой — это был Кравчинский — ударом кинжала в грудь свалил генерала. Затем оба сели в следовавшую за ними пролетку и скрылись бесследно.

С тех пор Кравчинский в эмиграции — долгие пятнадцать лет. Он уже автор нескольких романов, редактор органа «вольной русской прессы» — «Free Russia» («Свободная Россия»).

Короленко познакомился с четой Мошелес. Кравчинский рассказал, что в седом художнике, много путешествовавшем по Алжиру и Тунису, вдруг проснулся интерес к социальной стороне жизни, и он написал несколько ярко тенденциозных картин, которые обратили на себя внимание публики. Впоследствии Короленко вывел некоторые черты супругов в рассказе «Софрон Иванович».

— Госпожа Мошелес спрашивает вас, — перевел Кравчинский Короленко слова молодой женщины, — почему вы недостаточно любите и уважаете цивилизацию, почему часто поэтизируете некультурных, да-

же диких людей. Ваши герои — Макар, Иохим, Убивец — взяты из низших слоев и опоэтизированы. Даже музыкальные инструменты, которыми гордится культурное человечество, как рояль, скрипка, принижаются в сравнении с простой дудочкой Иохима в «Слепом музыканте». Ту же черту миссис видит вообще во всей либеральной, левой русской литературе. Нет ли натяжки в том, что русские писатели ищут и находят «искру божию» только на дне жизни, где нет просвещения и культуры? Не отрицают ли они тем самым цивилизацию, боясь отмечать положительное в высших, культурных классах?

Короленко слушал очень внимательно.

— Вы имеете в виду, вероятно, прежде всего народническую литературу с ее идеализацией крестьянства, — отвечал он своей оппонентке. — Но современная русская литература представлена не только беллетристами этого направления. У нас есть такие писатели, как Толстой, Чехов, и упрек этот к ним неприменим. Да и автор «Слепого музыканта» тоже не причисляет себя к народническому крылу.

— Что же касается высших классов России, — Короленко улыбнулся, — то им и без помощи литературы хорошо живется. Дело, которому посвятили себя многие русские литераторы, — идти к обиженным, к униженным и оскорбленным — всегда было и будет делом правильным и важным.

— Мне кажется, — заметил седой художник, — что стремление создавать книги и картины, тенденциозно окрашенные, проникнутые сочувствием к неимущим классам, — это знамение времени, и здесь мы, англичане, многим обязаны вашей литературе и живописи, книгам Тургенева, Толстого, Достоевского, полотнам Репина, Сурикова, Крамского. Социальные симпатии у них...

— Прошу тебя, Феликс, — перебила его жена, — не втягивай господина Короленко в политические споры. Если о них узнает русская полиция, не миновать ноты о вмешательстве англичан во внутренние дела России...

Все засмеялись. Короленко с укоризной посмо-

трел на смутившегося хозяина. Ему передавали, что Кравчинский стремится по возможности отстранить его от всякой политики и политических впечатлений, опасаясь, что у Владимира Галактионовича будут неприятные объяснения с жандармами по возвращении домой.

В этот вечер писатель был в центре внимания. Едва успевал отойти один из его английских почитателей, как представляли другого. Короленко задавали множество вопросов — о России, о современной русской литературе.

Все же миновать политических разговоров не удалось. К концу вечера, когда остались одни русские, зашел разговор о родине — о России. Протопопов высказал мысль, что скоро правительство уже будет не в силах бороться с растущим революционным движением.

— Неужели, господа, мы скоро сможем очутиться в России? — взволнованно спросил Кравчинский.

Он встал и прошелся по комнате, высокий и еще по-юношески стройный. Пышная, чуть вьющаяся шевелюра и борода были без единого седого волоска.

— Наше лондонское издание «Свободная Россия» готовит на русском языке вашу «Чудную» и воспоминания о Чернышевском, — обратился он к Короленко. — Они к нам попали в виде одного из списков, которые ходят по рукам в Петербурге. Вы уж простите нас, что мы без воли автора отважились на подобное предприятие, вопреки опасениям за ваше реноме в глазах департамента полиции.

— Оно безнадежно испорчено, — улыбаясь, ответил Короленко. — Я думал напечатать воспоминания в русских журналах, но это оказалось невозможным. Что касается полиции — не беспокойтесь, ведь я несу ответственность только за содержание, а не за способ, каким рукопись появится в свет.

— Я знаю двух людей, которые оказали огромное, еще большее, чем Чернышевский, влияние на умы современников, — сказал Кравчинский. — Это Маркс и его друг Энгельс. Русский язык они любили и изучали, в частности, чтобы читать Чернышевского.

Мы довольно хорошо знакомы с Энгельсом, он бывал у нас здесь. Я не принадлежу к числу людей, принимающих учение Маркса, но нельзя не видеть, что молодой социализм у нас в России — всецело социализм социально-демократический и исповедует от начала и до конца марксизм.

— Непонятно мне это, — отозвался Короленко. — Непонятен социализм без идеализма. Я не думаю, чтобы на сознании общности материальных интересов можно было построить этику, а без этики мы не обойдемся. Тем не менее всякая разумная попытка объяснить явления жизни заслуживает внимания и уважения. И какое должно быть удовлетворение у человека, когда на склоне лет он видит, что дело его жизни подхвачено молодыми и сильными руками.

Гости стали прощаться. Они вышли через сад. Стоял тихий свежий вечер. Где-то вдали звенели детские голоса. Узнав, что у Короленко есть дети, Фанни Марковна, жена Кравчинского полушутя, полусерьезно предложила воспитывать их в Англии. Здесь это делают отлично: дети бодры, веселы, у них отличная физическая закалка.

Короленко посмотрел на нее с удивлением.

— Нет, нет! — воскликнул он страстно. — Я страшусь даже подумать, что моим детям был бы непонятен мой язык, а за ним — и мои понятия, мечты, стремления! Была бы непонятна моя любовь к родной природе, к родному народу, к стране, которой — хорошо ли, плохо ли — служишь сам. В детях хочется видеть продолжение себя, продолжение того, о чем мечтал и думал с тех пор, как начал мечтать и думать, и для них хочется своего, родного, счастья, которое манило самого тебя, а если — горя, то такого, какое знаешь, поймешь и разделишь сам!..

Прощаясь, Короленко целуется с Кравчинским — через несколько дней он уезжает. Потом его долго не покидали грустные мысли о судьбе своего переводчика, славного русского революционера и писателя. Мог ли знать Короленко, что Сергею Михайловичу больше не суждено было повидать родину (через два года, хмурым декабрьским утром, неподалеку от

дома, он был убит внезапно вылетевшим из-за поворота поездом).

Именно под впечатлением знакомства с Кравчинским у писателя создалось убеждение, что очень много трагического в этой России за границей и что все-таки Россия хороша и за границей, хороша и интересна в высокой степени.

Глазами человека из России

На восьмые сутки после отплытия из Ливерпуля в легком тумане, окутывавшем американский берег, пассажиры «Урании» разглядели очертания Нью-Йорка и впереди статую Свободы с высоко поднятым факелом.

Пароход швартуется у причала. Месяц спустя после переезда через русскую границу, 1 августа, Короленко ступает на американскую землю.

Многое казалось в Нью-Йорке новым и необычным: громадные дома в полтора десятка этажей, красавец гигант Бруклинский мост, воздушная железная дорога. Наряду с этим писатель часто слышит от русских эмигрантов и знакомых американцев, что в Америке есть только бизнес и нет ничего возвышенного, философского, гуманного, что нынешние американцы недостойны своей великой конституции. И, конечно, во всяком месте и во всякий час назойливо кидалась в глаза реклама.

Впечатление об Америке складывалось сложное, сотканное из множества наблюдений, встреч, рассказов живущих здесь людей из России. Рос интерес к этой большой, многоликой, полной контрастов и противоречий стране. И ни на минуту не покидало чувство родины, далекой и отсюда, с чужбины, особенно притягательной.

В «Астор-хаус», где остановились Короленко и Протопопов, явились репортеры. Приличный господин из «Нью-Йорк таймс» интересовался главным образом биографией Короленко. Затем явился другой, и

разговор зашел о событиях голодного года. Третий устроил писателю форменный допрос.

На следующий день русские путешественники развернули газеты и—ахнули. В «Таймсе» на первой полосе шли забористые заголовки: «Одна из жертв царя. Беллетрист Короленко рассказывает о своих жестоких преследованиях». Это была работа «приличного господина». Затем шла изрядно исковерканная биография с довольно свободными комментариями. Другая газета снабдила свою статью заголовками: «В Америку из Сибири. Трижды выслан в Сибирь».

Короленко узнал, что он «покидает Россию и будет жить в этой стране».

Писатель не на шутку расстроился, но русские политические эмигранты стали доказывать, что статьи составлены еще прилично и что бывает много хуже. Когда же Короленко заговорил о своем желании ответить на подобную глупость и пошлость, ему посоветовали махнуть рукой. Американскую прессу не исправишь!

— Согласен, — отвечал Короленко, — но как посмотрят на всю эту историю в известном здании у Цепного моста? * Не окажется ли моя судьба вновь роковым образом необеспеченной?..

Тогда было решено: Короленко и Протопопову во избежание лишних неприятностей немедленно уехать в Чикаго, что они и сделали на следующий день. По дороге посетили Ниагару, и Короленко постарался забыть неприятное происшествие с нью-йоркскими газетами.

В Чикаго эмигрант Е. Е. Лазарев как-то рассказал писателю о злоключениях в Америке крестьянина, уехавшего из России в поисках лучшей доли. Короленко так захватила эта история, что он тотчас же принялся за работу и за неделю написал рассказ почти наполовину.

...На людной улице Нью-Йорка стоит огромного роста человек в белой свитке и бараньей шапке. На

---

* Здесь в Петербурге помещался департамент полиции.

лице великана — выражение отчаяния, он взывает к окружающим:

— Кто в бога верует — спасите!

Но никто не подходит, никто не понимает, никто не желает понять. У каждого свои дела и заботы; люди привыкли к подобным сценам. Здесь человек как иголка в траве, как капля воды, упавшая в море, — никому до него нет дела. Рыба попадает в невод, а люди в Америку и, словно мотыльки над огнем, опаляют свои крылья, перемалываются, как на хорошей мельнице. Всяк занят собой, а остальные — хоть пропади в этой жизни и в будущей. Среди героев рассказа — люди из России и американцы, простые крестьяне и ревнители заокеанской цивилизации, защищающие ее от «дикаря», то ли из кавказских черкесов, то ли из самоедов... Вот седой, видавший виды, прожженный кабатчик в Гамбурге. «Хочешь знать, — хрипит он, — что такое свобода в Америке? А-а, рвут друг другу горла — вот и свобода...» Но нет, герой Короленко не станет рвать горло ближнему, не будет торговать голосом и совестью. Он выбьется, наделенный колоссальной жизненной силой и верой в добро. Он останется в Америке, обретет здесь вторую родину, дети его позабудут родной язык, но тоска по оставленной старой родине, по тихому скрипу колодезного журавля, по полузабытым песням, простым и трогательным, останется в этом человеке до последнего его вздоха. А рассказ будет называться «Без языка».

Двадцать дней, с 8 по 28 августа, Короленко пробыл в Чикаго.

Выставка — «Всемирная ярмарка», как ее называли, — не произвела на него очень большого впечатления. Осматривал он преимущественно национальные картинные галереи и, конечно, особенно внимательно и пристрастно двух стран — Америки и России — и отдал предпочтение родному искусству.

Не меньше, чем выставка, интересовало Короленко настоящее Америки и ее прошлое. Когда однажды он узнал, что должен состояться митинг безработных, посещение выставки было отложено. Безработ-

ные шли густой колонной в облаках пыли, сначала рядами, а потом и как попало — усталые люди в мятых шляпах, полинялых пиджаках. Гремели оркестры, и колыхались красные знамена. Огромная площадь от памятника Колумба до Арт-паласа была запружена народом. В разных концах с платформ выступали рабочие ораторы, громя капитализм, и толпа отвечала им шумными криками одобрения. Это была сила, незнакомая Короленко, сила растущая и обещающая стать грозной и решительной. Утром тех же рабочих полиция разгоняла дубинками, но теперь не решилась: их стало много, и настроены они были решительно.

Частые посещения выставки, многочисленные знакомства с русскими эмигрантами и американцами, постоянное чтение газет (на это ему хватало знания языка) убедили писателя, что в стране нравы жестоки и грубы. Причинами этого он считал рабство и уничтожение индейцев — два таких обстоятельства, которые должны были и, несомненно, наложили печать на самый характер американского народа, и с ними, вероятно, долго еще придется считаться.

В середине августа, в разгар работы над рассказом об Америке, Короленко расстался с Протопоповым — тот уехал в Сан-Франциско. Писатель уже твердо решил больше никуда не ездить — жаль было времени, да и денег было не очень много.

Фабрика миллионов смертей

Короленко в сопровождении нескольких соотечественников, обосновавшихся здесь, отправился осматривать бойни. Он уже знал, что в Чикаго две достопримечательности: Пульмановский городок, где хозяева вагоностроительных заводов пьют кровь из рабочих, и бойни — знаменитый Сток-ярд, где убивают фабричным способом животных.

Воздух в Чикаго, даже очень далеко от боен, особенный: тяжеловатый, с неприятным запахом.

— Сток-ярд! — объявляет кондуктор.

Здесь грязно, дымно и как-то неспокойно.

Случайно получилось так, что группа русских раньше главной конторы боен очутилась на пороге сток-ярдского ада, куда не попадала «чистая публика», и начала путешествие по его кругам.

Скользкий коридор приводит к скользкой лестнице с осклизшими стенами, с которых каплет сукровица. Нескончаемая вереница полуобнаженных рабочих катит тачки с потрохами. Сток-ярд с каждым шагом кажется все мрачней и ужасней.

Около подъема они увидели человека с длинным узким ножом в руке. Вот к нему с отчаянным визгом подкатилась на блоке очередная свинья, и он с ловкостью, дающейся привычкой, полоснул свою жертву ножом по горлу. Из раны хлынула широкая струя крови, животное забилось в конвульсиях и неподалеку с размаху шлепнулось в котел с кроваво-грязным кипятком, а к убийце уже подкатывали другую свинью.

Короленко невольно остановился перед этим мастером смерти. Вот он, главный герой Сток-ярда и вместе главный мученик его. Да если и человек подкатится к нему на блоке, он, пожалуй, не остановит привычное движение привычной руки. Работа его состоит лишь в одном этом движении ножа сверху вниз. Около пяти тысяч убийств в день, сто пятьдесят тысяч в месяц — и в этом вся жизнь этого страшного полуголого человека с ножом!..

Тут Короленко почувствовал, что его кто-то толкает. Это резак протягивал к нему окровавленную руку за подачкой. Безотчетно писатель полез в карман и подал десять центов. Человек оскалил зубы и заговорщически подмигнул. «Словно сообщнику давно забытого преступления», — подумал Короленко. Он был бледен, впрочем, как и все остальные. Маленькая группа заторопилась к выходу.

Будто по мановению волшебной палочки исчезли картины смерти, когда русские посетители попали в главную контору боен. Комфортабельный лифт поднял их на шестой этаж, навстречу вышел изящно одетый служащий и, ничего не спрашивая, при-

вычным движением подал каждому по карточке. На ней было напечатано:

«Swift and Company, Year 1892

Число убитого рогатого скота	1 189 498
Число убитых свиней	1 134 692
Число убитых овец	1 013 527
Общая цифра стоимости (в долларах)	90 миллионов».

Явился «бой» — мальчик в ливрее фирмы «Свифт и К°». Он повел партию зрителей уже не закоулками ада, а по выработанному маршруту, чтобы показать бойни с наиболее привлекательной стороны.

В маленькой группе зрителей шла смотреть зрелище смерти молодая красивая американка с девочкой лет пяти, и ребенок жадно смотрел вниз на непонятное, но притягательное зрелище смерти.

«Жестокость и грубость в стране высокого технического прогресса,— думал Короленко.— Девочка, кощунственно приведенная смотреть на смерть животных. Равнодушный убийца с ножом и протянутой рукой. Крохотная карточка с деловитой справкой о миллионах смертей и миллионных доходах. За всем этим— физическая и нравственная смерть рабочих Пульмана, Свифта. Как это характерно для современной Америки, история которой чуть ли не огромная бойня!..»

...В конце письма жене с описанием чикагских боен Владимир Галактионович сделал приписку: «Детям читать письмо не следует».

Домой!

Теплым вечером на многолюдной улице привлеченные звуками русской речи обступили Короленко и его спутников соотечественники, живущие здесь. Объединенные одним общим чувством, наперебой делились воспоминаниями о далекой стране, которую нигде нельзя забыть и которая властно тянет к себе. Говорили о небольших городках ее и бесконечных полях, о степных дорогах, мерцающих огоньках деревень и — больше всего — о ее народе, очень хорошем народе, и если не лучшем среди других

народов, то, конечно, самом приятном для них, собравшихся на чикагском перекрестке российских людей.

— Ч-чепуха! — вдруг заявил человек, незаметно подошедший к маленькой группе. — Это вы говорите оттого, что не смогли найти здесь свою золотую жилу!

Все с удивлением и негодованием обернулись к нему.

— А вы хорошо устроились здесь? — спросил Короленко.

— О yes, о да! Я теперь богатый человек, понимаете? Я получаю двадцать тысяч годового дохода! Вы, русские, не имеете консепшен... Надо знать Америку, как я ее знаю! О yes!

Человек этот был некогда тверским помещиком, а ныне стал бизнесменом. Он считает себя журналистом, пишет в русские журналы «Вестник Европы» и «Неделя».

— В Америке ценят людей, которые чего-то стоят, которые умеют делать деньги, — говорит Тверской — нынешний mister Deamens.

Короленко передернуло от слов «человек стоит». Много «русских предрассудков» пришлось отбросить этому американцу из Твери, чтобы стать тем, кем он стал. Писатель видел его статьи — они содержали безудержные похвалы Америке, и люди верили им, тянулись за океан. Многие ли разбогатели? Большинство потерпело неудачу и на чужой стороне еще более несчастно, чем на родине.

Владимир Галактионович отвернулся от «американца». Еще сильнее потянуло писателя на родину.

Перед отъездом он явился в Нью-Йорк в русское консульство — в первое официальное учреждение со времени отъезда за границу, — чтобы завизировать свой паспорт. Билет до Гавра на лайнер «Гасконь» лежал уже в кармане. Последние встречи и беседы с земляками, и вот 4 сентября писатель отплыл в Европу.

Дождь, туман, гремит гром, но Короленко не покидает чувство необыкновенного счастья. Он весь переполнен радостью возвращения.

С него довольно Европ и Америк. Домой, домой!

На следующий день после приезда в Париж Короленко подали телеграмму: Леночка, младшая дочь, оставленная им в Дубровке, умерла. В тот же день, 14 сентября, Владимир Галактионович выехал в Румынию. Жена еще ничего не знала, и ему предстояло привезти с собою черную весть.

В Одессу, пробыв около месяца в Румынии, он приехал уже с женой и дочерьми 10 октября.

«Паспортная совесть» Короленко была не совсем чиста: в Териоки, выезжая за границу, он не поставил отметку о выбытии за пределы Российской империи. Теперь «империя» в лице жандармского полковника одесского пограничного пункта листала его паспорт, ища отметку о выбытии.

Какое счастье, что он догадался поставить в Нью-Йорке визу!

Жандармский «досмотр» мало чем отличался от формального обыска. На глазах у пассажиров, знающих, что перед ними известный русский писатель, на глазах жены и детей рылись в вещах, заглядывали в письма, даже куклы Сони и Наташи были взяты под подозрение. Наконец: «ничего предосудительного не найдено», — выражение так хорошо знакомое бывшему ссыльному, ныне поднадзорному, Короленко по многим обыскам, производившимся у него доселе. Ему под расписку объявляется распоряжение о явке в департамент полиции без заезда в Нижний.

Короленко не подозревал, что каждый шаг его за рубежом становился известным Третьему отделению. Особенно интенсивным было наблюдение за писателем в Америке. За ним следил тайный агент, сумевший втереться в среду русских эмигрантов; в Нью-Йорке детективы знаменитого частного сыскного агентства «Пинкертон и К^{с}» по поручению русского консула следовали за Короленко по пятам.

И вот в Петербурге ему, в частности, было предъявлено обвинение в том, что, по имеющимся в департаменте сведениям, он встречался с эмигрантами, а также выступал в Америке с пылкими противоправительственными речами. Писатель резонно возразил,

что даже при желании он сделать этого не мог по причине незнания языка.

Все кончилось на сей раз благополучно. Объяснение Короленко своего «поведения» за границей департамент счел возможным признать «удовлетворительным» и отпустил писателя с миром.

Неласково встретила родина Короленко. Впрочем, он никогда не смешивал такие разнородные понятия, как «Россия» и «Российская империя», — первая стоит и будет стоять вечно, а вторая непременно должна скоро сгинуть. Не смешивал Короленко и русский народ с полицейским участком. Бесправие и произвол шли «по ведомству» самодержавно-полицейского строя, а России, русскому народу он служил верой и правдой: «Лучше русского человека нет человека на свете. И за что его бедного держат в черном теле!..»

Путешествие на Запад нашло отражение в ряде произведений Короленко, появившихся в последующие годы. Это были очерки «Драка в Доме», «В борьбе с дьяволом», «Фабрика смерти», повесть «Без языка». Многие заграничные материалы использованы не были и остались в архиве писателя в виде набросков, многочисленных вариантов, замыслов, иногда почти готовых произведений, — мешала бурная российская жизнь, определенно идущая к какому-то перелому.





VIII. «СВЕТА, БОЛЬШЕ СВЕТА НА ЭТО ТЕМНОЕ ДЕЛО!»

Я поклялся на сей счет чем-то вроде аннибаловой клятвы и теперь ничем не могу заниматься и ни о чем больше думать.

В. Г. Короленко

Добрый человек умирает, дело его остается.

Удмуртская пословица

Пределы народной темноты и полицейские способы дознания

10 и 11 декабря 1894 года временное отделение Сарапульского окружного суда присяжных в городе Малмыже Вятской губернии, рассмотрев дело по обвинению удмуртов села Старый Мултан в человеческом жертвоприношении, признало их виновными. Семерых суд приговорил к лишению прав состояния и к ссылке в каторжные работы на большие сроки; один из подсудимых во время следствия умер, трое были оправданы.

По кассационной жалобе защитника Михаила

Ионовича Дрягина сенат отменил приговор и предписал суду рассмотреть дело вновь. Причиной этого решения было явное нарушение судопроизводства, и, главное, недоказанность факта существования у удмуртов человеческих жертвоприношений.

Реакционная печать, однако, заговорила о человеческом жертвоприношении, как о факте неоспоримом. Прогрессивные органы либо хранили растерянное молчание, либо высказывались за обстоятельное выяснение дела.

Короленко внимательно следил за сообщениями печати о мултанском деле. Он был в числе немногих, которые отнеслись к решению суда, как к фальшивке.

Провинциальные журналисты А. Н. Баранов и О. М. Жирнов поместили в газете «Казанский телеграф» отчет о деле, где доказывали, что произошла вопиющая судебная ошибка. Но отчет затерялся в водопаде статей провинциальной и столичной печати, поддержавшей версию о жертвоприношении. К тому же еще цензура принялась резать статьи немногих честных журналистов и ученых, выступивших против обвинения удмуртов.

Что делать, как спасти невинных?

Баранов и Жирнов решили привлечь к участию в деле крупного писателя. Гневный протест против жестокой, возмутительной несправедливости должна услышать вся Россия. И сделать это мог бы Короленко!

Баранов срочно послал в Нижний Новгород письмо с краткой характеристикой судебного разбирательства и весь печатный материал по делу.

Короленко не колебался. Его зовут. Он нужен. Писатель ответил согласием и быстро собрался в дорогу. Слушание дела было назначено в Елабуге, на 29 сентября 1895 года, — времени было в обрез. Дома в Нижнем оставалась трехнедельная Оля, маленькое, громкоголосое, дорогое существо. Брошены все дела, и 25-го писатель отплыл в Елабугу. Он был уверен, что его присутствие на суде и предстоящий отчет в столичной прессе принесут большую пользу делу. Каков бы ни был вторичный приговор суда,

человеческое жертвоприношение, несомненно, было: только не мултанцы убили несчастного нищего Матюнина, а их самих принесли в жертву на алтарь полицейского и прокурорского честолюбия.

Короленко твердо стоял на том, что вчерашний язычник — сегодняшний христианин, еще приносящий в жертву животных, — и язычник-каннибал — два совершенно различные антропологические (или по крайней мере культурные) напластования, отделенные столетиями. Он жил в той же Вятской губернии среди удмуртов, жил среди полуоседлых якутов, видел их беснующихся шаманов, перед которыми удмуртские «тыр-восяси» могут показаться кроткими агнцами. Но именно потому, что он видел всё это, он знает не только глубину народного невежества, но и возможные его пределы. Он хорошо сознает, что, отстаивая невозможность в России человеческого жертвоприношения, он защищает всех инородцев от предубеждения и предрассудка, восстанавливающих против них все остальное население. Обвинение направлялось не только против целого края, населенного тремястами пятьюдесятью тысячами удмуртов, оно направлялось также и против самого русского народа, якобы неспособного вековым общением облагородить инородцев, хотя бы до степени невозможности каннибализма.

Елабуга оказалась захолустным уездным городком. О предстоящем процессе ходила тьма невероятных, почти фантастических слухов. Место здесь, как и в Малмыже, оказалось очень удобным для суда: темные присяжные целиком в плену «талантливых» полицейских и судей, верят клеветническим измышлениям на удмуртов.

Началось слушание дела. Процесс был явно сенсационным, а когда местная публика узнала, что приехал знаменитый писатель Короленко, интерес еще более усилился, и зал суда оказался переполненным.

Тридцать семь свидетелей выступили со стороны обвинения. Адвокат просил вызвать свидетелей защиты. Суд отказал.

Свидетели говорили быстро, заученно, словно они готовились (или их готовили) заранее.

Короленко, Баранов, Жирнов старательно записывали весь ход процесса.

Эксперт профессор И. Н. Смирнов доказывал, что удмуртские боги требуют в жертву не только животных, но и людей. Зато другой эксперт, учитель А. С. Верещагин, категорически отрицал возможность жертвоприношений. Он утверждал, что бога Курбона, который якобы требует в жертву человека, у удмуртов вовсе нет. Слово «курбон» означает дар или жертва...

Обвинитель товарищ прокурора Н. И. Раевский громил подсудимых, доказывал, что это они убили нищего, «точили» его кровь.

Защитник упорно и мужественно боролся за подсудимых. Он напомнил суду, что против мултанцев показывали полицейские приставы, урядники, сотские и десятские, а подсудимые не имели ни одного своего свидетеля. Пристав Шмелев, чтобы добиться нужных показаний, истязал свидетелей, приводил их к кощунственной присяге перед чучелом медведя. Прокурор Раевский, руководивший следствием, знал об этом.

Все подсудимые в последнем слове отрицали свою вину.

Присяжные ушли — и возвратились с обвинительным приговором. Этот день, 1 октября 1895 года, Короленко не забыть. Как они были правы, застенографировав процесс! Когда отчет появится в печати, все ахнут, по каким совершенно ничтожным и невероятным уликам осуждены эти несчастные, совершенно невинные люди. Корреспонденты три дня сверяли свои записи; на их пальцах от карандашей появились кровоподтеки.

В Старом Мултане

На следующий день после объявления приговора корреспонденты решили: надо ехать в Мултан, увидеть все самим — и злосчастное село, и шалаш, где

якобы «точили» удмурты кровь нищего, и тропинку на болоте, где нашли его труп, и тех, кто был в Мултане в загадочные дни начала мая 1892 года.

В Вятских Полянах сошли с парохода и плохими проселочными дорогами поехали мимо сел и деревень, так хорошо знакомых по судебному разбирательству. К месту убийства их повез сын ямщика, судившегося по делу, но оправданному в Малмыже. За версту от места, где был найден труп Матюнина, возница остановился — дальше дорога была непроезжая. Пошли пешком.

Глухая осень. Хмурое серое небо. Дождик. Узкая тропа вьется в угрюмом темном ельнике. Ржавая болотная вода хлюпает под ногами. Лес безмолвствует, лес надежно хранит тайну страшного убийства. Кто подлинный преступник, во имя чего он шел на кровавое дело?.. Вот здесь на бревеннике лежал труп. Короленко ложится на это место — он хочет проверить показания свидетелей. Его спутники молча стоят в стороне, смотрят, как он зарисовывает место убийства. В тревожном тяжелом молчании идут обратно к телеге.

Вернулись в село.

— Вот, дяденька, шалаш, — указал возница.

Короленко огляделся. Невдалеке высилась колоколенка маленькой церкви, около нее серый домик с рядом окон; это церковноприходская школа. Кто поверит, что в центре большого села, среди бела дня удмурты будут «молить» человека?!

Когда они вышли из шалаша, их встретила кучка народа — в селе уже знали, что приехали «русские защитники». Подошел отец мальчика, отставной солдат. Он снял шапку, за ним все остальные. «Надо объяснить, что мы не начальство»,— подумал Короленко, но промолчал и только снял шляпу. Баранов и Жирнов тоже обнажили головы. «Здесь все равны».

Они стояли под дождем, молчали. Из окон ближайшего дома на русских смотрели испуганные детишки.

— Их отец осужден, — сказал солдат, видя, куда смотрит Короленко. — Одно малое племя, сироты...

Он пригласил всех войти в избу, и там Короленко подробно расспросил мултанцев о деле и записал их рассказы. Едва писатель кончил, солдат подал хозяйке знак, и она проворно накрыла стол белой скатертью с красными узорами. Хозяин пригласил гостей поужинать.

Когда гости стали прощаться, один из стариков задержал руку Короленко и, глядя прямо в глаза, сказал медленно и веско:

— Кыйбодылэн венез бышкан понна. Писэй шудэ, шыр бордэ...

— Что он сказал? — оглянулся писатель на хозяина.

— Он сказал: «Шипы чертополоха для того и растут, чтобы колоться, а кошка играет с мышкой так, что той хочется плакать...»

В безотчетном порыве Короленко сжал руку старика.

— Скажите ему, пожалуйста, что мы все поклялись добиться в этом деле правды... Выдрать чертополох и... наказать злую кошку! Понимаете? — спросил он уже у старика.

Тот закивал головой: «Понял, понял!»

Дверь вдруг распахнулась, и в избу втиснулись еще несколько человек, сняли шапки, перекрестились на божницу, подошли.

— Мы к вам, ваше благородие, здешние жители, русские! — сказал передний, обращаясь к Короленко.

Писателя как-то сразу выделяли и удмурты и русские — может быть, его большая борода внушала особое уважение.

— Слыхали, вы насчет нищего интересуетесь, так нас спросите. Не полагаем мы, что им, вотякам то есть, это сделать, народ не такой.

— Верно, ваше благородие, — загудели пришедшие, — не занимаются они этим.

— Гуся замолить или там телка — это есть...

— А чтоб человека — не слыхали.

— Навет на вотских! — уже громко крикнул кто-то.

— Не принимайте на веру всякую ложь, ваше благородие, — сказал первый мужик. — Мы с ними в одном селе живем, а до нас отцы и деды наши жили. А теперь вишь, что придумали...

— Вот что, мужики, — сказал решительный Баранов. — Хороши ваши слова, да на суде их не слышно было. Запишитесь в свидетели, потребуем — вас вызовут.

Наступило тяжелое молчание. Короленко помрачнел.

— Что ж, пойдемте, господа, — сказал он своим.

Мужики расступились, пропустив троих к телеге, и высыпали следом.

— Сами посудите, ваше благородие, — сказал один из пришедших. — Вотяков, слышь, в убийстве обвинили, а нас в бунтовщики запишут... Вот и опасаются мужики...

Уже стемнело, когда заезжие журналисты покинули село. Огромные ели стояли сплошной угрюмой стеной по обеим сторонам дороги. Короленко оглянулся: густая плотная темнота скрыла Старый Мултан.

Дельные головы и благородные сердца нужны для борьбы

Тотчас же после своего возвращения из Мултана Короленко отправил редактору «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому письмо: «Мы дали друг другу слово — принять все меры, чтобы гласностию помочь невинно осужденным и вызвать расследование о действиях властей. Для этого мы, во-первых, хотим напечатать отчет, во-вторых, я пишу статью о деле в «Русское богатство» и, в-третьих, хочу прочитать доклад в Юридическом обществе; для этого я ездил на место, был в Мултане и даже лежал на том самом месте, где нашли труп убитого.

Итак — жду скорого ответа: возьмете ли Вы полный наш отчет как унику?..»

Спустя несколько дней, не получая ответа, Короленко шлет отчаянное, полное нетерпения и тревоги новое письмо: «Люди погибают невинно, совершается вопиющее дело, — и я не могу сейчас ни о чем больше думать...»

Тут подоспела телеграмма: «Посылайте отчет немедленно. Соболевский». 18 октября газета начала публикацию отчета.

Короленко написал первую из большой серии статей о деле — «К отчету о мултанском жертвоприношении». Она появилась в одном номере с началом отчета. «Мы, составители отчета, — писал в статье Короленко, — обращаемся за помощью ко всей русской прессе. Пусть юристы оценят вероятность улик, пусть врачи и этнографы разберут изумительную экспертизу, послужившую к обвинению вотяков в каннибализме... Мы всеми силами души взываем к расследованию этого дела от начала до конца!»

«Расследование, расследование! — восклицает писатель. — Пусть будут проверены все материалы этого дела, все способы, какими они собирались, пусть будут выслушаны до конца эти несчастные вотяки, которые фактически лишены были до сих пор свободы защиты против самого тяжелого из обвинений, какое только человек может предъявить против своего ближнего... Света, как можно больше света на это темное дело...»

Одна за другой с осени 1895 года появляются в газетах и журналах статьи Короленко по мултанскому делу. Он ничем больше не занимается. Он стал сейчас юристом, этнографом, историком, он изучает материалы по истории удмуртов, знакомится с историей языческих жертвоприношений ряда народов, пишет десятки писем, он все сейчас подчинил одному: борьбе за невинно осужденных. Страстная натура борца с общественной неправдой проявлялась в Короленко именно в такие минуты.

В начале ноября стало известно, что цензура не пропускает в «Русском богатстве» статью «Мултанское жертвоприношение». Короленко тотчас выехал в Петербург. Статью пришлось писать почти наново,

но она все же появилась в ноябрьской книжке журнала.

Трехнедельное пребывание в столице целиком ушло на многочисленные встречи, переговоры, хлопоты, связанные с предстоящим судом. Короленко виделся с А. Ф. Кони, обер-прокурором уголовно-кассационного департамента сената, редактором журнала «Вестник Европы» К. К. Арсеньевым, председателем Юридического общества И. Я. Фойницким и другими учеными, юристами, общественными деятелями.

Статья Короленко о мултанском деле произвела на общество огромное впечатление. О деле заговорила теперь вся передовая пресса, им заинтересовались столичные и провинциальные ученые, врачи, юристы, журналисты, этнографы. Даже канцелярия царя просила прислать материалы медицинской экспертизы. Борьба за мултанцев приняла именно те формы, в которые и хотел облечь ее Короленко.

Стали появляться статьи и исследования специалистов и знатоков удмуртского быта. Этнографы П. М. Богаевский, С. К. Кузнецов, П. Н. Луппов, В. М. Михайловский, медики Э. Ф. Беллин, Ф. А. Патенко, К. И. Амтсберг и многие другие представители ученого мира России безоговорочно высказались в своих работах против обвинения удмуртов в каннибализме. Петербург, Москва, Казань, Харьков, Томск, Вятка, Нижний Новгород откликнулись на статьи Короленко.

В середине февраля писатель выступил с докладом в Антропологическом обществе при Военно-Медицинской академии.

— Я простой прохожий, — говорил Короленко, — случайно увидевший людей, заваленных горой. Это гора предрассудков и предубеждений. Я хочу, я пробую разрыть эту гору, но только невооруженными руками.

В зале стояла тишина. Лишь раздавался негромкий голос Короленко:

— Я не беспристрастен, я живо заинтересован в судьбе этих людей, а свет на это темное дело мо-



Дома кустарей на Фроловой горе в селе Павлово. Рисунок В. Г. Короленко 1885 года.

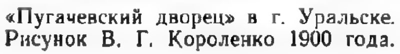


Палаты скупщиков в селе Павлово. Рисунок В. Г. Короленко 1895 года.



Столовая для голодающих в деревне Пралевке Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Фото 1892 года.





«Пугачевский дворец» в г. Уральске. Рисунок В. Г. Короленко 1900 года.

Авторская правка повести «Без языка» («Русское богатство», 1895 г.) в период подготовки ее отдельным изданием в 1902 году.



«Божий домик» — место казни разинцев близ г. Арзамаса. Рисунок В. Г. Короленко 1890 года.

жет пролить, рассеять этот кошмар может только беспристрастная наука! Я решительно заявляю, что мултанское дело — симуляция под вотское жертвоприношение и обвиняемые к нему совершенно не причастны!

Аудитория выразила Короленко свое искреннее и горячее одобрение шумными и продолжительными аплодисментами. Овация не стихала и на улице, куда присутствующие вышли провожать писателя.

В эти дни и месяцы борьбы за невинно осужденных Короленко не покидала уверенность в победе. «Поборемся, — писал он жене, — я чувствую, как во мне закипает моя молодость!»

Обер-прокурор против обер-прокурора

На всех разбирательствах мултанского дела имя могущественнейшего обер-прокурора Святейшего синода Победоносцева не было, разумеется, упомянуто, но тень его присутствовала на них незримо — тень мрачного, непримиримого душителя свободы.

Мултанское дело — если бы обвинителям удалось доказать виновность удмуртов — как нельзя лучше подтвердило бы тезис Победоносцева, что только крутые правительственные меры приемлемы для «обуздания» «темных и кровожадных язычников-каннибалов», ибо общение с русским народом в течение нескольких столетий не оставило никакого следа в них, и накануне двадцатого столетия они приносят человеческие жертвы своим страшным богам.

12 ноября 1895 года Короленко посетил в Петербурге Анатолия Федоровича Кони.

Кони, один из выдающихся судебных деятелей России пореформенной поры, был человеком незаурядных способностей, большого благородства, независимым в своих взглядах. 24 января 1878 года, в тот день, когда Кони получил пост председателя столичного суда, прозвучал выстрел Веры Засулич в Трепова. Правящие круги, уверенные в том, что приговор присяжных будет обвинительным, решили

на этот раз не выносить дела в особое присутствие. Спустя два месяца суд присяжных под председательством Кони вынес Засулич оправдательный вердикт. Столь неожиданный исход дела был отнесен на счет «либерального поведения» председателя суда, который в своем напутственном слове присяжным мастерски собрал все факты, могущие послужить к оправданию подсудимой. На время карьера Кони прервалась, и только с 1885 года он продолжил службу на посту обер-прокурора уголовно-кассационного департамента сената.

Долго рассказывал Короленко во всех подробностях о деле, о процессе в Елабуге.

— Все, что вы мне поведали, Владимир Галактионович, — сказал Кони, — предельно интересно и важно, это, как говорим мы, юристы, вновь открывшиеся обстоятельства, и сенат не вправе пройти мимо них. Мы потребуем нового пересмотра дела. Что же касается вашего желания выступить защитником, то я не вижу причин, могущих помешать этому. В добрый час!

— Кто знает, — задумчиво говорил Кони, — может быть, истоки этого дела надо искать в одном событии из нашей недавней истории... 8 марта 1881 года, через неделю после того, как бомба Гриневицкого освободила трон новому царю, состоялось заседание Государственного совета. И вот со своего кресла встал обер-прокурор синода. Бледный, взволнованный, дрожащий, он вдруг воздел руки, и все содрогнулись, услышав пронзительный вопль: «Finis Rossiae! Конец России!» И принялся в истерическом тоне бранить все учреждения, которые казались ему «красными». «Что такое конституция? — кричал Победоносцев. — Орудие всякой неправды, источник всяких интриг». «К чему привело освобождение крестьян? К тому, что исчезла надлежащая власть, без которой не может обойтись масса темных людей... Бедный народ, предоставленный самому себе и оставшийся без всякого о нем попечения, стал пить и лениться на работе...» Царь одобрительно кивал, мракобесы ликовали. Но Победоносцев не смотрел

на них — его расчет был верен. За стеклами очков металось выражение злобного торжества. Ведь в случае успеха Победоносцев получал от царя власть первого министра и полную свободу действий на все дела, подобные мултанскому делу. «Что такое новые судебные учреждения?» — спрашивал он и отвечал: «Новые говорильни адвокатов, благодаря которым самые ужасные преступления, несомненные убийства и другие тяжкие злодеяния остаются безнаказанными...» Он добился своего: его влияние на Александра III, а теперь на молодого царя, безгранично, и вот мы стали свидетелями факта, как вотяки вдруг объявлены каннибалами. Так завтра вдруг станет известно, что в России существуют антропофаги...

— Нет, — твердо сказал Короленко, — этому не бывать! Надо вырвать из их лап этих несчастных и реабилитировать вотский народ. Я лично настроен очень воинственно. Опояшемся же мечами и — в бой!

Они обменялись крепким рукопожатием, и Короленко уехал.

22 декабря, когда он уже был в Нижнем, при большом стечении публики состоялось рассмотрение сенатом новой жалобы неутомимого защитника мултанцев Дрягина. Заключение по делу давал Кони.

Сенат, признав существенное нарушение судом в Елабуге прав защиты, отменил его приговор и решение присяжных и постановил дело передать для нового рассмотрения в Казанский окружной суд, данному же составу присутствия сделал замечание.

Вторичная отмена обвинительного приговора наделала много шума в официальных сферах. При первой же встрече с Кони министр юстиции Муравьев выразил ему свое недоумение и неудовольствие из-за излишне строгого отношения сената к допущенным судом нарушениям. Всесильный Победоносцев не мог примириться с возможностью оправдания удмуртов и ясно дал понять Муравьеву, что синод прямо заинтересован в их обвинении.

Вовлеченный Короленко в активную борьбу за мултанцев и в конечном счете в борьбу против про-

произвола и мракобесия царского суда, правящей клики во главе с Победоносцевым, Кони оказался одним из немногих, если не единственным, человеком из среды высшей судебной бюрократии, который осмелился открыто и мужественно отстаивать демократические начала в царском бессудном судилище.

Лагерная стоянка в Мамадыше

В начале января 1896 года Короленко переехал в Петербург, а в мае перебралась туда и вся семья писателя. Но недолго пришлось ему побыть с близкими. 14 мая он отвез жену и дочерей на дачу в Куоккалу, а уже через неделю отправился на третье разбирательство мултанского дела в Мамадыш. С тяжелым сердцем Владимир Галактионович оставлял семью — была больна девятимесячная Оля.

В Москве писатель услышал о страшном несчастье, которое произошло здесь три дня назад, 18 мая, на Ходынском поле, во время празднеств по случаю коронации Николая II.

Мамадыш оказался таким же глухим и захолустным городом, как и Елабуга. Почти половина его жителей была неграмотна. Зато, как и в Елабуге, полный простор самым невероятным слухам.

Номеров в городе не оказалось, пришлось всем защитникам снять квартиру. Вообще характерной чертой третьего процесса явилось усиление защиты. Она была теперь представлена не одним Дрягиным. Ему на помощь пришли Короленко, присяжный поверенный из Казани П. М. Красников, известный петербургский адвокат Н. П. Карабчевский. Дрягин взял на себя фактическую часть дела, Красников — судебно-медицинскую, Короленко — этнографическую. Объединяющая роль досталась Николаю Платоновичу Карабчевскому, за что он и получил от писателя прозвище «бодзим-восясь» (главный жрец). Хотя защите было отказано в вызове экспертов, это не помешало приехать ученым из Харькова, Томска и других городов. Маленькую колонию сторонников

мултанцев, обосновавшуюся здесь в тревожные, полные борьбы дни процесса, Короленко любовно называл мамадышской лагерной стоянкой. Приехали на суд журналисты, юристы, врачи из Казани и Нижнего. Приехали удмурты из ближних и дальних сел и деревень. Забитые, неграмотные, полные тревоги за исход дела, эти люди понимали, что в случае третьего обвинительного приговора торжествующая полиция, судейские, попы — все начальство — навсегда приклеят им ярлык каннибалов, человекоубийц.

Маленькая колония готова была дать бой.

«Нет, не виновны!»

28 мая. 9 часов утра. Тесное помещение уездного съезда переполнено. Судьи в мундирах, с цепями на шеях. Около главного обвинителя Раевского еще один прокурор — он будет выступать специально против Короленко по этнографической части дела. За ним сидит сам прокурор Казанской судебной палаты А. А. Чернявский, а перед ним знакомая писателю книжка в темном переплете — отчет трех корреспондентов о суде в Елабуге. Прокурор специально командирован на процесс министром юстиции — Петербург явно встревожен перспективой оправдания мултанцев.

За перегородкой подсудимые: серые арестантские халаты, серые, измученные лица, и в глазах — недоумение и смертельная тоска.

Столик защитников. Короленко первый раз в жизни приходится наблюдать судебную процедуру со скамьи защиты.

Он очень волнуется и очень озабочен тем, чтобы это волнение никто не заметил.

С тетрадочками и записными книжками в руках примостились на своих скамьях корреспонденты. Две стенографистки, приглашенные защитой, приготовили карандаши.

Чаще всего Короленко поглядывает на присяжных. Двенадцать сфинксов. Особенно зловещим ка-

жется ему огромный сельский торговец. Этот явно имеет готовое решение — «закатать».

Присяга. Священник призывает свидетелей содействовать суду, «не увлекаясь ни дружбой, ни родством, нижé ожиданием выгод».

Начинается судебное заседание.

Выступают нескончаемо длинной чередой свидетели обвинения — приставы, урядники, земский начальник, старосты, десятские, сотские. Бойко, гладко, заученно, как и в Елабуге, выпаливают они свои показания. Прокурор судебной палаты следит по отчету. Все сходится почти слово в слово. Свидетели хорошо выучили заданное. Чернявский откладывает книжку.

Урядник Жуков пересказывает содержание проповеди священника Тукмачева, в которой тот якобы упрекал свою паству — удмуртов — в убийстве нищего. Присяжные негодуют. Защита просит допустить Тукмачева: он в Мамадыше. У Короленко в кармане его письмо с опровержением показаний Жукова. Тукмачев, более сорока лет проживший среди удмуртов, — единственный из местного духовенства, кто осмелился не поверить в их вину. Защита просит позволения представить письмо старого священника. Председатель суда В. Р. Завадский наклоняет свою седеющую голову направо к одному из судей, потом налево к другому. Защите в просьбе решительно отказано.

Карабчевский спокоен. Его вопросы свидетелям сразу сбивают с них уверенность, они начинают путать, грубить. Карабчевский так же спокойно просит занести все это в протокол. Короленко, наоборот, горячится, — тогда он чувствует, как «бодзим-восясь» легонько дергает его.

На второй день суда защите удалось разоблачить полицию и ее методы ведения следствия.

Ночами Короленко почти не спит. Дорого обходится боевому адвокату эта борьба. Но настроение все подымается, усталости как будто и не чувствуется. Часто по ночам Карабчевский слышит

его шаги в соседней комнате, отделенной тонкой перегородкой.

— Владимир Галактионович, спать надо! — кричит он.

Стук сапог в комнатушке писателя прекращается, он разувается и продолжает ходить в одних носках. Ходит долго, напряженно размышляя, ищет новых способов борьбы в этом трудном и непривычном для него состязании. А наутро опять заседание, и защитник Короленко занимает свое место в дружной четверке.

И понемногу гнилые нитки, которыми более четырех лет пытались скрепить мултанское дело, расползались.

На четвертый день стала всем ясна гнусная и жалкая роль эксперта Смирнова. Короленко не без пользы тщательно проштудировал его книгу об удмуртах. Смирнов привел неверную цитату. Короленко потребовал указать ее источник. Профессор долго искал нужное место и не нашел. В голове Короленко словно загорелась какая-то лампочка (так он объяснял потом свое состояние), и он засыпал Смирнова цитатами из его же книги — прямо наизусть, с указанием страниц.

Блестящий анализ дела сумел дать эксперт Верещагин. Сам удмурт, глубоко знающий обычаи и верования родного народа, Верещагин горячо и решительно, со слезами на глазах, отрицал какую бы то ни было возможность у удмуртов человеческих жертвоприношений. И все присутствующие были поражены страстностью его выступления, ясностью и силой его доказательств.

В комнату защитников впервые за время процесса зашли прокурор палаты и председатель суда. Ветер явно менял направление. Но Короленко, едва взглянув на присяжных, вновь и вновь задумывался: «Сфинксы, сфинксы...»

В начале процесса писатель, возмущенный поведением председателя, несколько раз порывался в знак протеста покинуть зал. Опытный Карабчевский в этих случаях хватал горячего и неопытного товарища «за фалды». Они долго спорили.

— Не могу выносить таких надругательств над людьми, над истиной, не могу! — шагая по комнатушке защитников, говорил Короленко.

Карабчевский, огромный, уверенный, спокойный, урезонивал:

— Владимир Галактионович, дорогой мой, поймите одно: ваш уход обрадует эту свору с цепями на шеях, а нашим подзащитным только навредит. Наконец, уйти вы всегда успеете. А уйдя, уже вернуться нельзя будет.

Короленко остался и вскоре понял, что гнусное, явно пристрастное поведение председателя даже помогло подсудимым. Понял это и председатель — и поспешил изменить тон.

Судебное следствие закончено. Утром 2 июня начались прения сторон.

Длинная речь прокурора была прервана только однажды. В раскрытое окно влетел белый голубь и словно внес в душный, мрачный зал частицу синего неба, яркого солнечного света — жизни, побеждающей тьму и ложь. Голубь покружил над подсудимыми, над опешившим Раевским и — улетел прочь.

Театрально повышая и понижая голос, Раевский рисовал картину, как Матюнина вели в шалаш, подвешивали, кололи. Кровь лилась, как из водопроводной трубы...

— Господа присяжные! — закончил прокурор речь. — Своим обвинительным приговором вы заставите общество обратить внимание на эту темную массу, для которой так важно и необходимо просвещение, вы заставите внести свет в эту среду, которой так необходимо христианское учение; своим обвинительным приговором вы смоете с подсудимых оставшуюся на них кровь невинной жертвы.

Этому лживому казенному пафосу защита противопоставила свое оружие — факты и горячую уверенность в полной невиновности подсудимых.

После речей защитников Дрягина и Красникова выступает Короленко.

— Я не профессиональный адвокат, — разносится в тишине зала звучный, проникновенный голос

Владимира Галактионовича, — я не юрист и выступаю в первый раз в жизни защитником, единственно из полного убеждения невиновности этих подсудимых. Может быть, я взялся не за свое дело, может быть, по временам своей горячностью и несдержанностью я мешал спокойному течению процесса, за что и приношу свои извинения, и вы поставьте это в вину мне, а не переносите на людей, которых я защищаю с глубоким убеждением в их невиновности.

Стенографистки, корреспонденты торопливо записывают, боясь проронить хоть слово.

Заканчивая речь, Короленко указывает на массу противоречий и нелепостей обвинительного акта:

— ...И такое дело четыре года слеплялось из кусочков!.. Дайте мне двух таких господ, как следователь, пристав Шмелев, пять его помощников и семейку лжесвидетеля Мурина, и я берусь доказать не в четыре года, а в два месяца, что ведьмы летают на помеле, и покажу вам старика, который видел все это собственными глазами!

— Вся Россия потрясена мултанским делом, — предупреждает писатель. — Взвесьте все, что здесь слышали, и — берегитесь, чтобы своим обвинительным приговором не принести в жертву этих семерых подсудимых.

Речь потрясла слушателей. Во время перерыва с комплиментами подошел даже прокурор палаты:

— Если бы наш суд почаще слышал такие речи, то он бы не развратился до такой степени, как теперь...

Затем выступал Карабчевский и беспощадно громил обвинение.

Еще раз обвинители пытались увлечь присяжных. Тогда Карабчевский и Короленко выступили вновь. Опять загремел могучий голос петербургского адвоката, потом раздался глубокий, страстный голос Короленко.

Со слезами на глазах говорил он свою последнюю речь. Она не записана никем: корреспонденты, стенографистки отложили свои тетрадки, бросили карандаши — такова была сила этой речи.

Волнение не давало писателю говорить. Он хотел прочитать трогательную удмуртскую молитву, обращенную не к злому духу Курбону, а к богу.

— Послушайте, послушайте, господа, что́ в этой молитве говорится! Темный, забитый вотяк нашел единственную инстанцию, куда мог он апеллировать без страха за свое земное существование. «Великий боже! Избавь нас от длинных рук взяточников и длинных языков клеветников. Мы, как маленькие дети, ничего не знаем, ничего не понимаем...»

Больше Владимир Галактионович говорить не мог — он заплакал и быстро вышел из зала. Потрясены были все — публика, присяжные, даже судьи. Несколько минут длилось молчание.

Эта речь была последней.

Встал председатель с напутственным словом присяжным. Они получили вопросный лист и вышли.

Все обитатели лагерной стоянки пошли на квартиру защитников. Сидели. Молчали. Ждали.

Прошло полчаса, сорок минут, пятьдесят. Вот бежит сторож из суда: «Пожалуйте, скоро выйдут...»

Гуськом входят присяжные и становятся тесной группкой. Старшина читает приговор:

— Виновен ли такой-то в том, что в ночь на 5 мая 1892 года...

Все замерли. Страшный миг, а за ним либо огромное горе, либо огромная радость.

— Нет, не виновен! — слышат все окрепший голос старшины.

Чей-то слабый вскрик. И семь раз в сердцах отзывается: не виновен, не виновен...

Аплодисменты. Поздравления. Слезы. К Короленко проталкивается прокурор палаты.

— Уж я этих подлецов полицейских не выпущу из рук...

Освобожденные из-под стражи мултанцы целуют руки своих защитников. Восьмидесятилетний Акмар схватил руку Короленко и не выпускает:

— Бога, бога даст, даст бога!

Незнакомые люди окружили «сфинксов» — присяжных.

У ворот суда большая толпа русских и удмуртов, местных и приезжих, у всех радостные, праздничные лица. Кровавый кошмар, наконец, рассеялся. Во все концы России понеслись из Мамадыша телеграммы: «Оправданы! Оправданы!»

Спустя полчаса после того, как конвойный громыхнул об пол прикладом и отошел в сторону, давая обвиняемым свободу, семеро удмуртов пришли на квартиру защитников. Акмар, маленький, седенький, с наивными, как у ребенка, глазами, уже переодетый из арестантского халата в домотканый кафтанчик, подошел к Владимиру Галактионовичу, обнял его и долго гладил сморщенной старческой рукой плечо своего избавителя, а из глаз лились, не переставая, слезы.

А еще позже из окна своей комнаты Короленко и Карабчевский увидели одного из «сфинксов», тех, кого им удалось переубедить. Пять дней этот присяжный сидел на своей скамье, уперев руки в колени, разостлав по груди волнистую русую бороду, неподвижный, враждебный, наперед уверенный, что удмурты «замолили» нищего. Только на шестой день он «сдвинулся», стал что-то понимать по-иному.

Голубоглазый богатырь, увидев защитников, снял шапку, отвесил глубокий поклон и, подавая в окно свою огромную руку, сказал:

— Ну, спасибо, господа! Вот я поеду к себе в деревню, расскажу. Ведь я, признаться сказать, ехал сюда, чтобы осудить вотяков. О-осудить, и кончено. Из деревни наши провожали. Ну, выпили, конечно (он и сейчас, на радостях, был слегка выпивши). Соседи и говорят: «Смотри, брат, не упусти вотских. Пусть не пьют кровь». — Провел широким жестом по своей груди и сказал, прощаясь: — Теперь сердце у меня легкое.

После второй речи, еще до объявления приговора, Короленко подали телеграмму из дому. Там не было слова «смерть», но он понял, что все кончено: Оли нет. (Девочка умерла 29 мая.)

Последние трое суток Короленко спал не более трех часов. Резкая бессонница была вызвана колос-

сальным нервным напряжением и темным предчувствием неизбежного семейного горя. Трудно сказать, что было бы с ним, если бы мултанцев не оправдали. Теперь же его личное несчастье утонуло в громадной волне радости за семерых неродных и незнакомых людей.

7 июня Владимир Галактионович приехал в Нижний, а оттуда поспешил к семье в Петербург.

Вопреки «видам правительства»

Хотя процесс окончился победой правды и справедливости, Короленко не считал, что на этом можно прекратить борьбу. Тем более, что в зарубежной прессе уже появилось несколько искаженных сообщений о деле. «...Во время большого русского голода несколько вотских крестьян принесли в жертву злому духу Курбону человека», — сообщали английские газеты. После вторичного обвинения мултанцев эту версию повторили уже десятки газет, «злой дух Курбон» проник даже в доклады ученых.

Лондонские фольклорное и антропологическое общества, некоторые ученые в Германии и других странах признали изгнанника из России, «усыновили» его, и в научных трудах, отчетах, в статьях прессы «злой дух Курбон» надолго свил себе уютное гнездышко.

Виновные за мултановское дело не понесли никакого наказания. Прокурор Раевский даже получил повышение и был переведен в Петербург, в министерство юстиции; «подвиги» пристава Шмелева подошли под амнистию; урядники-истязатели к суду вовсе не привлекались. Короленко собирался бороться за полное разоблачение изнанки дела — полицейской инквизиции, высшей администрации, покровительствовавшей и покрывающей суд и полицию. Только болезнь помешала писателю осуществить это намерение.

В свою очередь, реакция тоже не хотела признавать свое поражение. Незадачливый эксперт

Смирнов попытался выступить в печати. Однако и здесь его постигла неудача. Даже реакционная пресса не решилась его поддержать — так сильно скомпрометировал он себя в глазах общества.

Противники Короленко искали другие кандидатуры для диверсии.

И вот осенью 1898 года реакция нашла то, что искала. 28 октября «Новое время» радостно сообщило своим читателям: «...Уже после этого первого очерка отца Блинова трудно сомневаться в том, что вотяки приносят людей в жертву богу Будде, или Булде».

Человек, которому поспешила поверить газета, был вятским священником. Блинов утверждал, что человеческие жертвоприношения у удмуртов — реальность. «Факты, сообщенные отцом Блиновым, — подхватили версию «Московские ведомости», — весьма красноречивы, и надо удивляться только стараниям нашего либерализма закрывать глаза на всякие преступления, если только они совершаются инородцами...»

Пока шла борьба вокруг мултанцев и сторонники обвинения одолевали, церковь не выказывала своего отношения к делу. Это было зловещее молчание — молчание настороженное, выжидающее, таившее в себе скрытые угрозы. Церковь ждала эпилога: если мултанцев осудят — ее молчание будет золото, оправдают — она заговорит.

Мултанцев оправдали.

Тогда церковь в лице попа-изувера Блинова выступила с «новыми фактами», которые должны были, вопреки приговору, доказать наличие каннибализма у удмуртов.

Блиновскую диверсию Короленко расценивал как теорию той практики, которой держались полиция и судебные власти в деле мултанцев. Две статьи Короленко по поводу запоздалых клевет «ученого попа» сделали свое дело — Блинов вынужден был замолчать.

После убедительной победы в Мамадыше реакции оказалось не под силу вновь раздуть дело. Небыли-

цам об инородцах никто уже не верил. «Здесь дело нечисто», — отзывались крестьяне на новые попытки создать ритуальные дела. И только полиция и духовенство были тверды и последовательны в поисках все новых способов и путей клеветы на удмуртский народ. Полиция — из желания выслужиться перед начальством, церковь — из усердия перед своим «черным папой», обер-прокурором Святейшего синода Победоносцевым.

Министр юстиции Муравьев требовал от суда, чтобы он согласовал свою деятельность с «видами правительства». В мултанском деле это предписание было нарушено отнюдь не по воле подведомственных Муравьеву чиновников — в дело вмешалась прогрессивная общественность России, поднятая Короленко на борьбу с произволом и реакцией.





IX. РУБЕЖИ СТОЛЕТИЙ

Какие ж сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?

. . . .

Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Грозя Артуром и Цусимой,
Грозя девятым января...

А. А. Блок

«Человек создан для счастья, как птица для полета!»

Весенним днем 1894 года Короленко написал небольшой рассказ «Парадокс». Написал почти без помарок, не отрываясь, целиком захваченный замыслом.

Он и сам был удивлен этим неожиданным результатом всего, что пришлось пережить ему в связи с трагической смертью дочери, не дождавшейся его возвращения из Америки... Он чувствовал себя изломанным, разбитым, ничтожным. И все же он в тот момент, как и всегда, верил, что жизнь — в самых

мелких и самых крупных своих явлениях — выражение общего великого закона, главные, основные черты которого — добро и счастье. Своего счастья в то время не было, было тяжкое горе. Ну что же, это исключение не опровергало правила. Нет своего — есть чужое, а все-таки *общий закон жизни — стремление к счастью и все более широкое его осуществление.* И недаром русская жизнь дает все новые и новые доказательства, что все должно измениться к лучшему. Россия стоит перед какими-то неведомыми, грозными, бурными, но очистительными рубежами. Если нельзя прийти к счастливой, светлой, творческой жизни мирным путем, да грянет революционная гроза!

Люди нуждаются в лозунгах веры, которые часто становятся лозунгами борьбы. Человек создан для счастья!

...Маленький рассказ. О незаметном событии. Нечто близкое к описываемому произошло в детстве Короленко. В городке появился обиженный природой безрукий феномен, озлобленный, желчный, но знающий то, что, быть может, чувствовали, но не могли высказать другие:

«Человек создан для счастья, как птица для полета!»

Сорок лет назад это звучало парадоксом. «Человек» и «счастье» — что между ними общего?! Счастье не было создано для человека.

Прозвучит ли это парадоксом теперь? Нет! Короленко знал, что нет, и — не ошибся. Вся образованная Россия подхватила четкую, страстную, зовущую вперед формулу, приняла ее и оставила себе — для веры, для новых поисков, для борьбы. И то, что этот призыв бросил любимый писатель, надежда и гордость передовой России, дало призыву особую, кристальную чистоту и ясность, особую, выпрямляющую силу. Входило в жизнь новое поколение, страстно ищущее новой веры и новых идей, и одним из первых, обретенных с самых ранних сознательных лет был призыв, лозунг, клич:

«Человек создан для счастья! Создан для счастья, как птица для полета!»

В условиях России, пробуждающейся к новым схваткам с самодержавием, — и оппозиционной и пролетарской России — это звучало лозунгом борьбы.

«Человек создан для счастья, как птица для полета!»

«В Нижнем я — корреспондент и горжусь этим званием»

23 мая 1895 года Короленко был объявлен одним из официальных издателей журнала «Русское богатство».

Для участия в редактировании журнала в Петербург переехал Анненский. Короленко тоже приступил к сборам, но помешало мултанское дело.

Нет, не хотелось Короленко покидать Нижний, которому были отданы одиннадцать лучших лет жизни и творчества. За год до появления его имени в журнале в качестве соиздателя он сделал неудачную попытку приобрести в Нижнем «свою» газету. Короленко, Протопопов и В. А. Горинов, местный общественный деятель, образовали триумвират с целью издания газеты «Волжское слово», которая, по замыслу, должна была бы представлять не только Нижний, а все Поволжье. Протопопов и Горинов вносили свой пай деньгами, Короленко — трудом редактора-издателя.

Но тут, как и во всякое дело, связанное с именем Короленко, вмешалось начальство — жандармы, полиция, высшие сферы, — и в просьбе было резко и решительно отказано. После отказа писатель уже не колебался — переезд был решен.

Чествовать уезжающего Короленко 6 января 1896 года собралось множество прогрессивно настроенных нижегородцев. «Были почти все лица, состоящие под негласным надзором», — меланхолически сообщалось в последнем донесении о писателе местного жандармского управления.

На прощальном банкете говорили теплые речи, читали прощальные стихи. Короленко был взволнован, растроган, смущен.

К нему подходили, чтобы чокнуться бокалом шампанского и сказать слова любви и уважения, скромные сельские учителя, врачи, земцы, адвокаты, друзья и малознакомые люди. Вот Владимир Галактионович поднялся, обвел долгим прощальным взглядом сидящих за столами примолкших людей и улыбнулся тепло и лукаво.

— Говорят, провинция затягивает — сказал он, — говорят, здесь люди спиваются и не знают других интересов, кроме карт и вина. Правда, и теперь я стою со стаканом вина, но все же думаю, что не подвергался с этой стороны особенной опасности. Тем не менее скажу и я: да, провинция затягивает! Не картами и вином, а проснувшимися в ней живыми местными интересами! Жизнь — всюду! Есть жизнь и в столицах — кипучая и интересная! Но тут есть одна черта существенного отличия: то, что в столице является по большей части идеей, формулой, отвлеченностью, — здесь мы видим в лицах, осязаем, чувствуем, воспринимаем на себе. Поэтому поневоле то самое, что в столице является борьбой идей, здесь принимает форму реальной борьбы новых лиц и явлений... Да, это затягивает, и именно потому, что это так живо, и в особенности потому, что оно особенно живо именно в последние годы. Это затягивает в такой степени, что еще совсем недавно я стоял на распутье, выбирая свою дальнейшую дорогу.

Короленко помолчал, а когда снова заговорил, в голосе прозвучала печаль:

— В Нижнем я — корреспондент и горжусь этим званием. Если бы удалась попытка моя и моих друзей относительно газеты, я стал бы окончательно работником провинциального печатного слова... Во всяком случае, что бы ни было со мной дальше, нижегородской полосы я уже никогда не вычеркну из своей жизни и, поверьте искренности моих слов, всегда буду дорожить живой связью с провинцией вообще, с нижегородским Поволжьем — в частно-

сти. Ваше здоровье, господа, и за весну в провинциях!

Когда обед кончился, все стали по обеим сторонам лестницы и проводили писателя громкими аплодисментами. А Короленко шел по живому коридору, невысокий, плотный, такой знакомый и близкий всем, и чудесным блеском сияли навстречу людям удивительные глаза его.

Когда Владимир Галактионович одиннадцать лет назад приехал в Нижний, здесь было лишь несколько человек литераторов, теперь их насчитывается уже около трехсот. В подавляющем большинстве это люди, настроенные оппозиционно к самодержавию, слетевшиеся на огоньки, зажженные Короленко и его друзьями на алтаре борьбы с произволом и насилием, во имя интересов трудовых людей России.

Современники считали, что с отъездом Владимира Галактионовича для Нижнего кончилось «время Короленко» и началось «время Горького».

Особая позиция писателя Короленко

Короленко и Николай Константинович Михайловский числились в цензурном ведомстве только официальными *издателями* журнала — департамент полиции не разрешил иметь редактором «неблагонадежного» литератора.

С Михайловским Короленко сотрудничал еще в журнале «Северный вестник». Он особенно ценил в Николае Константиновиче прямодушного, смелого бойца, готового сразиться с любым врагом, попиравшим принципы, в которые он сам непоколебимо верил. И хотя Михайловский не стал для Короленко таким добрым другом, как были Анненский, Григорьев, Богданович, Елпатьевский, но Михайловского и Короленко крепко связала совместная работа в «Русском богатстве».

Как истый народник, Михайловский под народом разумел главным образом крестьянство и слу-

жение этому народу всегда считал истинной задачей интеллигенции.

С появлением на российской общественной арене марксистов Михайловский вступил с ними в ожесточенную борьбу — в защиту народнических принципов.

При всем огромном уважении к Михайловскому Короленко не разделял его народнических взглядов, более чем сдержанно относился он и к завязавшейся полемике с марксистами.

Отрицательное отношение писателя к эпигонам «теперешнего жалкого и захудалого народничества» определилось уже ко второй половине 80-х годов. Он не мог понять, за что правительство преследует народников: «народничество» — какое страшное слово и какая безобидная сущность. Одни народники во главе с Южаковым доказывают, что Россия — «государство, построенное по мужицкому типу», призванное якобы защитить мир от «всесветного капитализма». Другие вопиют о «непротивлении». Третьи, как Воронцов, на все лады повторяют, что судьба России — быть без капитализма. Златовратский радуется, что его сердце бьется в унисон с сердцем мужика и зовет «рыдать в народе». Газета «Неделя», в свое время обвинявшая Глеба Успенского в клевете на «народ», в измене «заветам», теперь шлет проклятия конституции и стоит за самодержавие. Бывший петровец Виктор Пругавин выводит генезис государственного строя из общины и утверждает, что развившееся из оной государство — чуть не идеально... С этими господами ему, Короленко, не по пути.

Решительный разрыв Короленко с эпигонами народничества и особая его позиция нашли отражение в рассказе «Художник Алымов». Адвокат и художник Алымов расстался с народническими иллюзиями в отношении «меньшого брата». Однако когда начинаются нападки на народ прямых реакционеров и ренегатов из числа вчерашних народников, Алымов выступает в его защиту. Выход из этой двойственности автор видит в необходимости обрести ка-

кие-то иные жизненные пути и верования и на них утвердить новое отношение к народу. Какие это будут «твердые основания», на которых сойдутся «старший» и «меньшой» братья, Алымов не знает. Но, во всяком случае, дороги назад, к народническим заблуждениям, для него нет. (Рассказ, написанный в 1896 году, не удовлетворил писателя и напечатан им не был.)

В начале 1897 года Короленко снова посетил Павловский кустарный район. Он окончательно убедился, что народнические упования на кустарную артель, как на средство спасения от капиталистической эксплуатации, бессмысленны. В кустарное село ворвалась, вопреки народническим иллюзиям, новая сила в лице стяжателей-скупщиков, оголтелых представителей первоначального накопления. Перерабатывая в 1897 году «Павловские очерки» для отдельного издания, писатель — опять-таки наперекор мнению народников — высказался за фабричное производство, считая его более выгодным для народа, чем кустарное.

Очень внимательно следил Короленко за разгоревшейся полемикой Михайловского с марксистами. Правительство закрывало органы марксистов, и подчас им просто негде было отвечать на громовые, но нередко голословные обличения Михайловского в «Русском богатстве». Однако это не мешало Михайловскому и его сторонникам яростно нападать на своих противников, приписывать им отказ от традиций «наследства», стремление к примирению с капитализмом, отказ от активности в общественной борьбе.

В противоположность Михайловскому Короленко сумел увидеть, что в марксизме есть два течения: легальное, по отношению к которому упреки Николая Константиновича, пожалуй, справедливы, и боевое, революционное, крепнущее в борьбе. Его сторонники жестоко преследуются правительством и в отличие от Струве, Туган-Барановского и К^{с} больше пребывают в тюрьмах и ссылках, чем в столицах.

Эти революционные марксисты не могли отвечать Михайловскому и другим противникам в печати — они ответили по-иному: руководимый Лениным «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» провел в мае — июне 1896 года гигантскую стачку текстильщиков Петербурга, и она поразила всю Россию своей сплоченностью, силой, организованностью. В стачке участвовало до сорока тысяч рабочих, проходила она, по наблюдению Короленко, в замечательном порядке. После стачки трудно было обвинять марксистов в пассивном примирении с капитализмом и прочих грехах без риска быть осмеянным.

В эти годы (1896—1898) Короленко пришел к выводу, что марксизм — явление живое, интересное и что его сторонники заставляют очень многое пересмотреть заново. Короленко и Анненский заняли в «Русском богатстве» особую, отличную от остальной редакции позицию, которую сам Короленко в письме к Григорьеву назвал «оттенком, стоящим ближе к марксизму». Оба друга часто не соглашались с Михайловским по целому ряду пунктов его полемики и старались отстоять свою точку зрения. Касалось это по преимуществу беллетристического отдела, которым руководил Короленко. Однако нетерпимость руководителя «Русского богатства», граничащая с деспотизмом, сильно усложняла отношения, и, чтобы не доводить дела до раскола в журнале, Короленко приходилось иногда до известной степени уступать Михайловскому.

Когда И. И. Сведенцов, писавший под псевдонимом Ивано́вич, человек мрачный и свирепо настроенный по отношению к марксистам, автор скучных рассказов, прислал в 1896 году в журнал свое очередное произведение, Короленко отказался напечатать «Кошмар», представляющий, по его мнению, клевету на марксизм и марксистов.

«Полагаю, — отвечал Короленко автору, — что в русской жизни найдется много такого, с чем следует бороться прежде, чем с марксистами. А уж если бороться, то, конечно, так, как борются с явлением,

родственным по духу и истекающим из тех же побуждений, какие одушевляют и нас. Между тем по форме и исполнению очерк Ваш похож на страстный сатирический фельетон, направленный против людей, которые не могут защищаться тем же оружием».

Вскоре прислал в журнал свою новую повесть «Молох» Александр Иванович Куприн. Короленко она понравилась и была им принята к печати. Но тут вмешался Михайловский и уговорил молодого автора исключить в эпилоге сцену бунта рабочих, мотивируя это суровостью цензорских требований. В таком, урезанном, виде повесть и была напечатана.

Рассказ Горького «Челкаш» не укладывался в прокрустово ложе народнических формул об «ущербности» города, «язве пролетариатства...». Полгода тянул Михайловский с напечатанием рассказа и, наконец, уступил: Короленко отзывался о «Челкаше» восторженно.

За время, прошедшее с первых встреч Короленко и Горького в Нижнем, Горький много и плодотворно работал и как журналист и как писатель. Короленко внимательно следил за шагами его на литературном поприще, помогал советами — случалось, поддерживал и материально, содействовал в печатании произведений начинающего писателя. Он одним из первых почувствовал в молодом волжском богатыре «что-то могучее». После переезда Короленко в Петербург личные отношения прервались на несколько лет.

Осенью 1899 года, когда Горький приехал впервые в столицу, он уже был всероссийски известным писателем, стоящим близко к марксистам. Старые дружеские отношения возобновились.

Выступления Короленко в печати свидетельствовали о желании писателя объективно, честно разобраться в ряде вопросов общественной жизни, связанных с уходом с исторической арены народничества и утверждением марксистского учения.

В конце 1898 года в «Русском богатстве» Короленко опубликовал рассказ «Необходимость (Восточ-

ная сказка)», в котором выступил против сторонников «неизменных законов природы», против рабски пассивного отношения к жизни. Автор рассказа проводил мысль, что оба мудреца — и упрямый отрицатель необходимости Дарну и добродушный фаталист Пурану — не правы, ибо довели до нелепой крайности свои воззрения. В необходимости нет роковой предопределенности, свободная воля человека — вот что должно быть в жизни решающим фактором.

Несколько позднее, в статье «О сложности жизни», снабженной подзаголовком «Из полемики с «марксизмом», писатель стремился напомнить о главном, во имя чего идет борьба: «Дорог «человек», дорога его свобода, его возможное на земле счастие, развитие, усложнение и удовлетворение человеческих потребностей...» Нельзя забывать о человеке!

Появившийся в начале 1899 года очерк Короленко «На даче» (впоследствии «Смиренные») был заострен против всего жестокого, отживающего, косного, враждебного человеку, что вобрало в себя понятие «смиренье проклятое». Марксистски настроенной частью общества очерк был встречен сочувственно.

Мысль Короленко, что жизнь вплотную подошла к новым рубежам, что жить по-старому нельзя, противоестественно, нашла отражение в рассказе «Не страшное». Он был начат зимою 1901 года и напечатан два года спустя в февральском номере «Русского богатства».

Неверно, утверждал писатель, что вокруг «все разрознено, все случайно, все бессвязно, бессмысленно и гнусно». Короленко считал, что смысл у жизни есть — огромный, общий смысл всей жизни, во всей ее совокупности, и его надо искать. Ощущение это разлито в самой атмосфере российской действительности.

Одна встреча помогла писателю многое понять и осмыслить по-иному в трудные, переломные годы после переезда в Петербург.

«Proletarii din toata lumea, uniti-va!» *

В конце весны 1897 года здоровье Короленко, сильно расстроившееся после Мултана, несколько улучшилось, может быть, благодаря усиленным физическим упражнениям (зимой он катался на коньках, весною — на велосипеде). Укрепились нервы, стал лучше сон. Врачи советовали удалиться хоть на время от русских впечатлений, и Короленко согласился поехать с семьей в соседнюю Румынию — где, судя по посещению страны в 1893 году, была если не Россия, то и не заграница — здесь жило очень много русских.

10 мая Короленко с семьей приехал в Тульчу, где жил его шурин Василий Семенович Ивановский, «доктор Петр», как звали его здешние жители.

Это был всеобщий любимец, врач бедняков, лечивший их за мизерное вознаграждение, а то и вовсе даром, холостяк, бессребреник и идеалист, известный некогда в революционных народнических кругах под именем Василия Великого. Путь на родину для него был закрыт после смелого побега из Басманной части.

Но Ивановский не стал эмигрантом-бродяжкой: он осел в Румынии, с блеском сдал — уже вторично, в Бухаресте, — экзамен на звание врача.

Короленко особенно близко сошелся с «шуряком» в этот свой приезд в Румынию. Они подолгу беседовали, очень любили совершать совместные поездки по городам и селам.

Одной из самых интересных оказалась поездка на рыбные промыслы в устье Дуная.

19 мая Короленко и доктор сели на пароходик «Кармен-Сильва».

Уже начали принимать сходни, когда на палубу взбежал молодой человек в черном костюме, в котелке. У него были живые, быстрые глаза, белокурые волосы и бледное лицо горожанина, на руках разглядел Короленко черные несмываемые пятна от са-

* «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» *(рум.)*

пожной дратвы, а на указательном пальце правой руки — следы чернил.

— Домну Короленко. Домну Стерпану, — познакомил их Ивановский.

Молодой человек запротестовал, когда его назвали «домну Стериану» — господин Стериан.

— Стериан, социалист, — представился он, крепко пожав писателю руку своей сухой и твердой рукой.

Короленко уже немного слышал о нем. Стериан — руководитель местной социал-демократической группы и организатор рабочего клуба, сын румына и болгарки, природный тульчанец, сапожник, корреспондент бухарестской социалистической газеты «Новый мир». В петлице черного сюртука виден значок: две руки, соединенные в крепком пожатии, держат пылающий факел. Значок носят все члены тульчанского рабочего клуба.

В назначенные дни в зале чайной, которую для таких случаев арендует клуб, происходят собрания, и на балконе вывешивается огромное красное знамя с надписью по-румынски: «Proletarii din toata lumea, uniti-va!» — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» У дома густо собирается народ — городские мелкие лавочники, грузчики с пристани, ремесленники с магалы (предместья), греки, евреи, турки, — изредка появляются жители окрестных деревень: румынских, русских, украинских, болгарских.

С увлечением Стериан рассказывает Короленко о том, что в клубе уже более трехсот человек — представителей самых разных профессий и национальностей. Сейчас клубу трудно: против него — либеральные власти с их полицией («Господа либералы терпели нас до тех пор, пока не увидели опасности!»), против него — пассивность грузчиков, крестьян («У нас мало настоящих рабочих, господин Володя, Румыния — отсталая страна»), против него — ненависть духовных пастырей.

Стериан, однако, не падает духом. Он рассчитывает, что времена вскоре изменятся. Три года назад им удалось организовать большую стачку грузчиков

по всему дунайскому берегу. Начались полицейские преследования. Теперь Стериан все чаще задумывается о возможностях работы в деревне, где бесправие особенно сильно.

Жадный до новых людей, Короленко очень заинтересован и внимательно вглядывается в Стериана. Во внешности его ничего нет особенного — бледный цвет лица, прокуренные желтоватые зубы, впалая грудь. Особенных знаний тоже не заметно, хотя, повидимому, он неглуп и читал немало. Писатель решает, что социалист держится так уверенно потому, что осознает себя действующей силой. Это больше «сила вещей», чем личная сила. Это вера в свою идею, еще молодую, неокрепшую, но уже осознавшую себя силой. Это — Короленко ищет определение поточней — яркая искра в тумане, которую одинаково можно принять и за пожар и за огонек раскуриваемой трубки.

Пароход резво бежит средь низких берегов по полноводному, налитому точно тарелка до краев, Дунаю. Белые хатки рыбацких поселков, ленивые стада буйволов среди залитых водой зеленых лугов и плавней, встречные пароходы и лодки с греческими, итальянскими, немецкими названиями быстро убегают назад.

Вот из воды и плавней вырастает каменная набережная, молы Сулина. Стериана в городе ждут его товарищи по клубу. Он прощается, договариваясь в ближайшее время встретиться в Тульче.

Ранним утром следующего дня Короленко ехал по дороге у самого морского берега.

Лениво плещется море. Лениво кричат в вышине белые чайки. Лениво плывут белые кудрявые облака. Тишина. Безмолвие. Пустыня.

Встречается стадо, и чабан провожает повозку нелюбопытным медленным взглядом. О чем он думает? Что волнует этого загорелого, оборванного человека? И это жизнь? Без желаний, запросов, страстей!.. Блаженный сон полусознания, сладкая засасывающая дремота нирваны. Короленко задумывается. Этот социалист Стериан и этот чабан — две

полярные точки, которые современный мир сводит вместе. Что из этого выйдет?..

Кытырлез. Маленькие убогие хатки рыбаков прижались к морскому берегу. Сети и лодки на берегу. Тощие загорелые рыбаки с трубками. Песок скрипит на зубах. Ветер несет искры ночного костра. Хозяева нещадно обдирают рыбаков, но рыбаки не организованы, не записываются в рабочие клубы — боятся конституции.

— Конститунция, говорите, у нас... приихав новый префект, запретив у мае рибу ловить. Ото тоби и конститунция...

— Як вже и у Рассеи буде конститунция, то повынна Рассея пропасты...

Они только мечтают о том, чтобы убрали злого заведующего промыслами господина Антипу и прислали доброго; вместо Яни Милану появился бы не такой хищный хозяин, и тогда им вздохнулось бы полегче.

— Усе не то, — вдруг решительно заявляет усатый рыбак. — Вот ежели бы нам послать своих людей у Букарешты, и чтобы могли они говорить со своей стороны... за нас...

И все соглашаются: да, так было бы очень хорошо, был бы порядок.

— Да ведь это и есть конституция, — говорит Короленко, — народное самоуправление. И Россия от нее не пропадет и Румыния. Правда, *такой* конституции еще нет... Но она будет и, наверное, очень скоро — и в России и в Румынии.

Рыбаки мечтают, а Стериан активно борется за это!

Через несколько дней социалист собрался в село, которое возмутилось несправедливыми налогами и просило прислать им в помощь толкового человека. Бывший народник доктор Петр уговорил съездить к крестьянам в Русскую Славу Стериана.

С ним отправился и Короленко. Их повез знакомый доктора, медлительный, тугодумный крестьянин Лука.

Короленко задумчиво смотрит на Стериана и

Луку. Лука скроен солидно, прочно — это хозяин, владелец поля, дома, человек, по которому прошли века тяжелого, отупляющего крестьянского труда. Стериан — нервный, порывистый, скорый на ответ, потомок сильных предков, но надорванный городской жизнью и мечтающий о будущем, весь в сегодняшнем, даже скорее — в завтрашнем дне. Бездна отделяет деревенское миросозерцание Луки от городского, Стерианова.

Тем не менее они приятели. Они подолгу спорят, дело едва не доходит до серьезной стычки, а вскоре они курят и опять мирно беседуют. В спорах верх берет Стериан.

— Эх, пишись, Лукаш, в наш клуб, — уговаривает он приятеля, — все тебе там разъяснят, пишись...

В Русской Славе Короленко убедился, что молодой социалист неплохо умел разобраться в правовых взаимоотношениях румынского королевского государства и почти бесправных крестьян, выходцев из России. Он составил для них толковые жалобы на местную администрацию, и впоследствии Короленко узнал, что село было спасено от конфискации скота и имущества.

Писатель прожил в Румынии три с половиной месяца. Он посетил много городов и сел, был в Бухаресте и Плоешти, Галаце и Сулине, Челыкдере и Сланике, познакомился с десятками людей — рыбаками и крестьянами, журналистами и общественными деятелями, монахами и рабочими, румынами и болгарами, русскими и украинцами, греками и евреями, турками и албанцами. Записная книжка его заполнялась пометками, румынскими дойнами и песнями потомков запорожцев, записями спряжений румынских глаголов и выписками из местных прогрессивных газет.

Короленко увидел, что и здесь не лучше, чем в России. Всюду в Румынии народ задавлен и угнетен. Деревня физически вырождается от тяжелых налогов. Люди болеют от частых недоеданий, от гнилой кукурузы. А над народом стоят попеременно

сменяющие друг друга либералы и консерваторы, а не меняются только носатый румынский король Карл и злобный, хищный господин Антипа.

Поздней осенью 1897 года в «Русском богатстве» был опубликован очерк Короленко «Над лиманом», еще раньше в «Русских ведомостях» появилась его корреспонденция «Из Румынии».

В свои приезды в Румынию в 1903 и 1904 годах писатель не сумел повидать Стериана. Встреча состоялась только летом 1907 года.

— Салютари, домну Короленко, — сказал Стериан, протягивая свою сильную руку с теми же следами дратвы и чернил.

Стериан постарел, потерял несколько зубов и во время разговора подозрительно покашливал. Но он был такой же бодрый и деятельный.

Он не смирился, этот бунтарь, даже после разгрома румынского крестьянского восстания весной 1907 года — он остался борцом. Они попрощались. Короленко вскоре принялся за очерк о Луке, Стериане, докторе Петре и других людях с синего Дуная.

В конце 1909 года в «Русском богатстве» появился очерк «Наши на Дунае». Узнал ли себя в Денисе Катриане неугомонный борец за народ, жив ли он, а если жив, то что поделывает? — этого Короленко больше никогда не узнал. Но что огонь, который нес людям Стериан, был огнем пожара — это Короленко хорошо понял.

Деревянный домик в каменном Петербурге

7 января 1898 года отправилась в гимназию Соня. Перед рождеством она легко выдержала экзамены и была принята, как когда-то ее отец, сразу во второй класс.

Соня училась успешно, нелады были лишь с немецким языком. Когда стало ясно, что без посторонней помощи девочка в третий класс не перейдет, пригласили учительницу. Так в доме весной 1898 года

появилась молодая наставница Надежда Константиновна Крупская, с помощью которой в несколько недель Соня нагнала подруг. Короленко был очень доволен скромной, дельной молодой учительницей и на всю жизнь сохранил о ней добрую память.

В маленьком сером деревянном домике по 5-й Рождественской улице, неподалеку от редакции «Русского богатства», по вечерам собирались друзья, приходили братья писатели, журналисты, общественные деятели, бывал в свои наезды в столицу Горький, заходил Михайловский.

В кругу близких людей Николай Константинович сбрасывал броню холодной «редакционной» вежливости — и тогда он умел заразительно смеяться, не было слушателя внимательнее и рассказчика интереснее его. А когда рассказывал он о былых годах — о Некрасове, или Щедрине, или Глебе Успенском, то весь преображался.

В Петербурге свободного времени оставалось гораздо меньше, чем в Нижнем. Короленко приходилось читать очень много рукописей, ходить в цензурный комитет, заседать в суде чести при союзе писателей и в юридической подкомиссии, куда его выбрали вскоре по приезде в Петербург, работать в Литературном фонде. По-прежнему частенько наведовались со своими просьбами посетители. Писали начинающие авторы.

Когда Авдотье Семеновне говорили о большом человеческом обаянии ее мужа, она отшучивалась добродушно, слегка грубовато:

— А что в ём? И ничего такого особенного. Человек как человек, с руками и ногами...

А сама очень гордилась мужем и всячески старалась оградить его от ненужных волнений, жизненных потрясений и плохих людей, но это не всегда удавалось.

Однажды, вскоре после переезда в Петербург, Короленко получил письмо. Автор писал, что до сих пор его рукописи журналом не принимались и он делает последнюю попытку: если и теперь неудача — он ждет ответа до такого-то числа, — он застрелит-

ся. Приходилось, забыв о собственной болезни, ехать, чтобы спасти человеческую жизнь. Владимир Галактионович был очень смущен, когда вполне благополучный молодой человек объяснил ему, что он получил хорошее назначение и теперь уезжает. Он, к сожалению, не предполагал, что господин Короленко примет так близко к сердцу это дело.

В другой раз пришло письмо, полное отчаянных просьб о помощи. Целая семья умирает от голода. Послать денег? Как-то неудобно от человеческого несчастья отделываться рублями. Решил идти. Верст шесть по грязи и темноте петербургской окраины показались бесконечными.

Автор письма, откормленный, наглый, даже не смутился, когда Короленко застал его за обильной выпивкой и закуской в обществе какой-то женщины.

Подобные случаи были с Короленко нередки, но самое большее, что они в нем вызывали, — это удивление. Зато в иной раз он приходил прямо-таки в отчаяние от ужасающей нелепицы и жестокости жизни, когда помочь был не в силах.

Долгое время он помогал одной бедной семье.

Вдруг стало известно, что дочь ушла к какому-то обольстившему ее человеку, много старше ее.

— Просмотрели мы, прозевали, — горько сокрушался писатель. — Она не в силах была перенести эти ужасные условия, а мы забыли, не подыскали подходящей работы, вот и погиб человек.

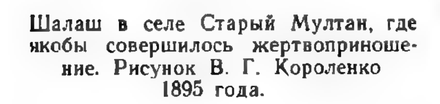
Короленко поражал окружающих присущим ему чувством высокой ответственности за неправду человеческих отношений, за жизнь и судьбу каждого, попадавшего в поле его зрения.

— Я должен помочь, иначе не смогу уважать себя, — говаривал в таких случаях Владимир Галактионович. И если встречал грубый обман, то не очень огорчался: не бог весть какая помощь оказывается им, да и вряд ли стоит обличать порок, подобный данному: на свете есть множество других, более могущественных зол, на которые надо обращать удары в первую очередь.



Анатолий Федорович Кони — обер-прокурор уголовно-кассационного департамента сената. Фотография 900-х годов.





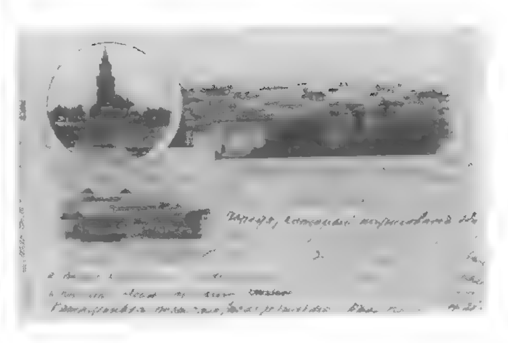
Шалаш в селе Старый Мултан, где якобы совершилось жертвоприношение. Рисунок В. Г. Короленко 1895 года.



Мултанские удмурты, обвиненные в человеческом жертвоприношении, на процессе. Фото 1896 года.



Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский. Фото 80-х годов.



Письмо В. Г. Короленко дочери Софье, написанное летом 1893 года, во время зарубежной поездки.



Нью-Йорк. Унион-сквер.

Лондон. Парламент — «Дом».



Знаменитости конца уходящего века

Реакция в России и на Западе не хотела без боя сдавать свои позиции. В последние годы девятнадцатого столетия прогрессивная мировая общественность была встревожена.

Во Франции милитаристскими и националистскими кругами затеян гнусный процесс над евреем капитаном Альфредом Дрейфусом, обвиненном в шпионаже... «Свободные» Северо-Американские Соединенные Штаты в борьбе с Испанией за Филиппины и Кубу все яснее обнаруживают колонизаторские устремления... Нажим Англии на южноафриканские бурские республики походит на международный разбой...

В ноябрьской книжке «Русского богатства» за 1898 год появился первый и единственный памфлет Короленко на международную тему — «Знаменитость конца века». Русский писатель поднялся не только против разнузданной травли националистами и антисемитами несчастного Альфреда Дрейфуса — он возвысил голос в защиту «брата-писателя» Эмиля Золя. Французский писатель, выступивший против устроителей процесса, подвергся бешеной травле и вынужден был эмигрировать. Короленко пригвоздил к позорному столбу шпиона, вместо которого на скамье подсудимых оказался невинный Дрейфус, — майора Эстергази. Книжонку Эстергази с пикантными сенсационными разоблачениями закулисной стороны процесса Дрейфуса готовились выпустить в Лондоне, Париже, Берлине, Вене, Риме, Петербурге. Печально знаменитые реакционеры обоих полушарий сочувственно взирали на деятельность Эстергази, сделавшегося знаменитостью конца уходящего века. Волна конденсированного милитаризма и национализма — этот экстракт буржуазно-политического строя — поднялась во Франции и грозит затопить всю Европу, весь мир. «Берегитесь национализма — яд!..» — предупреждает Короленко.

Цензура с большим трудом, вычеркнув несколько наиболее сильных мест, пропустила памфлет. Он

встретил восторженный прием в передовой части русского общества и злобные выпады в среде русских «знаменитостей конца века» — ретроградов, неистовых врагов трудовых классов России, тех, кого позднее стали называть черносотенцами.

Они словно заключили негласный союз со своими единомышленниками на Западе. Любопытен был социальный состав российских «знаменитостей» — военные и из духовного звания, чиновники судейские и цензурного ведомства, представители рептильной прессы, охранители из среды ученых и чины высшей бюрократии...

На российской общественной и политической арене в конце века все чаще замелькали всевозможные знаменитости на час. Являлись на больший или меньший срок, совершали большое или малое неблаговидное действие и — исчезали, презираемые, проклинаемые или просто позабываемые, слишком ничтожные для долговременного существования в качестве знаменитостей, но тем не менее способные в меру своих сил соткать в своем уголке прочную липкую паутину лжи, преследований, насилий. Вкупе и влюбе с более известными и более долговечными знаменитостями-мракобесами они тщетно пытались своей деятельностью создать видимость прочности самодержавного порядка в России, его соответствия нуждам и запросам народа и общества, хотя некоторые из этих «знаменитостей» только и могли существовать и стать заметными благодаря этому несоответствию. В этом адском хороводе разнокалиберных знаменитостей уходящего в прошлое века Короленко умел различать наиболее злобные, ядоносные фигуры и вступал с ними в борьбу.

Одной из таких фигур был некий Соловьев, назначенный в 1896 году начальником Главного управления по делам печати, откровенный ретроград, гонитель передовой прессы.

Соловьев во всеуслышание заявлял, что при первой же возможности закроет «Русское богатство».

Весною 1899 года представился удобный случай.

В мартовском номере журнала появилась статья «Финляндские дела». Она была подписана общим псевдонимом Короленко и Анненского — О. Б. А. (то есть оба), но автором ее был Николай Федорович.

Соловьев вызвал к себе Короленко и потребовал опровержения: на этом настаивал генерал-губернатор Финляндии Бобриков.

— Мы наведем справки, — отвечал писатель, — и, если наш сотрудник ошибся, сделаем все возможное, чтобы поправить ошибку.

— Вы должны сделать даже *невозможное,* — с раздражением произнес Соловьев.

— Надеюсь, ваше превосходительство, вы не рекомендуете нам сделать *невозможное с нравственной точки зрения.* А таковое было бы опровержением того, что по-нашему есть истина.

На следующий день Короленко был встречен вопросом: принес ли он самоопровержение? Нет, не принес, автор статьи цитировал официальные источники, а вовсе не поощрял «сепаратизм финляндцев».

— Я завтра делаю доклад, — злорадно проговорил Соловьев. — Журнал закроют, если не последует опровержения.

То были дни одного из самых тяжелых испытаний в жизни Владимира Галактионовича. Скудных сбережений семьи едва хватило бы на выплату подписчикам их денег.

Авдотья Семеновна, верный, все понимающий друг, сказала мужу:

— Поступай, как велит тебе совесть. О нас не думай.

4 мая редакция журнала послала отказ дать опровержение, а уже 5 мая из «Правительственного вестника» стало известно о приостановке «Русского богатства» на три месяца. Это было тяжелым ударом, но нравственная победа была огромная: знаменитый мракобес, злейший враг передовой печати получил отпор и — отпрянул.

В Ташкенте полковник Сташевский, сочтя затронутой честь военного мундира, убил безоружного

журналиста А. А. Сморгунера. Убил, зная заранее, что предстанет перед военным судом и приговор не будет суровым. Так оно и оказалось. Короленко отозвался двумя статьями в «Русском богатстве». Он гневно протестовал против эдакой легкости в смертельных приговорах, которые выносятся и приводятся в исполнение военными единолично — в расчете на военные суды, весьма снисходительные в подобных случаях.

Это было тем более возмутительно, что незадолго до этого военный суд без всяких видимых оснований приговорил к смертной казни через повешение бедняка чеченца Ильяса Юсупова. Правда, несчастного человека, уже ожидающего в тюрьме казни, удалось спасти, но это было сделано ценою совершенно экстраординарных усилий. Незнакомый человек из Грозного, Б. Л. Ширинкин, прислал Короленко письмо о вопиющем произволе над Юсуповым. Писатель послал корреспонденцию в «Санкт-Петербургские ведомости», посетил главного военного прокурора и ряд лиц в военном суде, по делу произвели новое расследование, и обнаружилось, что к повешению был приговорен невинный.

Юсупова помиловали.

Эти несколько месяцев борьбы за человеческую жизнь недешево обошлись Короленко. Словно воскресли недоброй памяти мрачные недели и месяцы мултанского дела. Словно ничего не изменилось. Годы идут, а жизнь течет все в тех же угрюмых берегах.

Знаменитости уходящего века судорожно пытаются остановить движение, совершающееся на земле, крикнуть «Остановитесь, не двигайтесь!» солнцу, луне, звездам, всему живому. Свою сатирическую сказку «Стой, солнце, и не движись, луна!» Короленко посвятил всем этим печально знаменитым ретроградам, борцам с весною, со светом, с живою жизнью.

Конечно, он знал, что сказку не пропустит цензура. Что ж, она дождется лучших времен и все же увидит свет!.. (Сказка появилась только после Октября.)

На пугачевском Урале

Тысячами нитей связаны настоящее и прошлое, и очертания туманного еще будущего становятся более определенными, когда лучше познаешь прошлое. Нынешняя переходная эпоха не только конец одного и начало другого столетия. В общественной и в народной жизни происходят глубочайшие изменения: на арену выходят массою люди из ранее забитых, пассивных «податных сословий».

Интерес Короленко к русской истории был устойчив и прочен. Когда в 1887 году в Нижнем Новгороде стараниями Гацисского была образована Архивная комиссия, писатель стал одним из активных ее членов, с увлечением составлял описи местных архивов. На основании архивных материалов им был написан ряд историко-бытовых очерков, появившихся в течение 90-х годов и позднее, среди них «К истории отживших учреждений», «Отголоски политических переворотов в уездном городе XVIII века», «Колечко».

Привлекали внимание Короленко и массовые явления жизни прошлого и яркие, выдающиеся личности русской истории. Им была написана небольшая работа «Материалы к биографии Ивана Петровича Кулибина», собирались материалы к исторической повести «Арзамасская муза». Много позднее были написаны «Легенда о царе и декабристе», очерк «Русская пытка в старину».

Особенный интерес был у писателя к пугачевскому восстанию и личности самого самозванца — «набеглого царя».

Летом 1891 года Короленко предпринял специальную поездку в Уфу для розысков места расположения лагеря ближайшего соратника Пугачева — Чики (Ивана Зарубина). Несколько лет спустя в рассказе «Художник Алымов» писатель остановился на облике другого сподвижника Пугачева — Хлопуши. Замысел романа о пугачевском восстании зародился у него в это время в процессе изучения исторических материалов, знакомства с местами былой воль-

ницы на Волге, рассказами и преданиями о прошлом. Однако дела и события настоящего все время отодвигали начало работы над романом.

В немногие свободные минуты Короленко садился за исторические книги и записные книжки и работал самозабвенно. Наконец весною 1899 года он приступил к работе над романом, которому предполагалось дать название «Набеглый царь».

Лето 1900 года Короленко провел на Урале, собирая материалы и знакомясь с местами, в которых зародилось и происходило пугачевское движение. Поселился он с семьей в семи верстах от Уральска, на хуторке у знакомых. В начале августа Авдотья Семеновна с девочками уехала, но не в Петербург, а в Полтаву; переезд туда на жительство был решен еще перед отправлением на Урал.

Короленко было разрешено работать в местном войсковом архиве, и ежедневно он на велосипеде отправлялся по утреннему холодку в Уральск, маленький казачий городок.

Архивные розыски Короленко сочетал с дальними и ближними поездками по станицам и хуторам, где он мог почерпнуть сведения о Пугачеве. Удивительный это был край — край широких степей, отважных людей, старинных преданий и легенд о грозном времени кровавой смуты.

Кем же считают Пугачева на Урале — самозванцем или царем? Девяностолетний старик, увидев, что Короленко записывает его рассказы, посуровел, распрямился.

— Пиши, — сказал он. — Старый казак Ананий Иванов Хохлачев говорит тебе: мы, старое войско, так признаём, что настоящий был царь, природный... Так и запиши!..

Для Короленко ясно настоящее Урала и ясен прошлый, пугачевский Урал — мятежный Яик, а сам Пугачев — пока только загадочная тень, человек, не наделенный в его воображении живыми чертами. Даже пушкинский «Пугач», «плут, казак прямой», «урядник лихой» не удовлетворяет писателя — ведь Пугачев был руководителем титанического народного

движения, а такой, каким дан он у Пушкина, он не справился бы с этой задачей.

Короленко не верит в «неслыханную жестокость злодея» — Пугачева,— это приемы канцелярски проклинательного стиля екатерининских генералов. Наоборот, писатель видит в «набеглом царе» сильную волю и независимость, мужество и нелюбовь к «советчикам и указчикам». Он романтик и фантазер, натура страстная, сильная, могучая. Он рано был произведен в хорунжии, имел почетную саблю за воинские подвиги, называл себя «крестником» Петра Великого.

Когда Пугачев объявился—в нем все нашли царя. Киргиз соединился с казаком, казак с башкиром, заводской рабочий, еще недавно защищавший заводы от того же башкира, теперь шел с ним рядом. Найден царь — настоящий, общий, способный всех примирить, установить гармонию интересов.

И таким объединителем мог быть только незаурядный человек, понявший великую народную мечту, готовый на трагический обман во имя возвышенной цели!

В воображении рисовались целые картины романа, события, эпизоды борьбы. Война с Пруссией. Петербург, Екатерина, Панин и Потемкин. Изменник, карьерист и себялюбец Шванвич. Молодой офицер, энтузиаст, противник корыстолюбия, казнокрадства, рутины. Екатерининские «орлы». Воры-киргизы и воры-полковники. Разбойники-казаки и разбойники-офицеры...

Когда же Короленко по крохам собрал воедино все черты Пугачева, он сам радостно удивился: это было живое лицо, наделенное яркими, реальными чертами, образ цельный и сильный, с недостатками человека и полумистическим величием царя, хоть и «набеглого» — народного.

Не суждено было писателю завершить работу над романом — отвлекла живая, бурлящая действительность. Результатом поездки на пугачевский Урал стали только очерки «У казаков», появившиеся осенью 1901 года, да «Пугачевская легенда на Урале», напечатанная в 1922 году.

С Урала Короленко проехал прямо в тихую, спрятавшуюся в пышных садах на берегу тихой красавицы Ворсклы Полтаву.

Здесь бы ему — вдали от бурной столичной жизни — засесть за беллетристику и забыть о бурях житейских. Куда там!

Весною 1902 года, ровно через десять лет после того, как в пустынном поле за Лукояновом, встретил Короленко мужиков с астыревской прокламацией, появились в окрестных деревнях подметные листки.

Их не несли теперь становым и урядникам.

Их несли к грамотеям и там, затаясь, читали.

Времена изменились.

В бумагах тоже говорилось о земле. Передавали, что носили их студенты.

Прошел слух, что велено (не в тех ли бумагах?!) забирать у помещиков скот и землю и отдавать мужикам. И ринулись они на барские усадьбы.

А потом тех, кто участвовал в «грабижке», нещадно пороли.

А потом обложили контрибуцией всех — кто брал и кто не брал.

А после порки и контрибуции судили.

И вот тогда в оконце короленковского дома постучались крестьяне, прося защиты и помощи.

Писатель организовывал у себя на квартире совещания адвокатов, писал прошения. В эти дни его квартира стала штабом борьбы за людей, захотевших хорошей жизни, но не знавших верных путей к ней.

Борьба за крестьян отнимала время, покой, сон.

Шли новые — тоже мятежные — времена, и они отвлекали от тревог и сечь лет минувших, от мыслей о «набеглом царе», удалом донском казаке, взбунтовавшем пол-России, Емельяне Ивановиче Пугачеве.

Инцидент более политический, чем академический

В конце апреля 1899 года в ознаменование столетия со дня рождения Пушкина высочайшим указом был учрежден при Академии наук разряд изящной словесности, в который могли быть избираемы

почетные академики из числа выдающихся русских литераторов. В январе 1900 года в разряд были избраны восемь человек, среди них Лев Толстой, Короленко, Чехов, А. Жемчужников, Кони.

Впервые имя Короленко и ненавистный оппозиционной России эпитет «императорская» (хотя бы и Академия наук) соседствовали, и писатель стал получать по почте в свой адрес предостерегающие или даже язвительные послания вроде нижеследующего:

«Петербург. Журнал «Русское богатство».

12/II 1900 г.

Прошу редакцию поздравить Владимира Галактионовича Короленко с переходом его из дурного общества в самое избранное.

Читатель».

На подобные укоры Короленко отвечал, что избран он не на казенную синекуру. Академия как учено-литературная корпорация выразила ему свое платоническое в данном случае мнение о его работах, и он не видит повода своим отказом выразить ей свое пренебрежение.

В общем избрание свое в почетные академики Короленко, а также Чехов приняли с некоторой долей юмора, понимая, что оно их ни к чему не обязывает. Сообщая об этом событии матери, Короленко подписался: «Почтительный сын и российской де сьянс академии почетный член». Чехов некоторое время в письмах к приятелям прибавлял себе титулы: «потомственный почетный академик», «Antonio, academicus». Толстой позднее заявил, что академиком себя не считает.

Вскоре, вероятно, эпизод с избранием забылся бы, если бы в него не вмешалась политика.

В декабре 1900 года состоялись вторые выборы, и в число почетных академиков вошли К. К. Арсеньев, П. Д. Боборыкин, В. В. Стасов.

Третьи выборы были в конце февраля 1902 года. Кандидатом в почетные академики Короленко выдвинул Горького. Его поддержали Арсеньев и Стасов. 1 марта «Правительственный вестник» сообщил об

избрании в число почетных академиков А. В. Сухово-Кобылина и А. М. Горького.

В реакционной прессе началась настоящая свистопляска. То, что Горького, писателя из «низов», близкого идеям социал-демократии, «осмелились» выбрать, расценивалось как вызов, брошенный академией «всей верноподданнической России», как «насмешка над всеми талантами, поругание 200 лет Академии».

По распоряжению министра внутренних дел Сипягина Николаю II были представлены два наклеенных на бумагу документа: вырезка из «Правительственного вестника» от 1 марта об избрании Горького и специально для сего случая данная справка департамента полиции о политической неблагонадежности писателя.

Царь наложил на этом выразительном докладе не менее выразительную резолюцию: «Более чем оригинально». В письме на имя министра народного просвещения генерала Ванновского он выразил «глубокое возмущение» избранием и поручил генералу объявить, что повелевает выборы Горького отменить.

Великий князь К. К. Романов, президент академии, сам почетный академик и поэт, поспешил выполнить высочайшую волю. На следующий день текст присланного генералом Ванновским заявления был почти буквально воспроизведен в «Правительственном вестнике»: выборы признавались недействительными.

Но и этого показалось мало: ретивый генерал от просвещения потребовал сделать подобное объявление «от императорской Академии наук». Президент выполнил и это. 12 марта 1902 года газета напечатала заявление уже под этим заголовком.

Короленко был глубоко поражен и возмущен сообщением об отмене выборов. Ведь «дознание», под которым находится Горький, отнюдь не законный повод для отмены выборов. Значит, «административный порядок» со всем его произволом вмешивается уже в дела академии.

Короленко написал Горькому. Просил подумать

о его сотрудничестве в «Русском богатстве», выражал негодование нелепой «кассацией», спрашивал подробные сведения о дознании, под которым находится он. Горький отвечал, что был арестован в апреле прошлого года по подозрению в сочинении, напечатании и распространении воззваний, имевших целью возбудить среди рабочих противоправительственные волнения.

Выходило так, будто академия отменила свой выбор сама в соответствии с полицейскими соображениями.

Надо было действовать.

Короленко вступил в переписку с почетными академиками К. К. Арсеньевым, А. А. Шахматовым, председательствующим в Отделении русского языка и словесности А. Н. Веселовским. Специально поехал в Петербург.

Все было напрасно. Создавалось впечатление, что все возмущены, но рисковать не хотят.

Тогда писатель в знак протеста решил выйти из числа почетных академиков.

Именно в это время — совершенно независимо от Короленко — все более укреплялся в мнении, что надо сложить с себя почетное звание, и Чехов.

Короленко приехал к Веселовскому с письмом, а на словах заявил, что если просьба его о собрании академиков по поводу инцидента с Горьким не будет удовлетворена до середины мая, он сложит с себя звание академика.

10 апреля, через четыре дня после подачи письма, Короленко написал в Ялту Чехову о своем ультиматуме Веселовскому, спрашивал его мнение об инциденте и приложил три копии письма — для самого Чехова, Горького и Толстого.

Чехов отвечал, что очень хочет повидаться, но посетить Полтаву из-за болезни жены не может, звал приехать в Ялту. На следующий день, 20 апреля, Чехов послал еще одно письмо: «Мне кажется, что нам удобнее действовать сообща, и надо сговориться...»

Веселовский дипломатично созвал не собрание, а «частное собеседование», но оно ничего не решило.

Чехов телеграфировал, что приехать не сможет. В конце мая Короленко отправился в Ялту на свидание с Чеховым.

В последние годы виделись они досадно мало, все больше случайны были их встречи. Свидание в доме Чехова близ Ялты было последним. От былого Чехова остались одни глаза, лучистые, ласковые и порой беспредельно грустные: он был тяжело болен.

Порешили, что в самое ближайшее время подает в отставку Короленко, а Чехов подождет до осени.

Горького в Крыму не было. Посетив жившего в Гаспре больного Толстого, Короленко вернулся в Полтаву.

25 июля он послал Веселовскому свой отказ.

«Вопрос, затронутый «объявлением», не может считаться безразличным. Ст. 1035 есть лишь слабо видоизмененная форма административно-полицейского воздействия, игравшего большую роль в истории нашей литературы. В собрании, считающем в своем составе немало лучших историков литературы, я не стану перечислять всех относящихся сюда фактов. Укажу только на Н. И. Новикова, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Аксаковых. Все они, в свое время, подвергались административному воздействию разных видов, а надзор над А. С. Пушкиным, мировой славой русской литературы, как это видно из последних биографических изысканий, — не только проводил его в могилу, но длился еще 30 лет после смерти поэта *. Таким образом начало, провозглашенное в объявлении от имени Академии, проведенное последовательно, должно было бы закрыть доступ в Академию первому поэту России. Это в прошлом. В настоящем же прямым его следствием является то, что звание почетного академика может быть также и отнимаемо внесудебным порядком, по простому подозрению административного учреждения, постановляющего свои решения без вся-

* Уже в 70-х годах истекшего века генерал Мезенцев потребовал, по вступлении своем в должность шефа жандармов, списки поднадзорных и вычеркнул из них имя титулярного советника А. С. Пушкина. *(Примечание В. Г. Короленко.)*

ких гарантий для заподозренного, без права защиты и апелляции, часто даже без всяких объяснений...

Ввиду всего изложенного, — то есть:

что сделанным от имени Академии объявлением затронут вопрос, очень существенный для русской литературы и жизни;

что ему придан вид коллективного акта;

что моя совесть, как писателя, не может примириться с молчаливым признанием принадлежности мне взгляда, противоположного моему действительному убеждению;

что, наконец, я не нахожу выхода из этого положения в пределах деятельности Академии, —

я вижу себя вынужденным сложить с себя нравственную ответственность за «объявление», оглашенное от имени Академии, в единственно доступной мне форме, то есть вместе с званием Почетного Академика.

Поэтому, принося искреннюю признательность уважаемому учреждению, почтившему меня своим выбором, я прошу вместе с тем исключить меня из списков и более Почетным Академиком не числить.

Вл. Короленко».

Ровно через месяц отослал свой отказ Чехов.

Инциденту суждено было завершиться лишь после свержения самодержавия, пятнадцать лет спустя.

Почетный академик Д. Н. Овсянико-Куликовский в марте 1917 года прислал Короленко письмо с просьбой дать согласие баллотироваться в академики.

Короленко ответил отказом.

Кишинев, Азиатский переулок, дом № 13...

В селе Павло́вка Сумского уезда Харьковской губернии осенью 1901 года произошли беспорядки на религиозной почве. Подстрекаемые своим руководителем Тодосиенко (Короленко подозревал, что он агент полиции), штундисты разгромили церковь-

школу и двинулись на другую церковь. Навстречу им, руководимые полицией, вышли с дрекольем приготовившиеся заранее православные, и произошло жестокое побоище.

Жестокая и недальновидная правительственная политика разжигания религиозного фанатизма и национальных преследований давала свои результаты.

Короленко приехал на суд, который состоялся в январе 1902 года в городе Сумы. В зал суда не допускали ни журналистов, ни родных подсудимых.

Святейший синод словно брал реванш за Мултан. Командированный Победоносцевым редактор-издатель «Миссионерского обозрения» В. М. Скворцов записывал только то, что соответствовало «видам правительства». От министерства внутренних дел присутствовал жандармский полковник, игравший на процессе не последнюю роль.

Короленко послал в «Русские ведомости» корреспонденцию о процессе и этим ограничился. Ему были ненавистны формы борьбы обеих сторон — и православно-правительственной и изуверски сектантской. За правое дело он ринулся бы в бой, как семь лет назад, но кто укажет: где в этом кровавом деле правая сторона?..

Прошло немного времени, и осмелевшая реакция предприняла новую диверсию.

9 февраля 1903 года в городке Дубоссары, расположенном в ста верстах от центра Бессарабской губернии Кишинева, был найден мальчик Миша Рыбальченко с перерезанной сонной артерией, весь исколотый каким-то острым орудием. Полиция убийц не нашла.

Черной гадюкой пополз по Кишиневу слух: Рыбальченко убили евреи — скоро их пасха, а христианская кровь, «как известно, употребляется ими в мацу».

Провокационную роль играла единственная местная газета «Бессарабец», руководимая черносотенцем Паволакием Крушеваном.

Газета доказывала, что налицо картина «ритуального убийства жидами христианина». Во всем обширном крае не было другой газеты, которая могла бы опровергнуть наветы. В Петербурге «Свет» и «Новое время» подхватили изуверские толки «Бессарабца», дополняя и комментируя их. Как снежный ком росла злая легенда. Это продолжалось более месяца — появлялись новые, все более мрачные сообщения «Бессарабца», все более истерические отзывы столичных газет.

Когда в «Бессарабце» 17 марта появилась небольшая заметка, на нее мало кто обратил внимания. «По собранным нами теперь точным сведениям, — писал Крушеван, — оказывается, что в этом деле нет ничего такого, что дало бы возможность видеть ритуальное убийство даже для лиц, предрасположенных к тому».

Изуверская кровавая картина, создаваемая газетой изо дня в день и прочно подкрепляемая слухами, не могла быть стерта коротеньким опровержением. Расчет у Крушевана был верный.

Уже перед пасхой по Кишиневу была распространена погромная прокламация с призывом «бить жидов», которые «пьют христианскую кровь». Ни губернатор, ни полицмейстер никаких мер не принимали.

В городе разразился погром. Он длился первые два дня пасхи — 6 и 7 апреля. Сначала разбивали еврейские лавчонки, потом начали грабить квартиры и имущество, а на второй день в ход были пущены железные ломы и револьверы. Убито было двадцать пять человек, около трехсот ранено. Полиция и войска взирали с олимпийским спокойствием на все происходящее.

Смерть матери помешала Короленко поехать в несчастный город тотчас. Он смог совершить поездку только в начале июня.

Когда Короленко попросил еврея-извозчика отвезти его в Азиатский переулок, тот не понял, куда нужно ехать.

— Дом тринадцатый... Где убивали...

— А-а, знаю, — последовал ответ.

И они поплелись на окраину, населенную сплошь беднотой. Ряды жалких домишек, тощие деревца, пыль, зной... Вот и этот дом-мертвец: пустые темные глазницы окон, двери наспех заколочены, двор весь завален всевозможным домашним хламом, засыпан пухом. Тишина.

Короленко нагибается и подбирает, бережно очищает от пыли, пуха надвое разорванную детскую кофточку. Хочет записать что-то и не может — дрожат руки, всего его трясет как в лихорадке.

В углу двора, неподалеку от входа в одну из бывших квартир бывшего дома, на земле большое пятно. Над ним кружат жирные мухи, его покрывает битое стекло, и кирпич, и известка, и пух, но оно проступает — бурое, страшное...

— Здесь убивали Гриншпуна, — слышит Короленко тихий, как шелест, голос. Это говорит девочка лет десяти-двенадцати.

Он взглядывает на нее и вдруг понимает, что она *все, все видела* — в детских глазах застыл недетский ужас...

— Он был стекольщик... Он бежал сюда... Здесь упал... И они его убивали...

Внутри дома все разрушено и разграблено до предела. Кого грабили и убивали? Бедноту! Здесь жили восемь семей, сорок пять человек взрослых и детей. Здесь жили с семьями мелкий лавочник, приказчик галантерейной лавки, бухгалтер, столяр, стекольщик — «богачи», которых надо было разграбить и убить, чтобы пресловутый «еврейский капитал» в их лице был уничтожен навсегда.

Раньше погромы в России ограничивались лишь разграблением имущества, теперь впервые человек поднял руку на человека. Почему, почему? Конечно, из-за этой лживой версии о жертвоприношении мальчика. Во-вторых, потому, что теперь антисемитизм объявлен «государственной идеей», и потому евреи стоят вне защиты общих законов. В-третьих, проводником кровавой лжи стало «печатное слово», моно-

полизированное на месте Крушеваном. И, наконец, местная власть, начиная с губернатора фон Раабена и полицмейстера Ханженкова и кончая патрулями и городовым, бляха № 148, содействовала погрому. Это была настоящая казнь под прикрытием патрулей и полиции, в то время как попытки самозащиты расценивались как преступление.

Короленко до сих пор несколько раз касался в своих произведениях еврейского вопроса — в «Павловских очерках» и в написанном в один год с ними рассказе «Иом-Кипур» («Судный день»). Писатель всегда был уверен, что одной из главных причин преследования евреев был и остается вопрос экономический. В Павлове скупщики, чтобы избавиться от конкурентов-евреев, упросили начальство выселить их из села. Но вскоре кустари увидели, что «родной» православный капитал, освобожденный от соперничества «иноверцев», развернулся вовсю, и жить им стало еще труднее. Тогда они подали губернатору просьбу о возвращении евреев. В «Иом-Кипуре» мельник-православный оказывается еще большим хищником, чем его еврейский собрат по профессии. Ни тот, ни другой не мерили мерою людское горе, не считали счетом людские слезы, когда обирали своих односельчан.

Целыми днями бродил писатель по кишиневским улицам, чувствуя, что он не сможет написать так, чтобы дать исчерпывающую картину виденного.

Еще в Кишиневе Короленко сделал черновые наброски очерка «Дом № 13». Закончил он его в июле и отослал в журнал. Вскоре пришло известие, что цензор «Русского богатства» перемарал все гранки и очерк запретил.

Однако «Дом № 13» все же появился на столе у его автора — маленькая книжечка в кроваво-красной обложке. Он был издан за границей в 1903 году в том виде, в каком был сдан в набор. В следующем году очерк был переиздан. В России он смог увидеть свет только в революционном 1905 году.

Юбилей

15 июля 1903 года Полтава праздновала пятидесятилетний юбилей писателя, праздновала без Короленко — сам он отправился в очередное путешествие, чтобы избежать чествования.

Поток адресов, писем и телеграмм шел непрерывно со всех концов России и из-за границы. Из них в кабинете образовались горы, и Короленко по возвращении потратил немало дней, чтобы разобраться и прочитать все послания к нему.

«Дорогой, любимый товарищ, превосходный человек, сегодня с особенным чувством вспоминаю Вас. Я обязан Вам многим. Большое спасибо. Чехов».

«Поздравляю, желаю еще столько, еще полстолько на радость друзьям, на благо литературы. Н. Михайловский».

Нижний Новгород, Глазов, Кишинев, Москва, Петербург, Париж, Лондон, Павло́вка, Гельсингфорс, Тифлис, Самарканд, Якутск, село Михайловское, Пермь, село Муровлянка, Бодайбо, Флоренция, Ницца, Бухарест, Оргеев, Чухлома...

Города знакомые и незнакомые, деревни, села, поселки, станции...

Писатели, крестьяне, учащиеся, рабочие, офицеры, земцы. Одиночки и коллективы. Якубович, Анненский, Струве, Лесгафт. «Граждане города Керчи». «Владимирские разночинцы». «Буряты из Иркутска». «Продавец газет».

«Вы везде находите человека, а не «бывших людей».

«Другу и защитнику всего рабочего люда».

«Ваше слово освещает и разрушает все то, что стараются насильно привить нам. Группа псковских семинаристов».

«Борцу за правду в Мултане».

«Великому художнику и гражданину земли русской, проведшему двадцать пять лет в непрерывной борьбе за торжество правды и любви».

Более шестисот телеграмм, около двухсот писем и адресов.

Короленко долго не мог прийти в себя, ходил взволнованный, радостный, задумчивый.

— И как подумаешь, — делился он с близкими людьми, — как мучился Щедрин. С какой тоской он спрашивал: «Для кого же мы пишем? Читатель, где ты?..» Вот! Он начинает отзываться, проявлять себя...

И опять взволнованные шаги, то загорающийся, то задумчивый взгляд лучистых карих глаз.

А однажды, откладывая в сторону очередное письмо, сказал со смущенной и счастливой, совсем детской улыбкой:

— Как много хороших людей!..

Избежать чествования все же не удалось. Осенью, по приезде Короленко в Петербург, двенадцать периодических изданий устроили вечер, на котором присутствовало около пятисот человек. Говорили хорошие, искренние, прочувствованные слова, пили за юбиляра и его верного друга — Авдотью Семеновну. Вот поднялся Петр Филиппович Якубович.

В пустыню, где шепчется вьюга с тайгою,
Где бледное солнце не радует глаз,
Был брошен когда-то жестокой рукою
Бесценный, прекрасный алмаз;
Рожденный для счастья, свободы и света,
Цветок, не успевший в отчизне расцвесть, —
Живое, горячее сердце поэта,
Влюбленного в правду и честь...

Глаза у бывшего каторжанина Якубовича глубокие, тревожные. Листок дрожит в руке. Волнуется...

Все в мире проходит... И дни испытанья
Промчались — отчизну поэт увидал.
Ему не грозит уже холод изгнанья —
Он славою родины стал!

Волнение передалось Короленко. Последние строки он слушает уже стоя. Он хочет обнять автора.

Как сердце он нам охлажденное греет,
В тьму жизни льет ласковый свет!

А там... злая пурга по-прежнему веет, —
И скольким возврата уж нет!..

Оглушительные аплодисменты. Все тянутся к Короленко, Якубовичу.

Надо говорить ответное слово, и писатель поднимается.

— ...Всякое общество, дорогие друзья, переживает три фазиса своего совершенства: мысль, слово и дело. Мысль всегда сильно работала в русском народе, только он не умел выразить ее. Не работай эта мысль, не было бы и всей русской истории. Теперь от затаенных дум мы перешли к слову. Дай же бог, чтобы царила свободная мысль и породила она ряд полезных дел для нашей дорогой родины!..

Опять аплодисменты, гром аплодисментов.

— Да здравствует борец за правду!

— Боевому публицисту — ура, господа!

Внезапно Короленко слышит возглас: «Защитнику инородцев!», и на минуту тяжкое воспоминание, туманя душу, уводит его из дружеского круга к узенькому переулку с домом-мертвецом и бурой лужей...

Вьюга еще злится, но уже скоро зиме конец!

«Будет буря, товарищ!»

Как быстро все нынче меняется в мире, а в России особенно! В одной из бесед в Нижнем Короленко сказал Горькому: «Самодержавие — больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать, — мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один десяток лет легальной работы». А через полтора года всю страну поразила своим размахом, сплоченностью и силой петербургская стачка.

Незадолго до переезда из Петербурга в Полтаву Короленко высказался тому же Горькому: «Губит Россию самодержавие, а сил, которые могли бы сменить его, — не видно». А год-полтора спустя на смену бунтующему студенчеству пришли рабочие и крестьяне, и студенческий мундир потонул в серой всколыхнувшейся могучей массе, поднимающей уже лозунг «Долой самодержавие!».

Навстречу самодержавию с его произволом, колоссальным полицейским и чиновничьим аппаратом, навстречу нагайке, виселице, административной ссылке, навстречу сыску и шпионству поднималось в народе стихийное, полусознательное, а подчас и организованное стремление бороться всеми доступными методами.

Давным-давно, в 1886 году, написал Короленко для «Волжского вестника» рассказ «Море». Узник бежал из крепости. Человек бросил вызов стихии.

Четырнадцать лет спустя, в 1900 году, писатель снова обратился к рассказу, чтобы коренным образом его переделать. Теперь герой рассказа не просто смелый человек, — это инсургент Хуан Диац, десять лет назад заточенный победившим врагом в сырой каменный мешок на островке среди моря. Он бросает вызов стихии во имя борьбы за свободу: он нужен там, на берегу, где, несломленные, все эти годы борются с врагом его товарищи. Он бежит к восставшим. Разве не стоит хотя бы мгновение свободы многих годов прозябанья! Конечно, рассказ уже был назван иначе — «Мгновение». Каждое мгновение должно быть отдано борьбе за свободу, а море — море только преграда на пути, и если оно возьмет твою жизнь, то только в борьбе и у свободного — свободного хотя бы на несколько мгновений,

Открывался рассказ символической фразой:

— Будет буря, товарищ!

В том же 1900 году появились «Огоньки», маленькое стихотворение в прозе, написанное экспромтом в альбом писательницы М. В. Ватсон.

«...Жизнь течет в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла...

Но все-таки... все-таки впереди — огни!..»

Сибирские наблюдения вновь овладели воображением Короленко. Где, как не в Сибири, можно увидеть такие контрасты между прочными, веками устоявшимися, словно вечной мерзлотой прохваченными, условиями существования и людьми, что мужественно, непоколебимо противостоят этому. Было море — и готовность человека к борьбе, стали угрюмые берега — и огоньки.

В эти годы один за другим появляются рассказы второго сибирского цикла: «Маруся» (впоследствии «Марусина заимка»), «Мороз», «Последний луч», «Государевы ямщики», «Феодалы».

Но нет, не стоило бы писать «Марусю» и «Государевых ямщиков», «Огоньки» и «Мороз», «Софрона Ивановича» и «Не страшное», если бы автор не увидал в серых сумерках нарождающегося века дальние отсветы новых, неведомых дней, начинающихся не розовыми мирными зорями, а всполохами предгрозовых зарниц — и долгожданных, и пугающих, и несущих очищение.

Мечется и тоскует Степан, не находя выхода бунтующей в нем неприкаянной силе, «смело носится по самым крутым стремнинам жизни», и именно он из всех героев рассказа «Маруся» наиболее близок Короленко, овеян его явной симпатией.

Непобедимое «стремление к белому свету и вольной воле» Микеши, отчаянный протест поселенца Островского против бездушного гнета общинного уклада, непримиримость к нравственным слабостям человеческой натуры у ссыльного Игнатовича — все эти черты особенно близки и дороги автору «Государевых ямщиков» и «Мороза».

Одержимый идеей всеобщего мира, которая, по его мнению, должна объединить все человечество, Софрон Иванович, герой одноименного рассказа, выступает горячим противником западной «цивилизации» с ее «конкуренцией, враждой и разделением», «фальшивой культурой», торговлей, бизнесом и полным забвением интересов людей труда.

В это же время — в начале 900-х годов — Короленко готовит отдельное издание повести «Без языка». Короленко внимательно приглядывается к рабочему движению в России. Теперь у него в повести появляется новый герой — Евгений Нилов, который едет в Россию, чтобы бороться за ее свободу. Вчерашний крестьянин-бедняк Матвей Лозинский все острее чувствует тоску по покинутой родине. В сцене митинга в Нью-Йорке рабочие на строительных лесах

смотрят уже не только с любопытством, но и *сочувствием* на борьбу безработных с полицией.

Суровая правда человеческих отношений заполнила страницы произведений Короленко в первые годы нового столетия. Его герои страстно ищут новой жизни, новой доли, они уже не могут, не хотят жить по-прежнему. Новые черты появились в русском национальном характере, жизнь уже невозможно повернуть вспять. Будущее за теми, кто умеет бороться и искать, не желает сдаваться в жизненной борьбе, умеет находить и отстаивать свою правду, свою долю, свое право на новую, лучшую жизнь — в Сибири или Румынии, России или Америке.

А российская жизнь теперь шла вперед со скоростью курьерского поезда.

...Вечером 27 января 1904 года по темным улицам Полтавы засновали горластые мальчишки, громко выкрикивая:

— Нападение Японии. Всеподданнейшее донесение наместника Алексеева.

Короленко взял газетную телеграмму.

«Около полуночи с 26 на 27 января японские миноноски произвели внезапную атаку на эскадру, стоявшую на внешнем рейде крепости Порт-Артур...»

Это была война.

А наутро пришла из Петербурга телеграмма: «Сегодня ночью внезапно скончался Михайловский». Днем Короленко выехал в столицу. Повсюду — на вокзале, в вагоне, на станциях — разговоры только об одном: о войне.

Николай Константинович лежал бледный, спокойный, строгий. В комнате были только цветы, кадильный дым и книги, книги. Здесь никогда не было икон, и теперь бюсты Глеба Успенского, Шелгунова, Елисеева скорбно белели у стен, словно охраняя стройные ряды книг от синего удушливого облака, от священника, машущего кадилом. Все сегодня было чужое, страшное в квартире на Спасской улице.

Когда отпевали в церкви, подошел отряд полиции. Огромная толпа у входа негодующе загудела, заволновалась, и полиция убралась. На Невском импрови-

зированный хор вместо «Святый боже» грянул революционную песню — провожали «идеолога народничества» и марксисты; отдавая покойному последний долг, они были уверены в своей победе в грядущей борьбе.

Со второй книжки журнала ответственным редактором-издателем стал один Короленко, а в мае в состав редакции вошли П. Ф. Якубович, А. Г. Горнфельд и А. В. Пешехонов (позднее присоединился В. А. Мякотин).

...Два года назад, весной 1902 года, после тяжелого недуга, скончался незабвенный Глеб Иванович Успенский. Через год не стало Эвелины Иосифовны. 1904 год стал годом трех смертей близких людей. 5 июля в Джанхот, где отдыхал писатель, пришла телеграмма о смерти Чехова. Когда притупилась боль после ошеломляющего известия, Владимир Галактионович принялся за вторые уже в этом году воспоминания. Михайловский, Чехов... Короленко осознал сейчас особенно отчетливо, что чувство, которое он испытывал к Чехову, без преувеличения можно было назвать любовью.

В конце ноября пришло из Москвы известие о смерти брата Юлиана.

К горечи потерь близких и дорогих людей примешивалась большая тревога за судьбу страны.

В 1904 году Россия вошла в полосу политического террора: как-то очень уж торопливо стали убивать террористы чиновников высших рангов, среди них был Бобриков, генерал-губернатор Финляндии, старый знакомец по тяжбе с «Русским богатством». Наконец убили и самого Плеве, всесильного министра внутренних дел.

В конце декабря — ошеломляющее известие: Порт-Артур взят японцами. Мальчишки на полтавских улицах, словно им зажала рты какая-то специальная инструкция, сообщали новость тихо, доверительно. Прочитав телеграммы, Короленко задумался. Он никогда не числил себя в числе сторонников квасного патриотизма в этой несчастной войне, но известие о новом поражении больно ударило его.

В каких-то неопределенных ожиданиях, неясных опасениях и надеждах встретили новый, 1905 год.

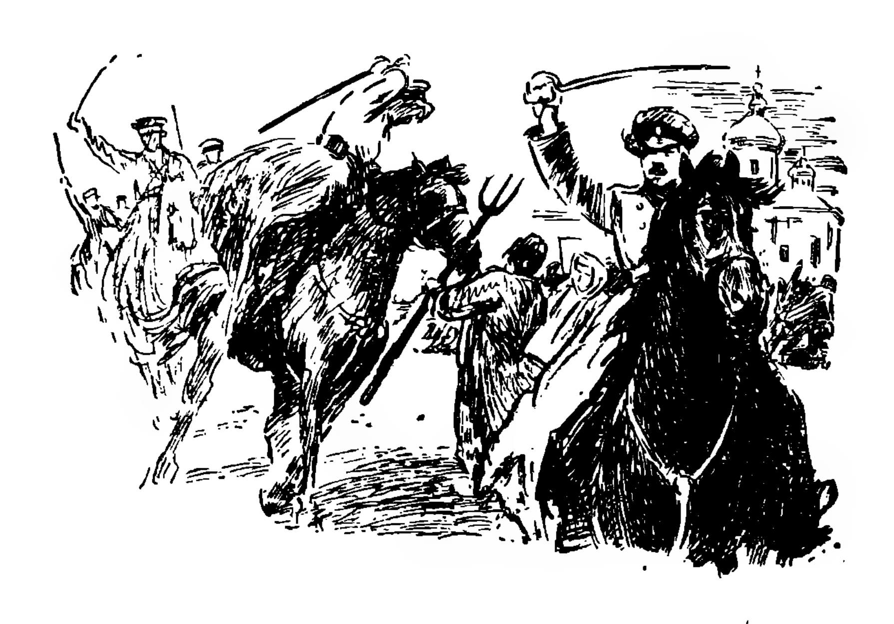
В рабочих кварталах Питера, за заставами Москвы, на фабричных окраинах Лодзи, Ростова, Одессы что-то назревало, тихое, грозное, твердое. «Облака грядущего бросают свои тени на землю настоящего», — в такую формулу отлилось в эти дни и месяцы настроение Короленко.

7 января в газетах появилась загадочная телеграмма: во время крещенского салюта одна из пушек, установленных на Васильевском острове, у Стрелки, рванула по Зимнему картечью. Есть раненые, выбиты во дворце стекла. Убит городовой по фамилии Романов. Символический, хотя и загадочный, случай. Зимний дворец получил крещение огнем...

Сколько раз, размышляя о текущих событиях, Короленко ловил себя на том, что в разнообразных вариациях обдумывает все одну и ту же мысль:

— Будет буря, товарищ!..





X. ПЕРВЫЙ НАТИСК БУРИ

> Уже прокатился громовый удар
> С неведомых горных высот,
> И дрогнула сила безжизненных чар,
> Тяжелый колеблется гнет.
>
> *В. Г. Тан-Богораз*

Самодержавие несовместимо с жизнью

Одна за другой пришли две телеграммы — звали в Петербург в связи с событиями 9 января. Короленко спешно выехал.

Смысл происшедших 9 января событий стал ему ясен уже из первых, хотя и глухих и сбивчивых, сообщений: самодержавие пришло к тому, к чему шло и неизбежно должно было прийти, — к кровавой войне со своим народом и прежде всего с рабочими, наиболее сознательной и организованной частью народа.

Отлучение от церкви Толстого в 1901 году было одним из первых в новом веке натисков на свободную мысль. Затем последовало свирепое усиление полицейского и поповского надзора за совестями и

душами. Притязания политической полиции повлекли за собой не менее наглые притязания полиции религиозной. Российский клерикализм — грубый, корыстный, изуверский — поднял голову. Изуверство политическое связывалось с изуверством религиозным.

Да, он, Короленко, теперь убедился окончательно, что был прав, когда считал ретроградное правительство слепым, близоруким, неспособным ни на одну живую реформу. Но правительство словно нарочно, чтобы поскорее показать свою враждебность народу, обществу, России, упорно продолжало насаждать бюрократию и поощрять клерикализм, раздувать дикие националистические инстинкты, давало широкий простор самому наглому милитаризму и вместе с тем душило всякое проявление свободного слова.

Какую сторону жизни ни взять — самодержавие оказывается в резком противоречии с жизнью. Министры народного просвещения не терпят просвещения. Министр путей сообщения бессилен бороться с воровством путейских чиновников. Министр земледелия отсталой аграрной страны тормозит развитие сельскохозяйственного образования. Министр юстиции ревностно преследует начала правосудия и требует, чтобы оно согласовало свою деятельность с «видами правительства».

Два года назад, в начале 1903 года, в заграничном русском журнале «Освобождение» Короленко поместил две статьи — «Самодержавная беспомощность» и «Суррогаты гласности для высочайшего употребления». В них он резко и прямо поставил вопрос об отношении к самодержавию передовой части русского общества. Не сдерживаемый цензурой, Короленко писал, что *самодержавие несовместимо с жизнью;* русская жизнь давно переросла те до нелепого узкие общественно-политические рамки, в которые омертвевшим бюрократическим строем она насильно вгоняется. Бессмысленны мечтания остановить или задержать развитие великой страны.

Теперь самодержавная бюрократия, управляю-

щая страною, пытается утопить в крови народное движение. Но рабочий вопрос не мелкая служебная подробность той или иной полицейской политики. Рабочие требуют реального изменения условий своего существования, и это начинает походить на раскаты приближающейся грозы. Быстро растущее сознание народных масс — лучшее свидетельство темпов общественного развития. Жизнь не ждет. Возврата к прошлому быть не может!

Редакция «Русского богатства» выглядела словно после набега татар: не арестовали только Аркадия Георгиевича Горнфельда. Через день после приезда Короленко пришла удрученная жена Якубовича: мужа увезли в Петропавловку.

Накануне 9 января, когда весь Петербург знал о намерении рабочих идти к Зимнему, Горький, Арсеньев, Гессен, Анненский, Пешехонов, Мякотин и представитель от рабочих попытались добиться аудиенции у Святополка-Мирского, чтобы отвратить завтрашнее кровопролитие. «Либеральный министр эпохи доверия» отказал в приеме. Поехали к С. Ю. Витте, председателю Комитета министров, и тот, поговорив со Святополком по телефону, заявил, что уже ничего нельзя сделать: меры на завтра приняты. Делегатов арестовали.

«Какие меры? — думает Короленко. — Приказали стрелять, и уже ничего нельзя было изменить?..»

Он сидит бледный, неподвижный и слушает рассказы о памятном для России дне. Слушает о том, как рабочие рвали на груди одежду и под дулами винтовок кричали: «Пали, все равно жить нельзя!» И как в них стреляли — без промаха — христолюбивые воины, метко стреляли, лучше, чем в японцев. Слушает о том, как, затравленный, страшный в гневе и бессильный уже что-либо изменить, метался по Петербургу Горький; как рыдал в людном вестибюле Публичной библиотеки, не имея сил скрыть гнев и ужас, Анненский; как рабочий Петербург ответил на расстрел своих братьев первыми баррикадами.

Полиция попыталась организовать депутацию

рабочих к царю, и на приеме Николай II должен был, милостиво простив «бунтовщиков», пожаловать деньги семьям пострадавших. Несмотря на тщательный полицейский отбор, делегаты отказались взять подачку из рук, обагренных рабочей кровью. Зато с благодарностью принимались деньги, начавшие поступать для семей убитых и раненых в адрес «Русского богатства».

Под впечатлением всех рассказов Короленко в один день написал статью «9 января в Петербурге».

Он писал о «великом и трудном значении» рабочего вопроса, о бессмысленности попыток вогнать рабочее движение в благонамеренные бюрократические рамки, запрячь его в полицейскую колесницу. Развивающееся сознание народных масс и прежде всего рабочих не мирится с насилием, убийствами. Начинается новая эра русской жизни, и грозные дни — впереди... Писателю повезло: цензор пропустил статью, и книжка увидела свет, хотя и с опозданием.

1 февраля выпустили Анненского, и на следующий день оба друга отправились на собрание Литературного фонда, где Короленко выступил с предложением ходатайствовать об освобождении из крепости Горького и других литераторов.

5 февраля писатель уехал в Полтаву.

«История моего современника»

Хаткú — небольшая деревенька на берегу Псла, в нескольких верстах от большого села Великие Сорочинцы и верстах в двадцати от Миргорода. Здесь, на горé, над рекой купил Владимир Галактионович в 1903 году усадебку в полдесятины с колодцем и садом.

К лету 1905 года на месте развалившейся хатенки был построен небольшой дом. Здесь, в рабочей комнатке, в мезонине с чудесным видом на поймен-

ные луга и рощи, на извилистую серебряную ленту Псла, Короленко в конце лета начал писать «Историю моего современника».

Часто, особенно в первый период работы, когда он еще не был вовлечен в мощный поток воспоминаний, Короленко откладывал перо и надолго задумывался. Какие цели он ставит перед своей работой, что должен найти в ней читатель?

Ему уже пошел шестой десяток. Прожито полстолетия, и теперь он (если употребить образное выражение Гёте) оглядывается назад, на дымный и туманный путь. Сделать это было давней его мечтой, одной из важнейших литературных задач жизни. Долго он не мог приступить к ней — было трудно оторваться от непосредственных ощущений настоящего, оглянуться на прошлое спокойным взглядом бытописателя, осмыслить нынешнее и минувшее в их взаимной органической связи.

Нелегко быть бесстрастным описателем событий, бывших сорок лет назад — в первые годы после *«освобождения»,* сознавая, что ныне, отделенная от того времени четырьмя десятками лет, Россия переживает последние годы *перед освобождением.* «А на что ушли эти сорок лет?» — может спросить читатель. Как объяснить все это ему, оглушенному бурным грохотом грозных дней, современнику, очевидцу, участнику Порт-Артурской эпопеи, или десятидневного существования матросской республики на броненосце «Потемкин», или побоища в Цусимском проливе, — как привлечь его к тихим движениям детской мысли, как показать переход от этих мыслей к событиям и мотивам, тесно и неразрывно связанным с важнейшими вопросами современности?..

Он хочет написать не историю своего времени, а только историю одной жизни в это время. Эта книга не биография, он не станет особенно заботиться о полноте биографических сведений; эта книга не исповедь — он не верит ни в возможность, ни в полезность публичной исповеди. В своей работе он будет стремиться к возможно полной исторической правде.

В его записках не будет ничего, что ему не встречалось в действительности, чего он не испытывал, не чувствовал, не видел. И все же — он не будет пытаться дать собственный портрет: читатель найдет здесь только черты из «истории современника», человека, известного ему ближе всех остальных людей его времени.

Нет никакого сомнения, что корни современных революционных бурь ушли далеко в прошлое — в 60-е, 70-е и последующие годы. Он попытается вызвать в памяти и оживить ряд картин прошлого полустолетия. Теперь многое из того, о чем мечтало и за что боролось его поколение, появилось на арене общественной жизни. Многие эпизоды из его ссыльных скитаний, события, встречи, мысли и чувства людей того времени и той борьбы не потеряли интереса и теперь. И сейчас жизнь колеблется и вздрагивает от острых столкновений новых начал с отжившими. Он надеется, хоть отчасти, осветить некоторые элементы этой борьбы.

Короленко работал со все большим увлечением, — до последних чисел сентября, пока бурные события бурного года надолго не оторвали его от воспоминаний.

В Полтаве погрома не было

До сих пор рабочее движение обходило Полтаву стороной, а теперь первомайская забастовка взбудоражила весь город. Утром 1 мая у Подольского спуска неподалеку от Ворсклы, куда Короленко со своим соседом М. И. Селитренниковым шел купаться, их обогнала идущая на рысях сотня донских казаков. На улице стояла кучка людей, оживленно обсуждавших событие. Забастовка из Киева перекинулась в Харьков, Николаев, Полтаву... От киевлян приезжали представители.

Рядом оказался средних лет рабочий в замасленной рубашке и брюках, руки и лицо его были в копоти. Короленко встретился с ним глазами. Рабочий весело подмигнул на казаков.

— Що це у вас? — спросил Короленко.

— Забастували наши, — отвечал деповец, свертывая цигарку. — Нияких беспорядков нэ було. Забастували та й забастували, бильш ничого... — и рабочий опять улыбнулся.

Эта спокойная, уверенная улыбка убеждала больше, чем громкие речи ораторов, — за ней действительно чувствовалась сила. И эта сила вскоре дала себя знать — в июле, чтобы пресечь черносотенную агитацию на Ильинской ярмарке, деповские рабочие, руководимые комитетом РСДРП, организовали охрану базара так толково, что ни один погромщик не смог «поработать» среди крестьян.

7 октября 1905 года началась всероссийская стачка, захватившая и Полтаву.

Не стало слышно гудков паровозов на станции. Затихли фабрики, мельницы, типографии, железнодорожное депо.

Рабочие ходили сдержанно веселые. Обыватели притихли. Начальство растерялось. Черносотенцы были в панике.

Писатель решил, что сейчас самое подходящее время начать действовать. Группой местной передовой интеллигенции во главе с Короленко у престарелого и больного племянника Н. В. Гоголя — В. Я. Головни была куплена газета «Полтавщина». Официальным издателем стал А. И. Смагин, ответственным редактором Д. О. Ярошевич. Так, наконец, осуществилась давняя мечта Владимира Галактионовича создать «свою» газету — оппозиционную правительству и вместе с тем беспартийную, сознательно проводящую идею объединения широких демократических и социалистических сил. С появлением этого, хоть и с опозданием рожденного, детища Короленко всецело отдался борьбе. В «Полтавщине» до конца 1905 года им было помещено свыше сорока статей и заметок.

Откликаясь на всеобщую октябрьскую стачку, Короленко писал в большой статье «Что у нас было и что должно быть»:

«Смысл всей этой сети забастовок, охватившей



В. Г. Короленко и его знакомый народный учитель В. В. Сытин после восхождения на Ай-Петри (Крым). Фото 1910 года.



Из румынских зарисовок В. Г. Короленко 1897 года.



В. Г. Короленко в группе родных и знакомых — румынских общественных и политических деятелей. Слева направо:
стоят — Наталья Владимировна; В. Г. Короленко; К. Доброджану-Герea, деятель румынского рабочего движения; сын Герea — Александр; сидят — Софья Владимировна; В. С. Ивановский; В. П. Красеску, писатель, издатель детского журнала; сын Герea—Ионель, А. С. Короленко; жена Герea — Софья. Южные Карпаты. Фото 1897 года.



Лев Николаевич Толстой. Фото 1910 года.



Изданіе редакціи журнала „Русское богатство“

Владиміръ Короленко.

Бытовое явленіе.

(Замѣтки публициста о смертной казни).

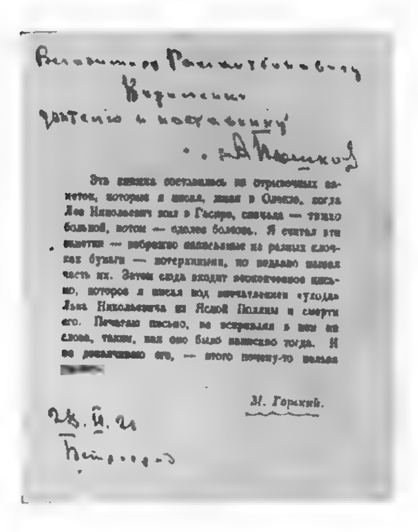
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1910

Обложка статьи В. Г. Короленко «Бытовое явление» с дарственной надписью автора Л. Н. Толстому. 1910 год.



Антон Павлович Чехов. Фото 1902 года.



Эта книжка составилась из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Олеизе, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала — тяжко больной, потом — одолев болезнь. Я считал эти заметки — небрежно написанные на разных клочках бумаги — потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением «ухода» Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не доканчиваю его, — этого почему-то нельзя [redacted]

М. Горький.

Первая страница книги А. М. Горького «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» с дарственной надписью.

с страшною силой все отрасли жизни, ясен. Страна отделялась от старого строя. На одной стороне осталось чиновничество, с своими силами — войском и полицией, — на другой — вся Россия».

Сознавая себя выразителем идей народной России, он от ее имени обращался к «чиновничьему самовластью»:

«Да, вы можете еще подавить наши требования, вы сумеете отвечать на все наши заявления выстрелами, арестами, тюрьмами, ссылками... Вы можете не слушать нашего голоса, гнать и арестовывать наших выборных...

Но штыками вы не вспашете наших необозримых полей, не пустите в ход сотни тысяч заводов, не вылечите миллионов больных, не выучите детей необходимым наукам, не восстановите железнодорожного движения на пространстве великой страны от одного моря до другого, от Балтики до Тихого океана...

Вы можете задержать и уничтожить что угодно, но создать ничего не можете без нас, без вольного труда всего народа».

17 октября в Полтаве был объявлен царский манифест.

Но «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов», возвещенные в манифесте, были поколеблены в Полтаве уже 18 октября. Когда группа радостно возбужденной молодежи с красными флагами, заручившись разрешением полицмейстера д'Айстеттена, кинулась освобождать из тюрьмы арестованных, на нее набросились казаки, солдаты и учинили побоище.

Черносотенцы воспрянули.

21 октября состоялась «патриотическая» манифестация, после нее должен был начаться погром.

Но Короленко теперь не чувствовал себя таким бессильным, как в Кишиневе. Несмотря на забастовку, рабочие типографии печатали написанные им обращения к населению с требованием не поддаваться на погромные призывы.

Короленко побывал в думе. Вместе с ним отправились руководители полтавских рабочих — бывший путиловец токарь Тарасов, Антон Сандомирский, а также несколько гласных. Зал наполнен до отказа, и маленькая группа во главе с Короленко с трудом пробирается к столу. Писатель возбужден — он только что видел на улице готовых «к делу» погромщиков. Голос его звучит твердо, даже властно. Тарасов, который недавно познакомился с писателем, с удовольствием отмечает, что ошибся, приняв мягкость Короленко за признак слабости.

— Мы обязаны пойти туда, где сейчас готова пролиться кровь наших неповинных сограждан, — громко, напористо говорит писатель. — Необходимо встать на защиту беззащитного — в этом долг каждого из нас. Я зову вас, граждане, выйти на улицы и площади, и пусть насильник, готовый наброситься на жертву, встретит отпор в вашем лице.

Но гласные думы — крупные домовладельцы во главе с трусливым, пресмыкающимся перед губернатором городским головой В. П. Трегубовым — не откликнулись на призыв. Лишь несколько человек последовали за Короленко.

22 октября хулиганы и черная сотня перенесли центр своей агитации на базар, потом к городскому театру. И всюду, в самые напряженные моменты, когда готов был начаться погром, перед толпой появлялся Короленко — один или с двумя-тремя гласными.

Он призывал людей одуматься, не брать на себя ответственность за страшное, кровавое дело.

Многие погромщики стали расходиться. Тогда коноводы черной сотни, озлобленные постоянным вмешательством Короленко в их действия, попытались изолировать его. Они окружили писателя плотной стеной, а в стороне уже начали бить какого-то еврейского паренька. Владимир Галактионович, гневный, страшный и, несмотря на возраст, еще очень сильный, сумел прорвать кольцо, и с одним из гласных вырвал жертву из рук палачей.

И тут началось...

— Братцы, бей жидовского наймита! — заорал какой-то верзила.

— Бей жидов, они христьянскую кровь пьют! — поддержал его другой.

— Зачем вы это говорите, вы же врете! — крикнул Короленко.

— Та чого там його слухати, хиба вы не бачите, що його пидкупили? Бий!

И новый взрыв криков:

— Бей! Бей! Бей!..

И тогда все сгрудились вокруг него. Полил дождь. Злобные, искаженные, мокрые лица, занесенные кулаки, палки. И внезапно потемнело, ушло привычное, честное, земное, светлое, все словно перенеслось куда-то, в серую безысходность, в четвертое измерение.

Вдруг погромщики отпрянули в нерешительности. Через пустынную площадь, направляясь прямо к толпе, бежали несколько человек. С разбегу ворвались в толпу и встали со всех сторон, прикрыв Короленко, — маленькая отважная кучка рабочих, суровые, верные люди.

— Еле успели, Владимир Галактионович, — сказал один из рабочих. — Прямо с митинга. Усю дорогу от вокзала бежали. Теперь мы от вас ни на шаг...

За эти дни Короленко хорошо узнали в городе. Когда собирался митинг, люди требовали, чтобы выступал «дид в сивой шапке».

Рабочая охрана следовала теперь повсюду за писателем.

«Огромную услугу оказали железнодорожные рабочие, действовавшие разумно, гуманно и сдержанно», — писал Короленко своему другу Ф. Д. Батюшкову через несколько дней после событий, когда напряжение уже несколько рассеялось.

В «Письмах к жителю городской окраины», написанных в начале ноября, Короленко попытался объяснить темному, одураченному погромной агита-

цией мещанину, «жителю окраины Тарасу», путь к тому, чтобы стать гражданином и бороться за обновление «обнищалой, обкраденной и разоренной России». «Письма» были помещены в «Полтавщине».

Несколько раз Короленко ездил в уезд, выступал на сельских митингах, объяснял крестьянам значение для России манифеста 17 октября. Писатель в оценке событий заблуждался, полагая, что конституционная монархия, провозглашенная в царском манифесте, станет действительностью. Потребовалось время, чтобы он убедился в этом очередном обмане народа и общества самодержавием.

Ни рабочий класс, ни крестьянство царский манифест не удовлетворил. Мощная волна крестьянских выступлений, солдатских и матросских восстаний прокатилась по стране. Уже в период октябрьской стачки во многих городах были созданы Советы рабочих депутатов. Большевики активно готовили вооруженное выступление пролетариата. 9 декабря рабочая Москва подняла красное знамя восстания. О боях на Пресне узнала вся Россия.

В начале декабря ряд петербургских газет был закрыт за опубликование манифеста Совета рабочих депутатов, требовавшего созыва Учредительного собрания. «Союз защиты свободы печати» постановил: всем органам, входящим в его состав, в виде протеста перепечатать манифест. Правая печать требования не выполнила. Редакция «Русского богатства», хотя далеко не полностью согласная со всем содержанием манифеста, перепечатала его в № 11—12 за 1905 год. Журнал был запрещен, а редактора его, Короленко, привлекли к судебной ответственности.

— Есть место под обстрелом, — так объяснял свою позицию Владимир Галактионович. — Пусть по ошибке, но сложилось общее решение: непременно по этому месту пройти... Другие, не изменившие этому решению, одинаково с нами оценивавшие манифест, уже прошли по этому месту и угодили под пули. Теперь наша очередь...

Великая трагедия Великих Сорочинец

Разгром восстания на Пресне тяжко отозвался на Полтавщине: приободрились сельские кулаки, вернулись бежавшие в города мстительные помещики, вовсю свирепствовали конные стражники; губернская тюрьма и арестантские роты скоро оказались полными.

Пришли известия о крестьянском выступлении в местечке Великие Сорочинцы. «Полтавщина» поместила сообщение о событиях. Вскоре в квартире писателя появились неторопливые, степенные мужики из мятежного села. Рассказывали, рассказывали... Короленко записывал, выспрашивал.

А дело было такое.

Незадолго до выступления в Сорочинцах организовалась маленькая, но крепко сплоченная группка революционно настроенных крестьян и интеллигентов. От небольших собраний с обсуждением вопросов о земле и японской войне перешли к митингам. Собирали деньги на борьбу с самодержавием, говорили пламенные речи рабочие-ораторы из Кременчуга и Миргорода; мужики спрашивали, скоро ли придется драться им с кровопийцами.

В разгар этих событий по распоряжению губернатора князя Урусова стражники схватили члена группы Безвиконного. Тогда загремел набат, и сбежавшиеся крестьяне арестовали пристава, урядника, стражников разоружили и выгнали из села, а винные лавки закрыли.

Почти тотчас же стало известно, что из Миргорода на усмирение выступили каратели. Сорочинцы вооружились кто чем смог — косами, топорами, вилами. Наутро прибыл помощник исправника Барабаш с сотней казаков под командованием офицеров. Не успела смолкнуть военная труба, как раздался залп, и несколько человек упали. Крестьяне кинулись на казаков, смяли их, а Барабаша смертельно ранили.

Это была высшая точка протеста. Когда снова началась стрельба, крестьяне стали разбегаться, а казаки, все более зверея, носились за убегавшими, стре-

ляли, рубили на улицах, во дворах. Более двадцати человек остались на месте кровавой схватки; казаки свезли Барабаша в больницу, где он умер, и, освободив пристава с урядником, покинули Сорочинцы.

Произошло это 19 декабря, и в этот же день (завидная оперативность!) по приказу князя Урусова из Полтавы был двинут в мятежное село карательный отряд.

Старший советник губернского правления Филонов с отрядом донцов и терцев при двух пушках ворвался в Сорочинцы днем 21 декабря. К вечеру в злосчастном селе был наведен «порядок»: «зачинщики», нещадно избитые, сидели в холодной, казаки грабили имущество крестьян, насиловали женщин, избивали всех, кто попадал им под руку.

Наутро жителей согнали на площадь.

На крыльцо волостного правления вышел Филонов, оглядел наведенные на толпу орудия.

— Из этих пушек, — закричал крестьянам чиновник, опьяненный сознанием своей власти над ними, — я перестреляю вас, а остальных изрублю саблями, как капусту!.. На колени!

Вывели окровавленных, страшно обезображенных «зачинщиков», и Филонов, прежде чем отдать их под нагайки казаков, бил кулаком по вспухшим, заплывшим кровью лицам, выбивал зубы, пинал ногами в животы, исступленно кричал:

— Перебью, перережу всех бунтовщиков!

Но тут подал робкий свой голос священник.

— А не желаете ли сами лечь под розги? — прикрикнул на него Филонов, и батюшка съежился, затих.

А паства его, которую он учил смирению, смиренно стояла на коленях в глубоком снегу, без шапок, стояла час, другой, третий... Казаки ходили между коленопреклоненными людьми и хлестали налево и направо нагайками, а Филонов с крыльца кричал, чтобы били сильнее, кричал, что там, где он пройдет, не будет «красной заразы».

В последующие дни истязания происходили в соседних селах — Устивице и Кривой Руде.

23 декабря писатель вернулся из Петербурга в Полтаву.

— Ну, теперь — или я, или Филонов! — сказал Короленко, когда узнал все это. — Один из нас должен сесть на скамью подсудимых.

До сих пор корреспонденции в «Полтавщине» о «подвигах» Филонова не имели успеха — расследования никто не собирался назначать.

Короленко решил, что теперь его очередь писать — надо огласить всю правду об этой страшной трагедии. Надо добиться суда над беззаконниками в чиновничьих и полицейских мундирах. Надо, наконец, остановить, если это возможно, все шире разливающуюся эпидемию насилий и жестокости.

Факты, пусть в его открытом письме статскому советнику Филонову будут одни факты — тщательно проверенные, неопровержимые. И Короленко собрал эти факты и бросил их в лицо карателю, обвиняя его в деяниях, противных служебному долгу, достоинству и чести. Филонов нес в Сорочинцы, Устивицу, Кривую Руду не идею правосудия и законной власти, а только свирепую и беззаконную месть чиновничества за чиновника и за ослушание чиновникам. Он мстил даже невиновным. Он попирал все законы — старые и новые, подрывал в народе веру не только в манифест, но и в самую идею законности и власти, толкал народ на путь отчаяния, насилия и мести.

Короленко дописывал статью в страшном нервном возбуждении, слова сами слагались в фразы — четкие, законченные, гневные.

«Я кончил. Теперь, господин статский советник Филонов, я буду ждать.

Я буду ждать, что, если есть еще в нашей стране хоть тень правосудия, если у вас, у ваших сослуживцев и у вашего начальства есть сознание профессиональной чести и долга, если есть у нас обвинительные камеры, суды и судьи, помнящие, что такое закон или судейская совесть, то кто-нибудь из нас дол-

жен сесть на скамью подсудимых и понести судебную кару: вы или я...

А если и вы, как другие вам подобные, останетесь безнаказанным, если, избегнув всякого суда по снисходительности начальства и бессилию закона, вы вместе с кокардой предпочтете беспечно носить клеймо этих тяжелых публичных обвинений, то и тогда я верю, что это мое обращение не пройдет бесследно.

Пусть страна видит, к какому порядку, к какой силе законов, к какой ответственности должностных лиц, к какому ограждению прав русских граждан зовут ее два месяца спустя после манифеста 17 октября. За всем сказанным вы поймете, почему, даже условно, в конце этого письма, я не могу, господин статский советник Филонов, засвидетельствовать вам своего уважения».

«Открытое письмо статскому советнику Филонову» появилось в № 8 «Полтавщины» 12 января и на следующий день — в связи с громадным спросом — было выпущено на отдельном листке в качестве приложения к газете. Оно успело разойтись еще до того, как местное начальство опомнилось и обрушилось на газету с репрессией — «Полтавщину» приостановили. Общественное мнение было возбуждено до предела. «Письмо» перепечатал ряд газет в России и за границей. Филонов в это время орудовал в Кривой Руде, а без него нельзя было дать опровержения. Администрация оказалась в очень щекотливом положении.

17 января Филонов появился в Полтаве, и тотчас же разнесся слух, что губернатор потребовал от него официального опровержения.

Но до этого дело не дошло — оно решилось совсем по-иному.

Утром следующего дня к Филонову, идущему по людной улице в губернское правление, подошел неизвестный молодой человек и выстрелом в упор размозжил голову. В наступившей панике террорист скрылся. Юноша был членом местной боевой организации эсеров — Дмитрий Кириллов. Решение о казни Филонова было принято террористами еще до появ-

ления в печати «Письма», при первых известиях о «подвигах» карателя в Сорочинцах.

Все сразу переменилось.

Из убийцы и истязателя Филонов превращался в жертву «честного и непоколебимого исполнения служебного долга», а писатель Короленко из грозного, внушающего страх обвинителя становился «моральным подстрекателем к убийству из-за угла».

Короленко слали угрозы и смертные приговоры; однажды явились трое каких-то офицеров и, не застав Владимира Галактионовича, велели прислуге передать, что они приходили «наплевать Короленко в морду». «Помни, подлый и жестокий убийца Филонова, — писал автор одного из многочисленных анонимных писем, — что убийство это даром тебе не пройдет. Месть свершится, быть может, не скоро, но она свершится непременно, в этом будь уверен».

На писателя готовилось нападение — в этом убеждали не только угрозы взбесившихся черносотенцев, но и предупреждения многочисленных друзей и сторонников. В эти тревожные дни у дома на Мало-Садовой, № 1 появилась рабочая охрана — суровые, спокойные, худо одетые люди. Когда показывались подозрительные фигуры, рабочие бросали свои неизменные цигарки из дешевого крепчайшего тютюна, руки опускались в карманы, и охрана решительно шла на сближение с возможным противником.

Травля достигла своего апогея ко времени похорон Филонова — 20 января. В этот день в «Полтавском вестнике» появилось «Посмертное письмо статского советника Филонова писателю Короленко» — явный и заведомый подлог, составленный филоновским окружением. Это был истерический призыв к расправе, соединенный с жалкой попыткой оправдаться заведомо негодными средствами.

Короленко не пугали угрозы убить его. Но уехать на время из города было, однако, необходимо. В газете «Полтавское дело» (новое название «Полтавщины») он поместил заметку «К полтавской трагедии», где писал, что уезжает не из боязни суда над ним,

не из страха перед угрозами погромщиков, а для того, чтобы «не подавать со своей стороны повода для каких бы то ни было враждебных столкновений в эти дни».

Перед отъездом писателя к нему зашел незнакомый крестьянин. Он поспешил сюда для того, чтобы предупредить: сейчас в земском собрании какой-то чиновник сообщил гласным, что есть постановление об аресте писателя Короленко.

У крестьянина было хорошее лицо, и он смотрел в глаза открыто и честно. Этим он, наверное, обезоружил рабочую охрану, которая не подпускала незнакомых к дому.

— Послушайте, — сказал Короленко, — ответьте мне правильно. Неужели и вы и ваши думаете, что я действительно хотел, чтобы его убили?..

Ответа ждал с поразившим его самого нервным нетерпением. Мужик задержал руку писателя в своей тяжелой мозолистой руке и ответил прямо и честно:

— Я знаю... и много наших знает, что вы добивались суда. А прочие думают разно... Но... — еще раз заглянул в глаза и докончил с хорошей, подкупающей улыбкой, — ...и те говорят спасибо.

Короленко уехал.

Да, ему помешали привлечь Филонова к ответу, хотя убийство карателя спасло, как утверждают некоторые, не одно местечко от дикой расправы. Но он обращался к коленопреклоненным людям, зовя их подняться и отстаивать свое право прежде всего законными средствами. Он верит, что окончательный выход из нынешнего смятения лежит в той стороне, где светят законность и право, для всех равное: и для избитого на сорочинской площади человека в сермяге, и для чиновника в мундире, и для рабочего одинаково, как и для министра... Он знает, что слишком многие считают глубоко ошибочным заблуждением — надеяться на законность при всеобщем беззаконии. Моряки «Потемкина» или дружинники Пресни надеялись *в бою* добыть правду и свободу. У него другие способы борьбы, хотя цели у них

всех близкие — свобода родной страны, угнетенной деспотическим строем.

Короленко возвратился в Полтаву в начале апреля. Все это время он жил в Мустамяках, постоянно наезжая в Петербург по делам журнала. Писатель напряженно работал над «Историей моего современника», которая начала печататься в № 1 (январском) «Современных записок», выпущенных вместо приостановленного «Русского богатства». В марте журнал вышел под названием «Современность», где было продолжение «Истории».

По приезде в Полтаву Короленко был привлечен вместе с редактором «Полтавщины» Ярошевичем к судебной ответственности за «Открытое письмо» (их обвинили в оглашении заведомо ложных сведений о действиях должностных лиц и войск). Следствие тянулось более полугода и только в ноябре 1906 года было направлено к прекращению ввиду полной невозможности опровергнуть факты «Открытого письма».

Травлю писателя вела вся черносотенная и правая печать, начиная с начальстволюбивого «Полтавского вестника», монархического «Киевлянина» и кончая «Новым временем» и столыпинским официозом «Россией».

Махрово-черносотенная газета «Орловская речь» в траурной рамке поместила следующее объявление:

«Почитатели таланта с прискорбием душевным извещают о преждевременной кончине писателя-гуманиста Владимира Галактионовича Короленко, последовавшей 20 января, и с горечью сообщают, что место его занял с того же числа провокатор полтавской «красной сотни» В. Г. Короленко».

А навстречу мутной волне клеветы и угроз уже поднялась в защиту писателя прогрессивная печать — «Русские ведомости», «Киевская мысль», полтавский «Колокол» и многие другие газеты.

Короленко слали письма крестьяне: «Этот голос разбудил придавленную, истерзанную нашу сторону, где все притихло после кровавых и грязных событий

в с. Сорочинцах...» Писателя называли «светильником и заступником народной правды», сердечно благодарили за письмо Филонову.

Свою статью «Сорочинская трагедия» Короленко опубликовал весной 1907 года. Летом того же года статья в переработанном и дополненном виде вышла отдельной книгой.

Борьба Короленко с реакцией, со всем самодержавным строем продолжалась.





XI. МЕЖДУ ДВУМЯ РЕВОЛЮЦИЯМИ

Сердце слишком полно неотмщенными злыми обидами,
И молчать не могу — для молчанья не стало бы сил.
Но простите, коль песни мои прозвучат панихидами
Над холмами несчетных—нам близких и милых — могил.

Е. М. Тарасов

Против смертных казней

На веранде дома, в окружении семьи Короленко и знакомых, сидел слепой кобзарь из Сорочинец Михайло Кравченко.

Ой, як крикнув той Барабаш та на козацьку силу, —

пел кобзарь, перебирая тоскующие струны, —

Бійте ж тих сорочан та не жалійте,
Кіньми топчите, з рушниць стріляйте,
Рани й смерть завдавайте!..
Рани й смерть, завдавайте!..

Это дума Кравченко «Чорна неділя у Сорочинцях». Певец изливает печаль народа о своих погибших от рук карателей сынах. Но нет уныния — ско-

рей сдержанный гнев, скрытая ярость и боль. И какую силу вкладывает кобзарь в песню — она должна звать к борьбе!..

Да, самодержавие бесповоротно осуждено историей. Оно задушило революцию, распустило Первую Государственную думу, разогнало Вторую. Социал-демократическую фракцию Второй думы новый председатель Совета министров Столыпин отправил в Сибирь. Страна покрыта виселицами. Не хватает тюрем, арестованными набивают казармы, арендуют под каталажки частные дома. Разогнаны рабочие профсоюзы. Столыпинская реакция, мрачное, темное, жестокое время...

Когда Короленко в 1906 году напечатал отдельной брошюрой статью «Слова министра. Дела — губернаторов», в которой показал подлинное лицо врагов свободы — Столыпина и присных, — книжку запретили. Многочисленные его статьи на общественные и политические темы вызывают бешеный вой реакционеров. Полтавские черносотенцы грозят расправиться с ним. Передавали, что полицмейстер Иванов приказал завести специальное «Дело по наблюдению за писателем Короленко»...

— Что же еще спеть вам? — слышит Владимир Галактионович голос кобзаря.

И снова поет-плачет бандура о юных хлопцах, казненных царевыми катами за то, что хотели они новой жизни... Поет слепой певец старинные трогательные и мужественные песни о гетмане Сагайдачном, о гайдамаках, о Морозеньке, сложившем лихую голову в боях с врагами:

Ой, Морозе-Морозеньку,
Славный ти козаче,
Що по тобі, Морозеньку,
Вся Вкраїна плаче...

Готовясь к новой борьбе, народ вспоминает о своих защитниках... Короленко здесь, в Хатках, не ищет земли обетованной, где бы можно было уйти в мир воспоминаний о пережитых его «современником» суровых годах борьбы с произволом. Когда писатель ненадолго отрывается от бурных событий на-

стоящего, он отправляется в эту глухую деревеньку, где лучше всего дается работа над «Современником». Закончен и напечатан первый том, он трудится над вторым томом. Еще с 1899 года — времени присуждения к смертной казни Ильяса Юсупова — Короленко начал собирать материалы о смертной казни в России. Сначала это были немногие газетные вырезки, но уже с 1905 года в большом количестве стали прибавляться материалы столичной и провинциальной печати, подлинные письма смертников или копии их, свидетельства очевидцев... В прошлом, 1909 году, бывший депутат Второй Государственной думы В. Г. Архангельский из Нижегородского тюремного замка передал в редакцию «Русского богатства» рукопись о смертниках тюрьмы. Она была использована писателем в работе над статьей о казнях.

...Нижегородская тюрьма, куда четверть века назад попал сам Короленко, только что вернувшийся из Сибири. Тогда еще не было этого страшного слова — «смертник»: были пересыльные, каторжные, высидочные — смертников не было. Теперь появились. Для них отведены башни — мрачные сырые колодцы. Тюрьма мало знает о тех, кто там сидит. Но порой откуда-то, словно из-под земли, раздается невнятное пение, и тогда тюремщики начинают бегать, суетиться, а часовые стучат прикладами в холодный кирпич.

— Башня, перестань петь! Башня, тебе говорят, — замолчи!

Из башни выводят людей в предутренние часы на площадку за тюрьмой, где стоит виселица, и там, в тишине, совершается черное, безмолвное дело, а остальные обитатели тюрьмы слушают — не отзовется ли тишина, и шепотом высказывают предположения о том, чья жизнь обрывается сейчас во мраке, в тайне, в ненависти, в проклятьях палачам.

Как ни крепки засовы, как ни надежны тюремщики, как ни темны ночи, выбранные для казней, — тайное нередко становится явным — в разговорах

попутчиков, в скупых газетных строках, в запросах думских депутатов.

...Январской ночью 1909 года из Ставрополя к Ростову-на-Дону шел поезд, и в вагоне третьего класса сидел пожилой человек, одетый, как одеваются мужики украинцы. Сидел в уголке тихо, неподвижно. Сидел и молчал. Отчего молчит человек, заинтересовались попутчики, или несчастье какое... Да, действительно, несчастье маленькое вышло. Какое же? Болен кто-нибудь?

— Никто не болен... Сына повесили, — ответил мужик тихо, даже как будто спокойно, и все замолчали.

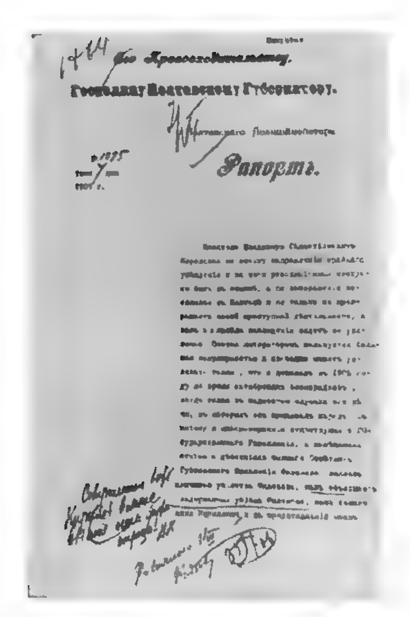
Тогда молчаливый хохол вынул из кармана документы, и кто-то из грамотных, наклонясь к свечке, стал читать. Первым было письмо.

«Здравствуйте, дорогие родители, дорогие папа и мама, и дорогие братья и сестры. Я в настоящее время сижу в одиночке, в последнюю минуту повели меня. Нас на казнь пять человек: Котеля, Воскобойникова, Лавренова и Киценка. Вы хорошо знаете, кажется, кто был я, и умру не первый и не последний... Гордитесь своим сыном, я умираю гордо и смело смотрю смерти в глаза, я нисколько не боюсь ее, я очень рад, что кончено мое мученье... Я очень весел, этим я горжусь, что умер не трусом... Это последнее, прощальное письмо. Целую вас — папу, маму, Васю, Ваню, Катю, Маню, Варю. Прощайте, прощайте. Коля Котель».

В тяжелом молчании слушали письмо неизвестного, теперь уже казненного юноши.

— Лучше бы меня повесили, — говорит отец, и теперь его голос никому не кажется спокойным: это голос до предела исстрадавшегося человека. — Добрый был, ласковый. Никому зла не сделал. Ну, хоть бы в каторгу послали, все-таки был бы жив... Растили, радовались... Мать пропадает от горя, у меня точно сердце из груди вынули... Пусто...

В молчании берут из бессильной руки вторую бумажку.



Его Превосходительству
Господину Полтавскому Губернатору.

Рапортъ.

Рапорт полтавского полицмейстера губернатору о деятельности В. Г. Короленко. 1907 год.



В. Г. Короленко. Полтава. Октябрь 1905 года.

В. Г. Короленко в группе адвокатов и журналистов во время процесса Бейлиса. Второй справа сидит В. Г. Короленко, слева сидит с ним рядом В. Д. Бонч-Бруевич, справа — С. Я. Елпатьевский. 1913 год.



В. Г. Короленко. Фото 1921 года.



В. Г. Короленко с родными. Сидят: А. С. Короленко, В. Г. Короленко; стоят: Софья Владимировна, В. С. Ивановский, Наталья Владимировна. Тульча (Румыния). Фото 1903 года.



В. Г. Короленко в группе сотрудников «Русского богатства». Слева направо: Н. Ф. Анненский, Р. Ф. Якубович — жена поэта, С. Я. Елпатьевский, поэт П. Ф. Якубович, А. С. Короленко, А. И. Куприн, Л. И. Елпатьевская — жена писателя, В. Г. Короленко. Фото начала 900-х годов.

«Милостивый государь! — написано здесь четким торопливым почерком. — Сын Ваш был осужден судом к смертной казни, причем суд постановил ходатайствовать перед Каульбарсом о замене смертной казни каторгой. Сегодня в тюрьме случайно узнал о том, что Каульбарс не уважил просьбы, и смертный приговор приведен вчера в исполнение. Присяжный поверенный В. Гальков».

Простая, страшная и столь обычная теперь российская история.

Николай Котель. Повешен 26 ноября 1908 года за экспроприацию.

Степень вины казненного вызвала сомнение даже у бестрепетных судей в мундирах, у которых каждая вина была виновата и влекла только одно наказание — повешение. У юноши были шансы на избавление от петли, и их отнял строгий ревнитель неправосудия генерал Каульбарс. О, этого человека знали многие в вагоне! Это тот самый Каульбарс, который во время японской войны, командуя 2-й армией, не выполнил приказов главнокомандующего Куропаткина и явился одним из виновников страшного мукденского разгрома. Преданный военному суду, Каульбарс был высочайше помилован — и после этого лишил своей генеральской милости Колю Котеля и многих других Котелей, виновных, может быть, только в том, что они родились, жили, страдали и искали путей к новой жизни в стране, отсталой экономически и политически.

Начать обновление страны надо не с казней, а с разрушения и перестроения форм общественной жизни, в отсталости которых виноваты правящие круги, а никак не народ. Эта мысль стала главной в статье Короленко, первые главы которой были напечатаны в мартовской книжке «Русского богатства» за 1910 год. Он назвал ее «Бытовое явление». Это были факты, размышления, выводы о казни, ставшей после разгрома революции «простым и будничным делом», «хозяйкой в доме русского правосудия», настоящим «бытовым явлением».

Короленко писал эти статьи кровью сердца. Он

словно сам переживал все описанное им: сидел в башнях со смертниками в ожидании казни, торопливо набрасывал в грязной тюремной конуре прощальное письмо близким, слал проклятия палачам у разверстой могилы или, плача и моля о прощении, пред иконой убеждал в своей невиновности судей...

Они же были непреклонны. И бездарный воин генерал Каульбарс. И барон Меллер-Закомельский, садист и вешатель. И генерал Ренненкампф, трусивший перед японцами и заливший кровью русских рабочих города и станции Забайкалья.

В сражениях с народом не знали поражений, не несли потерь все эти каульбарсы и дубасовы, мины и риманы, ясенские и скалоны, меллер-закомельские и ренненкампфы, сухомлиновы и чухнины... Война их с Котелем и тысячами других Котелей пока закончилась победой «непреклонных воинов»...

Спокоен ли отец казненного юноши, спрашивал писатель, спокойны ли другие отцы, братья, друзья? Они, как и отец Коли Котеля, бережно хранят на груди свои страшные «документы» и готовы предъявить их по первому запросу. Обладателей таких «документов» много. А за ними — народ! Когда, при каких обстоятельствах, в какую инстанцию он их предъявит?..

Этот грозный вопрос палачам предъявил автор «Бытового явления» — от имени жертв, от имени всех народов великой и бесправной империи Российской. «Читать это тяжело, — с суровой простотой кончал Короленко свою статью. — Писать, поверьте, еще во много раз тяжелее... Но ведь это, читатели, приходится переживать сотням людей и тысячам их близких».

Прежде чем успели появиться в апрельской книжке «Русского богатства» за 1910 год заключительные главы «Бытового явления», пришло письмо от Льва Толстого.

«Владимир Галактионович, — писал он. — Сейчас прослушал вашу статью о смертной казни и всячески во время чтения старался, но не мог удержать

не слезы, а рыдания. Не нахожу слов, чтобы выразить вам мою благодарность и любовь за эту и по выражению; и по мысли, и, главное, по чувству — превосходную статью.

Ее надо перепечатать и распространять в миллионах экземпляров. Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие драмы, романы не произведут одной тысячной того благотворного действия, какое должна произвести эта статья».

Написанное 27 марта письмо Толстого 18 апреля появилось в газетах, номера которых были тотчас же конфискованы.

В июле «Бытовое явление» вышло отдельной книжкой, изданное почти одновременно «Русским богатством» и И. П. Ладыжниковым в Берлине (здесь с письмом Толстого вместо предисловия). В этом же году статья, переведенная на несколько европейских языков, вышла в Болгарии, Германии, Франции, Италии. Позднее книга появилась в Сербии, Бельгии, Испании, была издана в далекой Японии.

Владимир Галактионович послал «Бытовое явление» в Ясную Поляну автору «Не могу молчать» с надписью: «Льву Николаевичу Толстому от бесконечно ему благодарного за великую нравственную поддержку Вл. Короленко».

Половину июня и весь июль 1910 года Короленко прожил в Куоккале, часто наезжая в Петербург по делам редакции. Соседом по даче оказался молодой критик К. И. Чуковский, и в это лето они очень сблизились — два в общем-то мало похожих друг на друга человека.

Как-то в трудную ночную минуту Короленко ушел от своего стола — от людей, которые — мертвые и живые — должны были войти в его новую статью — «Черты военного правосудия».

Лениво набегала на берег волна. С одной из лодок поднялась высокая темная фигура. Это был Чуковский. Обычно спокойный, он сейчас с каким-то горячим отчаянием, бессвязно, торопливо принялся

говорить о «Бытовом явлении», этой потрясающей книге, где без всякого пафоса, деловито, просто рассказано о том, как каждую ночь на виселицах гибнут люди, привычно убиваемые привычной рукой палачей...

Да, да, отвечал Короленко, он и рад бы не писать обо всех этих ужасных вещах, его так тянет к себе художественное творчество (за последние годы он опубликовал всего несколько очерков — «О встречных людях», «На Светлояре», «Наши на Дунае»). Но что поделаешь — совесть публициста не дает покоя...

Они долго ходили по пустынному берегу, и Короленко рассказывал потрясенному собеседнику о судьбе кровельщика Глускера, ставшего жертвой вопиющей судебной ошибки, о других делах, когда военные суды приговаривали к смерти невинных.

Чуковский заговорил о своем плане, который он вынашивал уже несколько дней: а что, если русские писатели, художники, ученые возвысят свой голос против кровавого террора властей? Если на одной газетной полосе читатель увидит гневные строки Льва Толстого, Горького, Короленко, Репина и других, то общественное мнение всего мира сможет положить предел «бытовому явлению».

Короленко одобрил эту мысль и пообещал поддержку. Вскоре он прислал Чуковскому статью «Один случай», заключающую горячий протест против «военно-скорострельной юстиции». «...Нашу русскую кровь — впитывает жадная земля, наши слезы — сушит солнце, развевают ветры переменной погоды... Мы, как государство, консервативны только в зле...»

Короленко написал письмо Горькому на Капри, приглашая его присоединить свой голос «к этой маленькой противусмертнической литературной демонстрации». Вскоре пришел ответ: он был неутешительным. Поскольку выступление намечалось в кадетской «Речи», а в этой газете сотрудничали и

ренегаты революции — Н. Бердяев, С. Булгаков, М. Гершензон и другие, Горький решительно отказался от какой бы то ни было совместной с ними деятельности, даже от выступления против смертных казней. Это его кровные, идейные противники и теперь и в будущем.

«Взгляд Ваш и Ваше настроение понимаю, — отвечал Горькому Короленко, — но согласиться не могу. У меня в этом отношении другая точка зрения ...Затем, чтобы впоследствии иметь возможность вступить в борьбу на новой почве и по совершенно новым вопросам — стоит вступить в союзы с будущими противниками.

Я, впрочем, говорю тут о своем настроении. Лично ни к какой партии я не примкнул и считаю такое положение для писателя самым удобным. Перу есть где поработать и вне партийных рамок».

«Речь» напечатала статью Толстого «Действительное средство» и статью Короленко. «Противусмертническая демонстрация» состоялась, хотя и в более скромном виде — без статьи Репина и памфлета Леонида Андреева.

В октябре 1910 года Владимир Галактионович напечатал большую статью «Черты военного правосудия», в которой он обращал внимание общественности на слепую, несправедливую жестокость военных судов и, в частности, на дело М. В. Фрунзе, обвиненного в покушении на жизнь урядника. Под давлением общественности казнь была заменена Фрунзе каторгой.

Весной и летом 1911 года появились еще две статьи Короленко, направленные против смертных казней. Не довольствуясь этим, писатель лично хлопотал за осужденных военными судами участников покушений на представителей власти.

Когда хлопоты бывали безуспешными, Короленко надолго терял спокойствие, метался без сна ночами, старел на глазах. А потом с новой энергией бросался в бой за другую человеческую жизнь, на которую падала тень виселицы.

«Литературное дело великое, трудное, манящее, привлекательное и — страшное»

По дороге из Петербурга в Полтаву Владимир Галактионович 6 августа 1910 года заехал в Ясную Поляну: ему передавали, что Толстой хочет его видеть. Толстой и в самом деле был очень доволен его приездом. С доброй улыбкой он заметил гостю:

— Напрасно вы давеча говорили, что ваша статья о смертных казнях получила общественное значение благодаря моему письму к вам. Если это случилось, то только в силу достоинств самой статьи.

Короленко рассказывал о своих вольных и невольных скитаниях по Руси, о заграничном путешествии. Интерес Толстого и его симпатии к гостю все возрастали.

К концу вечера заговорили о литературе.

Для Короленко огромный художник Лев Толстой был еще с юношеских лет объектом непрестанного внимательнейшего изучения. К восьмидесятилетию великого писателя он опубликовал две статьи о нем и, если достанет сил, собирался еще вернуться к волнующим его проблемам отраженной у Толстого русской жизни, ныне всколыхнувшейся до глубины в трагическом усилии возрождения.

«Очень приятный, умный и хорошо говорящий человек», — записал этим же вечером Толстой в дневнике о своем госте. У Короленко впечатление от встречи осталось огромное и прекрасное.

А через три месяца, на этот раз полный беспредельной скорби, снова оказался Короленко в этих местах.

На пригорке, близ оврага, у подножий великанов дубов — свежая могила, вся покрытая венками. Толстого уже нет на земле, а люди все идут и идут... Поют «Вечную память», заглушая печальный шум облетевшего леса, добрым словом поминают того, кто ушел в иной мир, отказавшись от благословения церкви, первый в России писатель, схороненный не по церковному обряду.

...Жилось Короленко нелегко. За кипучими буднями трудно было беречь силы, которых становилось все меньше. Участились за последние годы смерти близких людей, друзей-ровесников. Горькой утратой была смерть А. И. Богдановича в 1907 году. Спустя четыре года умерли П. Ф. Якубович и шурин В. С. Ивановский. Летом 1912 года новый страшный удар, прямо в сердце, — не стало Николая Федоровича Анненского... В том же году умер зять Николай Лошкарев.

Но сколько бы ни уходило людей близких и дорогих, незаменимых сотрудников, верных соратников, усвоенный Короленко закон жизни говорил о том, что борьба продолжается, что живущие должны далее нести — нет, не крест, — а земные обязанности и свои, и тех, кто остался на трудном пути маленьким, едва прикрытым цветами холмиком.

Суды, следствия, аресты, приостановка и конфискация журнала, опять суды, вызовы к следователям и в судебные палаты. «Обвиняется в дерзостном неуважении к власти». Привлекается за «распространение заведомо ложных сведений...» Суды над редактором, суды над авторами статей... Привлекаются к суду редактор и автор статьи вместе... С января 1906 по февраль 1917 года — за одиннадцать лет — Короленко как редактор «Русского богатства» и автор статей подвергался почти непрерывным судебным преследованиям и состоял под судом более чем по одиннадцати делам. «Судами оброс как корой», — писал Владимир Галактионович брату весною 1912 года. К этому времени он был уже присужден на две недели крепости и предстоял суд еще по пяти делам. Редакция «Русского богатства», кроме своего престарелого редактора, почти вся перебывала в тюрьмах. Отсиживали по приговорам по целому году Елпатьевский, Петрищев, Пешехонов, Мякотин.

«Мы все видим в журнале не доходную статью, и все согласны, что уже если издавать журнал или газету, то только для того, чтобы стоять на том ме-

сте, где будущее встречается с прошедшим. Ну, а тут всего больше и ударов. Считаю для себя за счастье, что они не минуют и меня». Так формулировал Короленко основное направление «Русского богатства» в борьбе с произволом самодержавия.

12 января 1912 года петербургская судебная палата слушала дело редактора журнала «Русское богатство» В. Г. Короленко, обвинявшегося по 129-й статье («Возбуждение классовой вражды») — за напечатание в октябрьской книжке журнала за 1907 год антимонархической статьи Елпатьевского «Люди нашего круга».

Приговор был: две недели заключения в крепости. Сенат утвердил решение палаты.

Прежде чем все «тяжкие и нераскаянные преступления» Короленко, предусмотренные 128, 129, 1034-й и прочими статьями, подпали под амнистию по случаю трехсотлетия дома Романовых, ему пришлось еще раз сесть на скамью подсудимых. Это произошло 27 ноября 1912 года. На этот раз писателя обвинили в «дерзостном неуважении к власти» — оскорблении памяти предков ныне царствующего монарха путем помещения в редактируемом им журнале «Русское богатство» рассказа Л. Н. Толстого «Посмертные записки старца Федора Кузьмича».

Зал особого присутствия Санкт-Петербургской судебной палаты переполнен. Обвинительное заключение. Речь прокурора.

Короленко говорит в своем слове подсудимого, что если его и надо судить, то только за те купюры, которые он вынужден был внести под давлением цензурного гнета в произведение великого русского писателя.

Судьи не решились вынести старому писателю обвинительный приговор.

Короленко приходится вести борьбу одновременно на многих фронтах: с продолжающейся оргией бессудных казней, с засильем полиции в деревне, против издевательств над политическими заключенными в тюрьмах, с новым голодом, обрушившимся

на ряд губерний, с декадентами различных мастей и оттенков. Чем внимательней присматривался Короленко к творчеству декадентов, тем яснее для него становилось, что оно ничего не имеет общего с искусством, нужным народу. Манерничание, заумь. Смысла нет, а таинственное «что-то» нередко находится в явном противоречии со здравым смыслом.

Много сил и времени писатель уделял той категории людей, для которой литературное дело было особенно «трудным, манящим, привлекательным и — страшным» и в подавляющем большинстве случаев недоступным, — писателям из народа. А их притягивало к Короленко то обстоятельство, что он сыграл значительную роль в творческой биографии подлинного народного самородка Горького. Короленко не делал скидок на происхождение — для него главным критерием ценности присланного на отзыв произведения были его художественные достоинства. Но если он подмечал хоть искру дарования, то не останавливался уже перед размерами оказываемого им автору содействия — вплоть до материального из собственных небогатых средств.

С помощью Короленко в литературу пришли С. П. Подъячев и Н. В. Смирнова, большую нравственную поддержку оказал он А. С. Серафимовичу, А. П. Чапыгину, А. С. Неверову, привлек к работе в «Русском богатстве» талантливого бытописателя Дона Ф. Д. Крюкова, здесь дебютировал Д. Я. Айзман, печатались С. Н. Елеонский, А. Б. Дерман, помещал стихи находившийся в эмиграции молодой И. Г. Эренбург и многие, многие другие.

Передовое общество и наиболее сознательные люди из народа пользовались любым предлогом, чтобы выказать свою любовь и уважение Короленко как писателю, публицисту, общественному деятелю, как человеку. В начале января 1911 года группа петербуржцев и москвичей решила отметить двадцатипятилетний юбилей возвращения писателя из ссылки, соединив его с серебряной свадьбой супругов Короленко. За большие деньги был выкуплен у вдовы художника Н. А. Ярошенко портрет писателя,

почти запроданный в Америку, и поднесен в дар Авдотье Семеновне и Владимиру Галактионовичу.

Не менее, чем ярошенковский, стал известен портрет, который писал Илья Ефимович Репин летом 1912 года во время пребывания Короленко на даче в Финляндии.

Торжественно было отмечено в стране шестидесятилетие писателя летом 1913 года. Бесконечен поток поздравительных телеграмм, писем, адресов — от крестьян и политических ссыльных, рабочих и интеллигенции, политических эмигрантов, учителей, жителей далеких российских окраин. Большую статью «Писатель-гражданин» поместила ленинская «Рабочая правда».

«В. Г. Короленко стоит в стороне от рабочего движения. Он лишь представитель радикальной, демократической интеллигенции с народнической закваской... Но он сам несомненный демократ, всякий шаг народа на пути к демократии всегда найдет в нем сочувствие и поддержку.

Такие люди, как Короленко, редки и ценны.

Мы чтим в нем и чуткого, будящего художника, и писателя-гражданина, писателя-демократа...»

Так писала пролетарская, большевистская газета.

Одной из самых дорогих реликвий юбилея стала телеграмма К. А. Тимирязева.

«Дорогой Владимир Галактионович! — писал он. — Еще на школьной скамье Вы завоевали не только любовь, но и уважение Ваших учителей. Теперь, славный художник, чье каждое слово является делом, Вы владеете любовью и уважением бесчисленных читателей. Примите сердечный привет того, кто с радостью считает себя тем и другим».

Короленко отозвался прочувствованным письмом:

«Дорогой, глубокоуважаемый и любимый Климент Аркадьевич... Ваш привет светит для меня среди многих, частью шаблонных, но большей частью искренних юбилейных обращений, — особым светом... Он из тех, которые особенно трогают и особенно внятно говорят об ответственности за этот почет и об его незаслуженности. Много лет прошло с Акаде-

мии. Время делает менее заметной разницу возрастов. Но для меня Вы и теперь учитель в лучшем смысле слова».

Когда-то в одной из статей Короленко писал, что трудно быть литератором, вдвойне трудно быть литератором русским.

Он был сапожником, он пахал землю, он собирался стать лесоводом, адвокатом, технологом.

Он не смог бы быть не кем иным, как литератором и притом русским литератором.

«А все-таки русский народ — очень справедливый народ!»

Андрюшу Ющинского, тринадцатилетнего мальчика из предместья Киева Лукьяновки, убили где-то неподалеку от кирпичного завода еврея Зайцева. Тело мальчика было исколото каким-то острым орудием, и местные деятели черносотенных организаций «Двуглавый орел», «Союз русского народа» и подотчетная им печать поспешили объявить, что убийство имело ритуальный характер. Специально командированные министром юстиции И. Г. Щегловитовым товарищ прокурора и следователь энергично отвергли другие версии.

Нашелся и человек, которому приписали убийство мальчика с ритуальной целью — приказчик зайцевского завода еврей Мендель Бейлис.

Поднялась волна черносотенного улюлюкания, почти открытых призывов к погромам.

Однако навстречу этой волне поднялась другая — русская интеллигенция объединилась в протесте. Короленко, бывший в это время в Петербурге, написал воззвание: «Во имя справедливости, во имя разума и человеколюбия мы подымаем голос против новой вспышки фанатизма и темной неправды...»

Обращение «К русскому обществу (по поводу кровавого навета на евреев)» появилось 30 ноября 1911 года в газете «Речь». Вторым (после К. К. Арсеньева) подписал его Короленко, третьим — М. Горь-

кий. Здесь рядом стояли имена людей разных, зачастую прямо враждебных мировоззрений, объединившихся в одном протесте: Леонид Андреев, Алексей Толстой, С. Н. Сергеев-Ценский, Н. Ф. Анненский, С. Я. Елпатьевский, А. А. Блок, А. С. Серафимович, Янка Купала, Д. Крачковский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Федор Сологуб, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский и многие другие.

Воззвание было перепечатано почти всеми газетами, за исключением монархических и черносотенных.

Несмотря на плохое здоровье, устраниться от участия в предстоящем процессе Короленко не желал. Он решил стать защитником Бейлиса вне зала суда.

Почти два года тянулось следствие, и Короленко не терял времени даром. Он выступал в печати против вдохновителей гнусного процесса, разоблачал его черносотенный, погромный характер.

Болезнь помешала писателю присутствовать на разборе дела с самого начала. В Киев он с женою приехал 12 октября 1913 года, а уже на следующий день (с 19-го заседания) Короленко сидел в тесной ложе журналистов и, приставив к уху ладонь, внимательно слушал.

На процессе он стал центром группы прогрессивных журналистов. Общая борьба сблизила старого писателя с давним его корреспондентом В. Д. Бонч-Бруевичем, о котором Короленко знал, что он не только ученый, исследователь сектантства и враг религиозного мракобесия, но и социал-демократ, непримиримый противник самодержавия.

А процесс шел по намеченному пути, искусно руководимый людьми опытными и прямо-таки талантливыми в подобного рода делах. Письма Короленко с процесса выдавали его страх за исход суда.

«Суд по-прежнему старается обелить воров и обвинить невинного. Дело до такой степени явно и бесстыдно, что даже удивительно...», «Это не правосудие, а какой-то шабаш...»

На суде ни один ребенок не свидетельствовал против Бейлиса. Все обратили внимание, что дети реши-

тельно за него. Особенно запомнилась девочка-свидетельница.

— Знаешь ты Бейлиса? — спросил ее председатель.

Девочка смущенно оглянулась и, встретившись взглядом с подсудимым, улыбнулась ему, как старому доброму знакомому. И поникший, раздавленный происходящим Бейлис ответил ей улыбкой забитого, незлого человека. Показания и этой свидетельницы были в пользу подсудимого.

Короленко убедился, что выступление одного из свидетелей, М. К. Наконечного, противоречившее судейской версии, встретило общее сочувствие на Лукьяновке. Обитатели незавидных домишек, с которыми беседовал писатель, — рабочие, ремесленники, дворники, мелкие торговцы — морально поддерживали Наконечного, не скрывали своего сочувствия, когда он сам вызвался выступить свидетелем защиты.

Появился ряд статей и корреспонденций Короленко о процессе в столичной «Речи», в «Русских ведомостях». Писал он о своих посещениях Лукьяновки, об эксперте юдофобе Сидорском, о мракобесе пасторе Пранайтисе, о подстрекательских вопросах прокурора Виппера.

— А известно ли вам, — спрашивает затянутый в мундир прокурор Виппер у растерянного свидетеля, профессора духовной академии, — известно ли вам, что на маце по временам появляются красные пятна и что евреи сами считают их пятнами крови?

— А-а, вам неизвестно, — говорит он торжествующе и просит отпустить свидетеля, который, путаясь в длинном одеянии, уныло плетется на место.

— Не приходилось ли вам в судебной патологии встречать указания на человеческие жертвоприношения вотяков в мултанском деле? — спрашивает Виппер у профессора В. М. Бехтерева.

— Нет, — резко, но спокойно отвечает ученый.

— Прошу председателя удостоверить, что мултан-

цы были оправданы судом, — встает защитник Грузенберг.

— А я заявляю, что оправдательный приговор последовал после двух обвинений, — вскакивает гражданский истец, черносотенец Замысловский.

Короленко ждал этого. Ведь оба процесса близки друг другу, обвинения родственны. Недаром обвинитель вотяков Раевский начал свою речь на первом процессе категорическим заявлением: «Известно, что евреи употребляют христианскую кровь для пасхальных опресноков». «Известно и должно быть занесено в учебники, что мултанские вотяки принесли в жертву человека», — не менее категорически заявляют обвинители Бейлиса.

Короленко отдал в «Киевскую мысль» большую статью «Бейлис и мултанцы». Дела эти, доказывал писатель, сходны и серьезным заболеванием самого правосудия, отчасти близким к криминалу, и снисходительностью судей к «благонадежным свидетелям» уголовного типа, и непомерным влиянием на суд прокуратуры, а главное — преследованием невиновных.

Статья произвела очень сильное впечатление. Но главный свой козырь Короленко приберег под конец процесса. Вот уже несколько дней защитники, журналисты, публика, с надеждой поглядывавшие на Короленко в кромешном аду неправедного суда, перестали видеть его большую голову в полуседых кудрявых волосах. Писатель исчез. Шли 30, 31, 32-й дни процесса. Кончились прения сторон. «Где же Короленко?»

27 и 28 октября в утренних газетах напечатаны две статьи писателя «Господа присяжные заседатели».

Газеты со статьями шли нарасхват.

Короленко, появившийся снова в зале, объяснил друзьям, что эти дни он изучал списки присяжных по другим отделениям суда и пришел к выводу, что состав присяжных подобран искусственно: в их число вошли серые, малообразованные люди — крестьяне, чиновники, мещане. В огромном Киеве с университе-

том, театрами, газетами, массой интеллигенции среди присяжных столь громкого процесса не оказалось ни одного образованного человека... Обнародовав эти факты, писатель-демократ все же верил, что даже фальсификация не поможет обвинению.

«Я лично не теряю надежды, — заканчивал Короленко вторую статью, — что луч народного здравого смысла и народной совести пробьется даже сквозь эти туманы, так густо затянувшие в данную минуту горизонт русского правосудия».

Насколько прав был Короленко в своем анализе вопроса о составе присяжных, стало известно позднее: пятеро из двенадцати, в том числе старшина присяжных, оказались членами черносотенных союзов.

Приговор был вынесен вечером 28 октября. В городе готовился погром — черносотенцы были уверены, что Бейлиса «закатают».

Присяжные ушли в свою комнату.

Напряжение на процессе и в городе достигло предела.

Что́-то будет?! Время близится к шести часам.

Но вот выходят присяжные — с оправдательным приговором. Буря ликований. Мчатся сломя голову репортеры с криками: «Оправдан! Оправдан!»

Никого не интересуют подробности. Никто не хочет знать, что по предварительному подсчету семеро присяжных высказались за осуждение. Но когда торжествующий старшина присяжных Мельников приступил к окончательному голосованию, один из крестьян поднялся, повернулся к иконе, широко перекрестился:

— Нет, не хочу брать греха на душу: не виновен!..

На улицах толпы радостных киевлян: русских, украинцев, евреев — все поздравляют друг друга. Короленко узнают и устраивают ему бурную овацию. Тревожно свистят перепуганные городовые. Короленко напрасно пытается успокоить людей, запрудивших до краев улицу.

В номере к писателю подходит слегка подвыпивший на радостях Елпатьевский, присутствовавший на

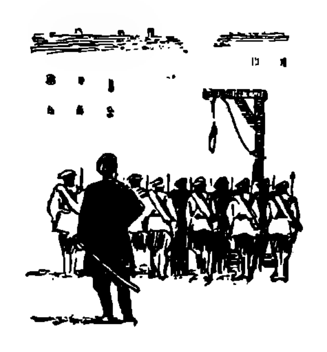
процессе в качестве журналиста, обнимает, заглядывает в глаза:

— А все-таки, Владимир Галактионович, русский народ — очень справедливый народ!..

Короленко с этим вполне согласен.

Через несколько дней в газетах появляется официальное сообщение, что против писателя Короленко возбуждено дело по обвинению его в распространении ложных сведений, возбуждающих вражду против правительства. Но какой это пустяк по сравнению с магическим словом «оправдан»!

Со здоровьем становилось все хуже. Врачи давно настоятельно рекомендовали лечение вдали от источников треволнений. В январе 1914 года Владимир Галактионович с женою и старшей дочерью выехал за границу, чтобы полечиться и повидаться с Натальей, незадолго перед тем вышедшей в Тулузе замуж за русского политического эмигранта К. И. Ляховича.





XII. ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ

Нам слышны громы, то — вековые
Устои рушатся в провалы;
Над снежной ширью былой России
Рассвет сияет небывалый.

В. Я. Брюсов

Франция, Россия, Европа воюют...

Наташа с мужем жила в предместье Тулузы Ларденне, населенном виноградарями. Ляхович слушал лекции в университете. Наташа ждала ребенка.

Через две недели все уехали в Ривьеру. Владимиру Галактионовичу предстояла большая работа по подготовке полного собрания сочинений — у него был договор с издательством А. Ф. Маркса. Некоторые из ранее написанных вещей не удовлетворяли писателя, он перерабатывал их и часто довольно основательно шлифовал, делал значительные дополнения.

В Ривьере, в местечке Болье, прожили два с половиной месяца. За это время Короленко лишь один

раз позволил себе на неделю оторваться от работы. Он посетил П. А. Кропоткина и Г. В. Плеханова. Семидесятидвухлетнии Петр Алексеевич жил на чужбине (страшно подумать!) уже тридцать восемь лет, и когда Короленко рассказывал изгнаннику о милой и недоступной для него России, он и сам волновался не меньше его.

Из Бордигеры, от Кропоткина Короленко поехал в Сан-Ремо, к Плеханову. Георгий Валентинович и Розалия Марковна тепло приняли гостя. Беседовали о России и Европе, о неотвратимо надвигающейся военной туче. В последних числах апреля, перед отъездом, Короленко посетил Плехановых еще раз.

5 июля Наташа родила ребенка, Владимир Галактионович стал дедушкой маленькой «француженки» Сонюшки.

Пришло известие, что в далеком, малоизвестном Сараево сербский гимназист Гаврила Принцип удачным выстрелом наповал сразил наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Это стало началом вселенской трагедии. Оказалось, что старая Европа, привычно болтающая о миролюбии, уже до зубов вооружена, и все хотят воевать — Германия, Франция, Австро-Венгрия, Россия, Англия... Сараевский выстрел раздался кстати... Не прошло и двух недель со дня рождения Сонюшки, как над ней и над миллионами других детей забушевала кроваво-аспидной тучей мировая война.

Ларденн опустел очень скоро. Мужчины садились в трам, и он вез их к призывным пунктам, прочь от родных виноградников, от домиков под красными черепичными крышами. Стало тихо, пустынно, печально и страшно.

Социалистическая «Юманите», газета убитого Жана Жореса, предупреждала народ о том, что́ несет ему война, предостерегала от массового психоза, от шпиономании, но голос ее звучал одиноко в согласном хоре шовинистически настроенной печати.

Обыватели распространяли панические слухи о немецких шпионах, об отравленных колодцах, из-

бивали людей со светлыми волосами, безоговорочно зачисляя их в «боши».

Волна исступленного «патриотизма» докатилась и до Короленко. Писатель с женою приехали в тулузскую мэрию для получения свидетельства на жительство, но вместо этого по указанию какого-то добровольного шпиона они были задержаны как «подозрительные иностранцы».

Поговаривали, что дела на фронте плохи. Официальная же пресса трубила о победах союзников, поносила немцев, этих природных злодеев. Отдельные честные люди в Германии просто обмануты Гильомом (Вильгельмом) Вторым, своим кайзером. Эта ребяческая философия войны глубоко возмущала Короленко. Миром, в том числе и Францией, оказалась позабытой печальная истина, что война — это великая трагедия, а не банальная история борьбы ослепительной добродетели с беспросветным злодейством.

Стало известно, что в Тулузу прибудет партия пленных немцев. Короленко поехал на вокзал.

Большая толпа женщин стояла на площади. Короленко увидел ненависть в их глазах.

Вот в дверях вокзала показались немцы. Они шли по четыре в ряд, высокие, угрюмые, без своих касок с пиками. Некоторые были ранены, и сквозь пыльные бинты проступали рыжие пятна крови.

Словно электрическая искра пробежала по толпе. Люди увидели тех, кто убивает их сыновей, мужей, отцов.

— Une femme, une femme (женщина, женщина), — вдруг заговорили вокруг. — Женщина с двумя детьми...

Женщина подбежала к колонне. Плачущего мальчика, которого она волочила за собой, она швырнула под ноги ближайшего немца, рывком протянула ему девочку.

Колонна остановилась. Все замерли.

В напряженной тишине послышался высокий исступленный голос:

— Возьми, возьми! — кричала француженка. —

Ты убил отца, возьми и детей... Бери же, проклятый, бери!..

Солдат несколько секунд стоял молчаливый, угрюмый. Его товарищи затравленно озирались.

Вдруг немец подался вперед. Он понял, что́ он должен ответить. Он поднял к небу голову и повернулся туда, откуда привез его поезд, потом оглядел толпу, точно призывая людей в свидетели, и воздел над собою руки с растопыренными пальцами.

И стало понятно всем, что этот дюжий немолодой мужик, одетый в форму враждебной страны, тоже и человек и отец и где-то далеко, за линией смерти и огня, у него шестеро детей.

А немец опустил руки, склонил голову и шагнул вперед. За ним двинулась вся колонна. И толпа смотрела уже без злобы.

— О мсье, — жалобно сказала знакомая ларденнка писателю на обратном пути к трамваю. — Он сказал, что у него там осталось шестеро детей. И его жена не знает теперь, жив ли их отец...

Простые французы простили и оправдали простых немцев.

Однажды внимание писателя привлекла заметка в «Юманите». На австрийском фронте у русского врача кончились перевязочные средства, и он послал солдата с приказанием достать их. Солдат с белым платком над головой отправился к австрийцам. Он объяснил, с какой просьбой русский врач обращается к своему австрийскому собрату. А потом нагруженный бинтами ушел обратно к своим линиям, где его ждали раненые и врач, правильно рассчитавший, что над полем, устланным трупами и ранеными в форме русской и австрийской армий, должна господствовать другая идея — взаимность, покрываемая наукой и любовью к человеку. Гуманность отвоевала у войны позицию!

Из газет писатель узнал, что французские власти отдали под суд персонал захваченного в плен немецкого госпиталя, обвинив врачей в мародерстве. Шовинистически настроенные газеты завопили: «Немцы все грабители, даже врачи!..» Но вскоре в «Юма-

ните» Короленко прочитал, что суд во второй инстанции вынужден был оправдать врачей — это произошло потому, что многие честные французы пришли свидетельствовать в пользу немцев.

Короленко написал об этом эпизоде статью в «Русские ведомости». На какой-то момент взаимной вражде, злобе, ненависти, кровавому междоусобью был положен предел. Статью писатель назвал «Отвоеванная позиция».

Скупые, неутешительные приходили вести с родины. «Русское богатство» приостановлено на все время войны. С трудом удалось добиться издания журнала под измененным заглавием — «Русские записки». Военная цензура не пропустила в полном собрании сочинений лучшие статьи — «Дело Глускера», «Черты военного правосудия», «Бытовое явление», «О свободе печати», «Судебную речь». «Из моей публицистики вынули душу», — жаловался писатель. В Полтаве в дом наведался пристав и передал повестку с вызовом в суд по поводу статьи «Господа присяжные заседатели». (Только революция избавила старого писателя от суда.)

Весной 1915 года в здоровье Короленко наступило заметное улучшение, и врачи разрешили длительную поездку. 19 мая 1915 года Короленко с женой выехали в Россию.

Марсель. Средиземное море. Пирей. Афины. Салоники.

Сербия под ружьем. Запущенные поля, на них работают старики, женщины, даже дети.

Болгария. София. Услышав русскую речь, оборачиваются и дружески заговаривают самые различные люди.

Бухарест. Старые друзья — румынские социалисты, — и среди них Доброджану-Гереа. Они ведут борьбу за нейтралитет Румынии в войне.

12 июня Короленки приехали в Полтаву. (Наталья с дочерью вернулась через год, а зять — только после революции.)

Внезапно умер брат Илларион. Владимир Галактионович зан мог. Острые сердечные приступы про-

должались около месяца, и только со второй половины января 1916 года писатель смог взяться за чтение рукописей для журнала и публицистику. В письме в редакцию «О помощи семьям русских волонтеров во Франции» Короленко призвал общественность помочь бедствующим семьям русских подданных, оказавшихся к началу войны во Франции и вступивших во французскую армию.

Отношение писателя к войне было противоречиво. Победа нужна, считал Короленко, но нужна не для захвата Галиции или проливов, как того страстно желают кадеты во главе с Милюковым, чтобы сражаться за дело союзников, нет — страшно представить себе Россию, захваченную немцами. А в случае победы вряд ли придется радоваться, ибо это только будет на руку самодержавию. Тяжелое, безвыходное противоречие. По-видимому, остается одно: сражаться, без радости победы, вопреки воле народа.

В ту пору очень многим казалось, что в адской схватке государств, в огне и смерти, охвативших мир, невозможно найти компас, указывающий правильный выход из тупика, в который попало воюющее человечество.

Социалисты, прежде считавшиеся интернационалистами, голосовали в парламентах за военные кредиты и звали народ «защищать отечество». Грабительский, захватнический характер войны прикрывался лозунгами о защите родины от «злобных тевтонов», «диких азиатов», «коварных британцев», «трусливых макаронников»... И пока правительствам при поддержке социал-шовинистов удавалось гнать рабочих и крестьян на братоубийственную бойню, народы истекали кровью, и единственный исход виделся в победе над «ненавистным врагом». Это считалось «ходом истории» — тяжким, кровавым, но привычным, традиционным; тут было все, что было всегда: и отечество, и враги за его рубежами, и фальшивые призывы к классовому сотрудничеству...

Большевики во главе с Лениным оказались единственной партией, которая сумела пойти против течения. Война войне! Борьба за поражение своего пра-

вительства. Превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Революционная война против правящих классов. Никакой поддержки буржуазным правительствам. У трудящихся есть только одно отечество — демократическое, пролетарское, социалистическое.

И партия повела неравную, титаническую борьбу за претворение своих лозунгов в жизнь.

В течение 1916 года Короленко написал ряд статей, где выступал в привычной для себя роли воителя с общественной неправдой, среди них — «О мариампольской измене», «Старые традиции и новый орган», «Уголок Галиции в Ростове-на-Дону», «Любопытная оговорка А. Ф. Трепова» (последнюю статью цензура не пропустила). Писатель в них давал отпор шовинистическим устремлениям, раздуваемым правящими кругами при поддержке «старых» и «новых» слуг самодержавия. Работал Короленко и над «Историей моего современника». Во 2—3-м номере «Русских записок» за 1917 год появился рассказ «Пленные» — о памятном событии на тулузском вокзале.

Несмотря на строгую цензуру, с фронта просачивались тяжелые вести.

Сурова была зима нового, 1917 года. В морозные дни января и февраля, когда еще мало кто думал, что весна совсем близка, у Короленко часто появлялось ощущение, словно весь воюющий мир летит вверх тормашками. Европа сошла с рельсов и несется под откос. И нет признаков, что машинисты сознают это...

Россия не желает ни самодержавия, ни войны

События вихрем ворвались в растерявшуюся под их напором Полтаву.

В столице громадные толпы на улицах и площадях, красные знамена, войска без оружия. Солдаты, казаки и даже гвардейские полки дрались с жандармами. Это революция. Создан Совет рабочих и сол-

датских депутатов. Сконструировано Временное правительство.

Самодержавие свергнуто. Царя в России больше нет.

6 марта в Полтаве состоялась манифестация, закончившаяся митингом у городского театра. С того же балкона, откуда Короленко выступал против погрома осенью 1905 года, он говорил теперь речь свободным гражданам России.

Писатель в серой знакомой всем полтавчанам бекешке, старческое лицо горит неярким румянцем. На площади, над притихшей толпой разносится его звучный, проникновенный голос. И хотя не все слушатели, среди которых и рабочие мастерских, согласны с тем, что говорит сейчас старый писатель, его страстная речь находит живой отклик в сердцах. Самодержавие рухнуло в несколько дней — не как вековая твердыня, а как карточный домик. Никто не поднялся на его защиту. Монарх уходит — Россия остается. Когда придется решать великий вопрос о внутреннем устроении России, тогда наступит время разногласий и споров. Так пусть же это единство длится до конца войны, когда народ соберется на освобожденной земле для выборов на новых, свободных началах.

Так говорил Короленко.

Все эти дни и месяцы он много времени проводил на митингах, собраниях, сходах, где его неизменно выбирали почетным председателем. В моменты общественного подъема Короленко забывал о болезнях и недугах, он весь преображался, что-то летящее появлялось в походке, распрямлялись плечи, даже бессонница не подступала.

В начале мая в нескольких номерах «Русских ведомостей» печаталась большая статья Короленко «Падение царской власти (речь простым людям о событиях в России)», получившая большое распространение в стране.

Это был яркий и по содержанию и по форме настоящий некролог российскому самодержавию, выродившемуся в антинародный преступный режим.

Когда народу пришлось выбирать между верностью последнему отпрыску Романовых и свободой отечества, он выбрал родину и свободу. Первое же дыхание народной бури смело царскую власть без остатка. А в заключение Короленко опять настойчиво выдвигал свой призыв: «Стоять в готовности для отражения великой опасности от неприятеля...»

Пришло горькое известие о смерти сестры Марии, а вслед за ним дом посетила радость — вернулся зять из семилетней эмиграции. Весну и лето семья жила в Хатках, и Короленко стал посещать крестьянские митинги и сходы в ближайших селах и деревнях.

Солнечным радостным весенним утром поехал он на митинг в Ковалевку. Жители села, помнившие о писателе со времени его борьбы с Филоновым, просили рассказать о текущих политических событиях, о войне, о земле — главное, о земле: кто будет ею владеть? Первые радости по поводу свержения царя миновали, и в деревне уже закипела глухая борьба неимущих, безземельных с крепкими мужиками — заможными.

Пока Короленко говорил о причинах крушения самодержавия, его слушали с сочувственным вниманием — самодержавная легенда и в деревне развеялась как дым.

Но вот писатель перешел к нынешнему положению. Стране трудно, немцы еще не разбиты. Временному правительству еще предстоит тяжелая работа по урегулированию земельных отношений. Для того чтобы не был никто обижен — ни прежние владельцы, ни незаможные (бедняки), прежде всего надо установить размер платы на землю, ибо безвозмездно ее отнимать нельзя.

Вот в этот-то момент Короленко, чутко наблюдавший за своими слушателями, и увидел, что настроение их резко изменилось. Потухли глаза, людьми овладело беспокойство, послышались громкий ропот, выкрики.

Один из возражавших Короленко — солдат — говорил сильно и страстно. Нет! То, что сказал пи-

сатель Короленко о земле, им, крестьянам-беднякам, не подходит. Он сильно ошибается...

И солдат под одобрительный гул спрыгнул с импровизированной трибуны.

Митинг окончился, часть народа разошлась, и Владимир Галактионович подошел к группе горячо споривших крестьян. Он хотел, чтобы откровенно высказались те, кто был недоволен его выступлением.

Большая толпа окружила писателя. Около него оказались несколько женщин-солдаток. Они принялись рассказывать ему о своих горестях. Мужья на фронте, неизвестно, вернутся ли живыми и здоровыми. А вернутся — все равно земли почти нет, детишки еще малы. На кого же им надеяться, как не на революцию? Вот она пришла, все говорят: теперь будет земля, а писатель Короленко их прямо убил словами о выкупе. Ну, ладно, выкуп возьмет на себя государство, но и оно ведь отдаст им землю не даром.

— Прежде платили и теперь платить, какая же это свобода!.. — горячо говорила одна из женщин. Она очень походила на солдата-оратора своей верой в то, что земля должна быть отдана бедноте даром, без всяких выкупов.

Три часа говорил с крестьянами Короленко.

А под конец один из мужиков, все время молчавший, сказал спокойно, уверенно, и все вокруг закивали одобрительно головами:

— А по-нашему надо сделать так: нам раздать всю землю, а городским рабочим прибавить жалованья. И все будут довольны.

То, чего эти бедняки хотели, совпадало с требованием большевиков: немедленный и полный переход — без выкупа — всех помещичьих и частновладельческих земель в руки крестьян, организованных в Советы или другие демократические органы, и национализация земли.

Пора ехать. Короленко начал прощаться.

Когда он проходил мимо солдата, приехавшего в отпуск, тот сказал ему серьезно, даже как будто сожалея о нем:

— Если бы вы сказали такое у нас на фронте, то, пожалуй, живой бы не вышли.

Взгляды их встретились. Солдат смотрел сурово, прямо, пронзительными глазами человека, видевшего и знавшего то, что не видели и не знали другие. Но Короленко выдержал этот взгляд. Хотел ответить мягко, но слова прозвучали вызовом:

— У вас там, очевидно, не умеют слушать. Но если бы уже пришлось говорить, то ничего другого сказать бы не мог...

Солдат покачал головой.

— Нам это, что вы говорили, ненадобно.

С тем Короленко и уехал.

Солнце закатывалось — кровавое, огромное: к ветру, к непогоде. Чувство недоговоренности не покидало писателя. Если революция не сумеет ничего сделать для этой части сельского населения, то значит еще долго придется искать правды и успокоения.

Через несколько дней к Короленко приехали звать на свой митинг «хлеборобы-собственники». Узнав от посланцев, что они объявили собственность «священной и неприкосновенной», писатель понял, что зажиточные зовут его потому, что прослышали о его словах о необходимости выкупа за землю. Тогда он напомнил, что, кроме этого пункта, у него, близкого по убеждениям к социализму, есть и другие: он—за собственность до тех пор, пока общество не сочтет нужным ее упразднить, он — за отчуждение земель крупных собственников в пользу незаможных. После этого «собственники» больше за ним не приезжали.

Шли недели и месяцы новой власти, и все более убеждался Короленко в том, что деревенские низы с их верой в близость полного, всестороннего уравнения, в необходимость скорейшего окончания войны склонялись все более влево, к большевикам.

В августе 1917 года увидела свет статья писателя «Война, отечество и человечество». Она отразила мучительные раздумья писателя, его страстное желание счастья человечеству и — неумение увидеть движущие силы истории, общественный класс, которому

уготовано повести людей, государства к гармонической, законченной идее человечества.

..В Полтаве похолодало. Хуже стало со здоровьем. Унылыми тучами застлало политический горизонт. В ответ на предложение выставить свою кандидатуру в Учредительное собрание Короленко ответил отказом.

Осень. Октябрь...

Второе дыхание народной бури

В пустынном, продуваемом всеми ветрами городском саду, под мокрым снегом и дождем, поставлен у летнего театра, превращенного в цейхгауз, часовой. Он стоит тут со вчерашнего вечера, и его не меняют. Стоит в старых сапогах и куцей шинели, в грязи, слякоти.

— Можно постоять с вами? — Короленко уже кончил прогулку и направлялся домой.

Разговорились. Служивый оказался уроженцем Полтавской губернии. Есть семья, дети. Все время был на фронте.

Прощаясь, писатель кладет руку на мокрый мятый погон парня, который годится ему в сыновья.

— До свидания, брат! Желаю вам поскорее вернуться к своим. Когда-нибудь эта война кончится...

— Давно бы можно кончить, — живо откликается солдат. Он говорит теперь быстро, даже со скрытым вызовом. Вопрос этот, видно, ему давно ясен. — Стояли мы на фронте в окопах. А *его* окопы близко. Сойдемся, бывало, разговариваем. Думаете, *он* хочет воевать? «Мы бы, — говорит, — давно замирылыся. Ваши временные не хотять...»

— Послушайте, ведь это же хитрость, — возражает Короленко. — Не мы, а немец не хочет. Он много захватил чужой земли...

— Нет, — говорит солдат с непоколебимой уверенностью. — Если бы наши не стали летом наступать, давно бы мы уже заключили мир... окопный, солдатский...

Да, это у него нечто от большевизма, хотя это настолько глубоко и непосредственно, что одной агитацией не объяснишь. Короленко растолковывает: Россия связана договором с союзниками, порознь немец побил бы всех. Временное демократическое правительство...

Но теперь уже солдат возражает с враждою в голосе.

Короленко уходит. Солдат остается. Он уже стоит на посту не меньше двенадцати часов, позабытый всеми, как и тогда в окопах, в наступлениях. Никто уже не верит, что Временное правительство в состоянии решить вопросы о земле и о войне. Народ все более склоняется на сторону большевиков.

Вскоре Петроград, а затем и Москва заставили всколыхнуться и всю большую Россию и истекающие кровью фронты. Пришла весть о том, что питерские рабочие и солдаты гарнизона поднялись на Временное правительство. Стало известно, что переворот произошел почти без жертв, что железнодорожники не пустили в столицу карателей.

II съезд Советов принял декреты о мире и о земле, создал Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным. У здания Полтавского Совета и в местах, где были расклеены долгожданные декреты, стояли толпы людей. Приезжали крестьяне из уездов, переспрашивали, не верили, потом радостные уезжали, на смену им появлялись другие, и толпы не редели. Каждый хотел сам увидеть, услышать, удостовериться.

Полтавский Совет рабочих и солдатских депутатов образовал Совет революции. Решительно, смело действовали большевики. Власть в городе перешла к ним. Комиссары Центральной рады были изолированы от народа, отстранены от руководства, им остался лишь путь политических авантюр — и они стали на него.

Большевики начали в Бресте мирные переговоры с немцами, а в это время Рада завязала с австрийцами тайные переговоры. Короленко с удивлением и негодованием увидел, что в качестве национального

героя у сторонников Рады все яснее выступает фигура изменника гетмана Мазепы.

В конце января 1918 года пришло сообщение о прекращении войны с Германией и ее союзниками, подписанное именем Совета Народных Комиссаров Российской Федеративной Республики. Не успела улечься радость, как поползли по городу черные слухи. Зажиточные обыватели передавали их с радостью, со злорадством. Известно почти достоверно, что австрийцы предъявили большевикам ультиматум: очистить Украину в десятидневный срок, ибо у них-де заключен с Центральной радой мир и они желают обеспечить его действенность. Писатель негодовал: вот оно, настоящее мазепинство — предание интересов Украины, как части России, в руки вчерашних врагов. Рассказывавшие ликовали: вот вам, большевики, ответ на вашу социализацию капиталов. Хоть под защитой у чужеземного штыка, но карман будет целехонек.

Это было до конца буржуазное отношение к родине, и у русского писателя и патриота заныло, перевернулось в груди больное сердце: что же будет?..

И вот в конце марта 1918 года полтавчане услышали грохот орудий, ружейную и пулеметную перестрелку — к городу подходили оккупанты. К вокзалу прошла последняя красноармейская цепь — усталые, плохо одетые, плохо вооруженные люди. Может быть, среди них был и тот солдат, что когда-то стоял, позабытый, у склада?..

Стихла стрельба. Появились чужие шинели, зазвучал чуждый говор. Засновали гетманцы в своем опереточном одеянии.

Далеко на восток ушла Красная Армия.

«Тьма часто сгущается перед рассветом...»

В окнах звякнули стекла, и маленькая Сонюшка вздрогнула и прижалась к Короленко.

— Ой, дедя, стеяют! Ето даеко?

— Далеко, деточка.

Стреляют! У гетманцев всегда стреляют. В прохожих в ночные часы, в арестованных в ночные и дневные часы... В отличие от гетманцев немцы в городе стараются показать свою культурность, на улицах кланяются обывателям — и не стесняются откровенным грабежом деревни. Под их прикрытием выползают из щелей «бывшие» — от губернатора до чиновников особых поручений. Собрания рабочих запрещены, профсоюзы — тоже. В деревнях растет озлобление: под угрозой оружия берут все — гусей, кур, свиней, яйца, хлеб. Гетманцы организуют карательные экспедиции, отбирают бывшее помещичье добро и порют, порют... Кажется, пора отложить в сторону единственную отраду в это тяжелое время — «Современника» — и приняться за работу, которую Короленко делал когда-то в пору засилья царских чиновников, истязателей, палачей.

И вот в местной газете появилось несколько статей с протестом против действий немецко-гетманских властей. Тотчас приняли ответные меры — пришел в сопровождении немецких солдат гетманский офицерик для производства обыска. Крамольную газету, в которой были напечатаны статьи писателя, закрыли. По ложному обвинению арестовали и выслали в немецкий концлагерь зятя Ляховича. Как в «старое доброе время», посыпались анонимные угрозы. Передавали: заплечных дел мастера высказывают сожаление, что Короленко не попадает им в руки: «Вот мы бы натешились!» Все равно скрываться он не станет — много чести негодяям.

Массу душевных сил требовала в подобных условиях работа над «Историей моего современника». Летом 1918 года Владимир Галактионович читал домашним законченный 2-й том и отдельные главы из начатого 3-го тома. «До Иркутска еще не доехал. Пока пребываю в Вятской губернии, приближаюсь к Вышнему Волочку», — писал он Ромасю.

Однажды, когда свояченица Короленко Прасковья Семеновна писала под диктовку автора очередную главу, в дом вбежала какая-то женщина. «Дело

дуже серьезное, касается Владимира Галактионыча, и отложить его нияк неможно».

— Я пришла сказать вам, — проговорила она, увидев писателя, — что вы должны немедленно скрыться. Приговорены к смерти двенадцать человек, и вы в том числе... Уезжайте куда-нибудь поскорее!

Короленко попросил свою доброжелательницу достать список остальных обреченных: надо предупредить их. Он ничего не сказал домашним. «Так, приходила по одному делу...» Никуда, разумеется, и не подумал скрываться. Если они осмелятся поднять на него руку, он сумеет достойно встретить все, что ему будет уготовано. Никто и ничто не сможет у него отнять веры в жизнь, в русский народ, даже в нынешние тяжелые, бурные и туманные времена. Тьма часто сгущается перед рассветом, и рассвет встает мглистый и бурный. И нельзя забывать старый клич одного из величайших представителей русской интеллигенции:

«Да здравствует солнце, да скроется тьма!..»

Тронуть старого писателя гетманцы не осмелились.

В Полтаве, как и в других городах Украины, образовалась Лига спасения детей, и Короленко избрали ее почетным председателем. В «Киевской мысли» писатель выступил с призывом «На помощь русским детям». Обращение перепечатали многие газеты.

Матери голодного Петрограда решились отправить детей в неведомо-опасный путь. Это была единственная надежда на спасение. Детям надо помочь! Эта работа, кроме спасения тысяч жизней, способна внести в нынешнюю ожесточенную политическую работу светлую струю того, что несомненно, непререкаемо, вечно. Пусть эта помощь русским детям станет откликом Украины братьям по крови, с которыми она делила горе и радость, волю и неволю, тягости и надежды в течение трех столетий. Неужели кто-нибудь на Украине возразит на это: «Геть. Це вражі діты...», или: «У нас есть и

свои голодающие дети...» Минуют же, наконец, когда-нибудь эти тяжкие дни. Пройдет и война, и междоусобие, и взаимная вражда братьев. История скажет свое слово о спорных вопросах, их разделявших. Но что бы она ни сказала о предмете спора — одно можно предсказать безошибочно: если Украина приютит и поможет умирающим от голода детям северной столицы, то этот факт сам по себе такой простой и ясный, засветится над ужасами и тьмою этого мрачного времени. И его истинное значение ни для кого не станет спорным...

Так писал Короленко.

Выступить против деятельности Лиги по спасению «большевистских детей» не решились даже гетманцы.

В конце ноября пришли известия о германской революции. Вскоре оккупанты стали покидать Украину.

В декабре 1918 года незадачливый «гетман всея Украины» Павло Скоропадский бежал вслед за немцами. Власть перешла к директории во главе с Симоном Петлюрой, бывшим воспитанником Полтавской духовной семинарии. Первый приказ от своего имени он начал так: «Мы, божьей милостью...»

От смены властей легче жить не стало. Петлюровцы завели сечение по приговорам, их контрразведка не уступала в свирепости гетманской.

К Короленко пришла девушка с запиской. На ней адрес: «Мало-Садовая, писателю Короленко». Пишет малознакомая женщина — Чижевская, умоляет спасти от расстрела, у нее малые дети.

Девушка подтвердила: в Гранд-отеле у петлюровцев содержатся арестованные контрразведкой. В одном номере люди сидят, в другом их судят, а в третьем — порой и расстреливают. Женщина сидит вместе с крестьянином и студентом — их, наверное, расстреляют.

Идти писателю тяжело. Гранд-отель в самом конце Александровской улицы. Когда-то по ней ходили с палками погромщики, и он уговаривал их одумать-

ся. Теперь, тринадцать лет спустя, он, старый и больной, идет просить их духовных преемников не проливать невинную кровь.

На улицах много петлюровских войск. Они тянутся к Южному вокзалу, торопятся. Красная Армия наступает.

В одной из комнат Короленко встречает молодой офицер аристократического вида, с бритой головой и «оселедцем» — начальник контрразведки. Он обещает отпустить Чижевскую.

— Есть еще крестьянин и студент.

— Крестьянин отпущен, а студент — опасный большевик, ничего не могу, нич-чего... Его расстреляют.

— Но ведь вы говорите: суда еще не было.

— Но у нас есть против него ужасные улики...

Короленко, превозмогая дурноту, задыхаясь от волнения, принялся говорить офицеру о том, что жестокость должна быть прекращена и настоящим победителем будет тот, кто это сделает первый. Увлекшись, он даже взял руку офицера, но тут увидел ледяные глаза, бесстрастное лицо. Человек этот ждал, чтобы его оставили в покое.

Через два дня стало известно, что студент расстрелян и новые партии в Гранд-отеле ждут своей участи. Снова пошел Короленко в конец Александровской улицы.

По просьбе Владимира Галактионовича его допускают в камеру. Некоторые заключенные так избиты, что на них страшно смотреть. Короленко умоляет контрразведчиков отправить всех в тюрьму — этим они хоть уберегутся от скорого расстрела. Волоча ноги, с трудом спускается писатель по лестнице. Неизвестно, что будет с арестованными.

В конце 1918 года окрепшая, закаленная в боях Красная Армия начала изгнание с Украины интервентов, белогвардейцев, петлюровцев, 19 января 1919 года Полтава вновь стала советской.

Короленко с радостью узнал, что красноармейцы захватили здание Гранд-отеля прежде, чем петлюровцы успели казнить арестованных.

О чем не говорили комиссары...

Весною 1919 года пришли два известия — печальное и радостное. Первое о том, что еще в прошлом году вместе с другими частными журналами и газетами закрыто «Русское богатство», помещение и бумага реквизированы. Второе известие было от Авдотьи Семеновны, пять месяцев назад уехавшей в Одессу на лечение и отрезанной от Полтавы войной.

Теперь, когда Красная Армия освободила Одессу и Крым, она смогла добраться, наконец, до дому. Приехала поздним вечером.

Как он живет? По-прежнему. Часто ходит в Чека и исполком с ходатайствами за арестованных. Советские товарищи очень внимательны к его просьбам, многие из них исполняют. При исполкоме образован Совет защиты детей, с которым Лига работает теперь вместе. На Полтавщине в колониях сейчас около семи тысяч детей, готовятся к отправке для московских и петроградских ребят два поезда с продовольствием. Вот и все новости.

Авдотья Семеновна взволнованно рассказывала: в Одессе при «добровольцах» и союзниках, сменивших немцев, народ голодал, а среди этих «поборников цивилизации» царила безумная роскошь. Собрались реакционеры со всей России — от бывшего полтавского губернатора Багговута до палача Меллера-Закомельского. Последний пользовался у англичан и французов большим влиянием. Свирепствовала деникинская контрразведка. Были расстрелы, оргии. Но лишь большевики нажали, «храбрые» союзники бросили «добровольцев» и сдали Одессу. Однажды она ехала в поезде, соседями по вагону оказались деникинские офицеры. Один рассказывал, как они взорвали мост вместе с поездом большевистского Красного Креста. Негодяй игриво передавал, как в воздухе мелькали юбчонки сестер милосердия. И никто не протестовал; другие деникинцы рассказывали подобные же истории.

— Звери, — произносит с болью Короленко. —

И, конечно, в оправдание этих своих поступков они тут же выдумают страшные истории о зверствах большевиков. Ни на союзников, ни на «добровольцев» я никаких надежд не возлагаю. Большевистской утопии будущего они противопоставляют утопию самодержавную. А хирурги Антанты, «добровольцы», колчаковцы России не помогут.

— Я верю, Ду́ша моя родная, — страстно говорит Владимир Галактионович, — Россия не погибнет, а расцветет, хотя мы с тобой этого, быть может, не увидим. Но увидят наши дети, увидит Сонюшка... Нам многое предстоит пережить, кризис будет тяжелый и бурный, но Россия — страна не только большая, но и с великими возможностями. Натура у русского человека хорошая!

Тяжелая для молодой Советской республики складывалась обстановка к лету 1919 года. Антанта и белогвардейцы наступали с Урала, от Мурманска и Эстонии, из Польши и Средней Азии. На юге Деникин занял Крым, нацеливался на Донбасс и Харьков.

В конце июня в Полтаве стало известно, что в связи с приближением деникинцев из города начинается частичная эвакуация советских учреждений.

29 июня, под вечер, у дома Короленко появились два каких-то мрачных субъекта. Семья встревожилась. В связи с эвакуацией большевиков из Полтавы, Совет защиты детей оставлял Лиге продукты и деньги на нужды детских колоний Полтавщины. В ночь с 28-го на 29 июня, когда все советские учреждения работали без перерыва, ответственная от совета молоденькая девушка коммунистка Дитятева храбро принесла из банка в совет два миллиона рублей для передачи Короленко. Владимир Галактионович очень волновался за судьбу денег, от которых зависело здоровье и даже жизнь почти семи тысяч русских детей.

Софья Владимировна считала опасения отца преувеличенными. С молодой отчаянной беззаботностью она отправилась за деньгами в совет и принесла их в маленьком чемоданчике. Но оказалось, что опасения Короленко были не напрасны.

Еще не стемнело, как в парадное постучали. Ничего не объясняя, втиснулись два человека, с револьверами у пояса, подвыпившие. Им нужен Короленко... поговорить наедине... Один из них почему-то прошел с женщинами в квартиру, другой, черный, курчавый, остался с Короленко в прихожей.

— Мы деникинские дружинники, — сказал он. — Вы получили два миллиона. Отдайте нам деньги.

— Обождите здесь, — властно ответил Владимир Галактионович и, отстранив человека, быстро пошел в комнаты.

В ту же секунду в квартире раздался выстрел: это стрелял первый бандит. До него было шага три-четыре. Короленко бросился к нему прямо от двери и схватил за руку, держащую пистолет. Несколько секунд прошли в жуткой напряженной борьбе. Бандит старался повернуть оружие дулом к Короленко, но старик, сильный и гневный, сжал его руку так, что молодой здоровенный детина не мог с ним справиться. Грохнул еще выстрел, и пуля ударила в дверь, никого не задев.

Авдотья Семеновна не испугалась, не отпрянула, она схватила бандита за другую руку, вбежала Наташа — и тоже кинулась на него.

Курчавый бандит, все же вошедший вслед за Короленко, выпучив глаза на борющихся, схватился за кобуру. Но руки дрожали, и он никак не мог достать оружие. Прими он участие в борьбе, обороняющимся пришлось бы плохо: их можно было бы перестрелять всех поодиночке.

Но теперь дело бандитов было проиграно, и они это поняли. Каждую минуту в дом, привлеченные выстрелами, могли войти люди. Даже убив всю семью, в спешке деньги отыскать было бы невозможно.

Первый бандит вдруг рванулся к двери. Толчок был такой неожиданный и сильный, что его выпустили, и он стремглав вылетел в прихожую, вслед за ним кинулся курчавый. Короленко бросился вслед. В нем проснулась гневная вспыльчивость его отца. У него сейчас было одно желание — догнать стрелявшего, раздавить, смять. Жена и дочь едва успели

запереть перед ним дверь. Когда-то Владимир Галактионович жалел, что у него нет сына. Его женщины оказались мужественными и находчивыми. Соня унесла деньги, без Авдотьи Семеновны и Наташи он мог и не справиться с бандитом.

Советские власти узнали о происшедшем. Началось расследование.

Но писатель этим уже не интересовался. Он непрестанно ходил в исполком, в Чрезвычайную комиссию, Революционный трибунал, став кем-то вроде бессменного ходатая перед властями за арестованных. Ему выдали специальный пропуск для беспрепятственного прохода в Чека. Не было случая, чтобы старому писателю отказали в приеме, не выслушали, не навели бы справок о человеке, за которого он просил. Нередко ручательства Владимира Галактионовича являлись основанием для освобождения арестованных.

— Товарищ Короленко, — окликает писателя заведующий губернским отделом юстиции Сметанич. — Вы ко мне? Прошу!

У Сметанича красивое интеллигентное лицо. Они часто видятся, и всякий раз молодой человек неизменно приветлив и почтителен. Выслушав очередную просьбу Короленко об арестованных, Сметанич мягко замечает:

— За два с половиной года гражданской войны положение выяснилось. Сейчас не может быть нейтральных — идет такая борьба...

— Я с вами не согласен, — возражает Короленко. — Могут быть нейтральные. Вот вам: я — нейтральный.

— Нет! — энергично отрубает Сметанич. — Вы ближе к нам, чем к деникинцам.

Да, он, конечно, не деникинец, отвечает писатель. Он не знает, как они будут держать себя, а их приход в Полтаву дело, быть может, близкого будущего. И тогда он, который теперь заступается перед большевиками за их противников, переменит фронт и будет защищать интересы арестованных большевиков. Это и есть нейтральность. Минувшей весною ему при-

шлось беседовать с ответственным товарищем из Всеукраинской чека, который сказал, что их действия — в том числе и расстрелы — направлены на благо народа. Но он, Короленко, очень энергично выразил сомнение в этом: нельзя даже и для блага народа расстреливать людей.

Когда Короленко говорит об этом, он начинает нервничать и задыхаться. Сметанич тоже взволнован.

Пусть Владимир Галактионович послушает его возражения: смотрит старый писатель очень односторонне. Большевики не только разрушают старое, они и творят новое, как это ни трудно сейчас...

— Четыре дня назад, — устало говорит Короленко, — около часу ночи мы всей семьей стояли на балконе. И вот услышали два залпа и за каждым из них одиночный выстрел, как будто приканчивали расстрелянных...

— Это было в ночь на двадцать девятое июня? — спрашивает Сметанич.

— Да.

— Тогда было расстреляно семь бандитов, — жестко говорит молодой человек — Они были присланы из волости, где наводили панику на мирных жителей. Вы часто бываете у нас и в Совете и знаете, как редки расстрелы по политическим мотивам. Но бандитам пощады не было и не будет. Вы ведь помните убийство еврейской семьи восьмого апреля?..

Теперь бледнеет Короленко. Да, он помнит. Какие-то люди, нет, не люди — звери, пришли вечером в дом, убили отца, пили водку и насиловали его жену и дочь, а потом, уже под утро, зарезав женщину и девочку, спокойно ушли и до сих пор не разысканы.

— Против смертной казни таких зверей я не возражаю, — глухо говорит писатель. — Отпустить таких — значит обречь на смерть еще несколько семей.

— Но до этого случая вы протестовали против расстрелов вообще... — мягко напоминает Сметанич. — Вы ходатайствовали за тех восьмерых, ко-

торых расстреляли в апреле. Среди них были те, кого вы называете зверьми.

— Среди них были и политические.

— Были, — твердо говорит Сметанич. — Левченко, например, бывший адъютант губерниального старосты, участник карательных экспедиций. У него был обнаружен склад оружия... Шкарупиев, кулак, живодер, волостной голова, торговец, ездил при гетманцах в Берлин... Теперь вспомните последние события. В Подольской губернии врагами убито три тысячи евреев, столько же ранено. Заодно вырезано пятьдесят рабочих — русских и украинцев... В апреле в Миргороде расстреляно четверо наших лучших товарищей... В июне в Ромнах мешочниками зверски убит представитель губнарпрода рабочий Ялинич.

— Если бы я был в Подолии, или в Миргороде, или в Ромнах, — отвечает Короленко, — более чем вероятно, что я постарался бы встать между палачами и их жертвами, между расстреливающими и вашими товарищами... как теперь пытаюсь встать между вами и вашими противниками... Жестокости с одной стороны не оправдывают, а только вызывают жестокости с другой...

И они расстаются непримиренные, не понимающие друг друга, словно говорят на разных языках.

Год назад Короленко писал в своей статье, что в лагере большевиков он встречает и искреннее убеждение и человечность. Говоря это, он имел в виду прежде всего Долгополова, председателя Полтавской губчека. Жители отзывались о нем, как о человеке мягком по натуре и очень искреннем. Бывший железнодорожник, Долгополов был человеком малоинтеллигентным, простым, добродушным. Полное, круглое лицо его, громадная фигура, большие тяжелые руки нравились писателю — рабочий человек, серьезный, спокойный, строгий.

— Товарищ Короленко, — сказал тридцатилетний Долгополов во время одного из первых их разговоров и тут же как-то очень по-хорошему смутился и поправился: — Нет, простите! Я понимаю, что я вам не товарищ... Отец Короленко!

Так и стал он обращаться с тех пор к Владимиру Галактионовичу, так странно и трогательно — «отец Короленко».

Как-то Короленко пришел просить за отставных генералов, арестованных Чека. Глядя прямо в глаза (он всегда смотрел прямо в глаза), Долгополов объяснил писателю, что деникинцы, взяв Харьков, устроили резню рабочих, и заложники генералы удержат их от дальнейших репрессий.

— Деникина отобьем, всех их отпустим, — говорил Долгополов, — а станем отходить, увезем с собой...

— А если Деникин и здесь кого-нибудь расстреляет из ваших, тогда вы генералов убьете? Это жестоко...

— Теперь приходится делать много жестокостей...

Председатель Чека помолчал, потом лоб его разгладился, лицо прояснилось.

— Но когда мы победим... — проговорил он незнакомым, задушевным и мечтательным голосом. — Отец Короленко! Вы ведь читали что-нибудь о коммунизме?

Писатель, не привыкший к таким резким переходам, взволнованный отказом в его просьбе, ответил:

— Вы еще не родились, когда я читал и знал о коммунизме.

Сказал и — пожалел: сказано не то и не так, как надо. Долгополов сжал от обиды толстые добрые губы, потускнел:

— Ну, я простой человек. Признаться, я ничего не читал о коммунизме. Но знаю, что тогда каждый будет получать то, что ему нужно. Все равно, над чем бы он ни работал. Ах, знаете, отец Короленко! Когда я однажды рассказывал о коммунизме в одном собрании, поднялся какой-то поп и крикнул: «Если вам это удастся сделать, то я брошу священство и пойду к вам!»

Как юноша, рассказывающий о своей любви, забыв об обиде, Долгополов весь зажегся внутренним огнем, преобразился, словно уже увидел воочию то, о чем только что говорил.

Короленко шел домой растревоженный. Он не сомневался, что видел человека, искренне верящего, что в России уже положено начало счастливой жизни. И он во имя этого подписывает суровые приговоры. Много ли таких людей горячей, искренней веры найдется на той стороне?..

По неведомой ассоциации писатель подумал о себе и своей нынешней деятельности. Много странного дает ему сейчас на разрешение жизнь, словно испытывая, что́ он сделает в самых сложных случаях. Весною ему пришлось просить в Чека за Дейтриха и Бразоля, совсем недавно за Козуба. Дейтрих был помощником финляндского генерал-губернатора негодяя Бобрикова. Бразоль, полтавский губернский предводитель, как и Дейтрих, не отличался особенным ретроградством, но при нем была и сорочинская трагедия и готовился в Полтаве погром. Обоих обвиняли в пособничестве карательным отрядам немцев и гетманцев. Козуб — злобная черносотенная фигура. После убийства Филонова этот погромщик приходил к нему, Короленко, на квартиру с угрозами.

Он просит за арестованных потому, что считает неправильным преследовать их за прошлую деятельность. Большевики на сей счет иного мнения, и Чека арестует вчерашних погромщиков, жандармов, полицейских, помещиков, военных и штатских генералов, охранников. И он, Короленко, ходатайствует за них — за тех, от кого столько вынес в прошлом, против кого он всю жизнь боролся. Странная превратность судьбы!..

28 июля. По улицам, направляясь к Киевскому вокзалу, проходят отступающие части Красной Армии. Идет кавалерия. Где-то затрещали пулеметы, неподалеку разорвались снаряды. Команда — и конница пошла вскачь в облаках пыли. Что еще предстоит испытать этим людям с красными звездами на фуражках?..

В исполкоме суета, шум, беспрестанно звонит телефон. Короленко находит Алексеева, заместителя председателя Совета. У него серое от бессонницы лицо, высокий чистый лоб нахмурен, его непрерывно

окликают. Писатель просит за Дейтриха и Бразоля. Алексеев терпеливо выслушивает, обещает отпустить их с вокзала или с промежуточной станции.

Короленко волнуется: войска уходят, почему не уезжают исполкомовцы? Алексеев снимает кепку и крепко жмет писателю руку:

— Не поминайте нас лихом, Владимир Галактионович, — говорит он растроганным голосом.

У него рыжие волосы, светлые строгие глаза — таким он и остается в памяти взволнованного прощанием писателя.

На лестнице Короленко встречает Сметанича. Молодой человек озабочен, торопится. На прощание сообщает, что семья его остается в городе. За работой не было времени позаботиться о них, увезти... Короленко с грустью протягивает руку:

— До свидания, товарищ Сметанич. Желаю вам всего хорошего.

Теперь ему выпадает задача охранять и эту семью — в числе других комиссарских семей — от преследований деникинцев.

Комиссары! Это слово очень подходит ко всем этим строгим симпатичным ему людям: Алексееву, Долгополову, Сметаничу, Дитятевой. В их безукоризненном отношении к нему он чувствует какую-то недоговоренность — они словно хотят и не решаются сказать главное: «Товарищ Короленко, почему вы не с нами?..» Им, воодушевленным идеей, в которую они сами так горячо верят, непонятно, как это старый честный русский писатель не с ними. Он хорошо понимает это чувство, но пусть поймут и его — он желает оставаться в этой борьбе нейтральным, чтобы отстаивать права человека всюду, где они, по его мнению, попраны.

«Рассвет встает мглистый и бурный»

Погромы и грабежи начались тотчас же по «завоевании» Полтавы деникинцами и длились три дня и три ночи.

В штабе деникинцев Короленко назвал себя и заявил, что в городе идет грабеж и погром.

— Знаем, — безразлично отвечал какой-то офицер.

Встретив гневный и удивленный взгляд Владимира Галактионовича, он прибавил:

— Это всегда бывает. На то война.

— Вероятно, вы согласитесь, — сдерживая себя, сказал Владимир Галактионович, — что честь армии, которой вы являетесь представителем, требует прекращения грабежей и насилий.

Офицер пообещал — и грабежи продолжались.

На третий день делегация от города — и Короленко в ее числе — отправилась к начальнику гарнизона генералу Штакельбергу. Генерал был изысканно любезен, обещал прекратить «беспорядки» в несколько часов — и тоже ничего не сделал.

Под впечатлением этих трех дней и ночей Короленко написал шесть «Писем из Полтавы», в которых рассказывал об убийствах и грабежах, сопровождавших приход в город новой власти; о расстрелах офицеров, перешедших на службу в Красную Армию; о господстве доноса; о неистовом шовинизме в «добровольческой» армии.

Редакторы газет отказались печатать «Письма». Короленко отправил их Мякотину в екатеринодарскую газету «Утро юга».

В городе разнесся слух, что деникинская контрразведка собирается арестовать автора «Писем». Это не удивило писателя. Недаром, побывав у начальника контрразведки полковника Щучкина с просьбой об арестованных, он сразу почувствовал, что перед ним бывший жандарм, а тот в нем тоже совершенно справедливо узрел бывшего «неблагонадежного».

Осенью 1919 года Владимир Галактионович с женою уехали в санаторий доктора Яковенко в местечко Шишаки Миргородского уезда. Здесь писатель закончил начатую еще два года назад большую работу «Земли! Земли!», посвященную крестьянскому вопросу в России в период 1891—1919 годов. (Значитель-

ная часть ее была опубликована в 1922 году в журнале «Голос минувшего».)

В октябре 1919 года началось мощное наступление советских войск против Деникина, стоявшего уже на дальних подступах к Туле. Белые начали стремительно откатываться. Сильные удары по тылам врага наносили партизаны Украины и Крыма.

Переменчивая военная погода задержала супругов Короленко в Шишаках до января 1920 года. Живя здесь, писатель навестил своих давних оппоненток из Ковалевки.

С холмистых берегов Псла видна была далеко-далеко безжизненная, пустынная земля. Не ходили поезда, не видно было людей в осенних полях. В краю господствовали деникинцы.

У тех женщин, что спорили с ним на митинге два года назад, мужья, уцелевшие на германской войне, ушли с большевиками — сражаться за землю.

У женщин был жалкий и истомленный вид. Они плакали, не зная, живы ли отцы их детей. Видно было, что они рады видеть писателя и поговорить с ним. Он так же, как и они, не видел конца войне, но он знал, что эти люди нуждаются в поддержке, ободрении. И он говорил им о своей вере в лучшее будущее, которого еще не видно, но которое непременно придет.

Когда Короленко с женой вернулись в Полтаву, в городе была уже советская власть.

Писатель продолжал усиленно работать над 3-м томом «Истории моего современника». 2-й том вышел в 1919 году в Одессе. В том же году в альманахе «Родина» в Ростове-на-Дону, выпущенном в пользу увечных воинов, появился рассказ «Двадцатое число».

В начале июня 1920 года Полтаву посетил народный комиссар просвещения А. В. Луначарский. Он приехал к Владимиру Галактионовичу, и они долго беседовали — спорили и соглашались, делились мыслями и снова спорили. Это был откровенный, обстоятельный разговор двух писателей и общественных деятелей, не желающих навязывать друг другу свою точку зрения, но искренне стремящихся найти то об-

щее, что могло бы их объединить и помочь взаимному пониманию.

После беседы Луначарский, дружески распрощавшись, уехал на митинг в городской театр, оставив у старого писателя самое благоприятное впечатление о себе — прямотой и искренностью высказанных им суждений и горячей убежденностью в правоте дела, которому он служит.

Вскоре в парадное постучали: приехали просить заступничества родственники приговоренных к расстрелу по обвинению в злостной спекуляции хлебом.

Писатель отправился на митинг к Луначарскому. У подъезда стояла большая толпа. Театр был полон до отказа, но Короленко пропустили, провели и усадили.

Говорил Луначарский страстно и убежденно. Огромная аудитория замерла в немом внимании. Пожалуй, впервые Короленко присутствовал на общественном акте, когда оратор и аудитория были во власти единой, одушевлявшей всех идеи.

Народный комиссар говорил о том, что в руках Советской России будущее мира, что в Европе, и в Азии, и в колониальных странах сердца пролетариев и угнетенных принадлежат первому в истории государству пролетариата. Буржуазный мир боится Советской России, ибо он видит, что шаг за шагом, несмотря на огромные трудности, страна неуклонно движется вперед, добиваясь поставленных перед собой задач.

А потом зазвучал страстный, призывный «Интернационал». Пел весь зал, и Короленко, неприметно оглядывая соседей, видел на молодых лицах следы волнения и одушевления.

Луначарский уже шел навстречу, радуясь, что старый писатель оказался на большевистском митинге.

Волнуясь, рассказал Короленко о цели своего приезда. Он прослушал речь Анатолия Васильевича. Она проникнута уверенностью в силе. Но силе свойственны справедливость и великодушие, а не же-

стокость. Докажите же в этом случае, что вы действительно чувствуете себя сильными, пусть ваш приезд ознаменуется не актом жестокости, а актом милосердия.

Луначарский не сказал о том, что еще не кончилась гражданская война, не добит Врангель, поляки в Киеве, не напомнил о бандах Махно и Григорьева, бродящих вокруг Полтавы, он словно позабыл о засухе, о росте цен, о надвигающемся голоде, не попрекнул тем, что писатель ходатайствует сейчас за злостных спекулянтов. Он пообещал сделать все, что в его силах, чтобы удовлетворить просьбу уважаемого Владимира Галактионовича.

Короленко уехал.

— Не понимает он задач нашей революции, — вспомнились Луначарскому слова Владимира Ильича Ленина о Короленко, переданные ему Бонч-Бруевичем. — Вот они все так: называют себя революционерами, социалистами, да еще народными, а что нужно для народа, даже и не представляют. Они готовы оставить и помещика, и фабриканта, и попа — всех на старых своих постах, лишь бы была возможность поболтать о тех или иных свободах в какой угодно говорильне. А осуществить революцию на деле — на это у них не хватает пороха и никогда не хватит. Мало надежды, что Короленко поймет, что сейчас делается в России, а впрочем, надо попытаться рассказать ему все поподробней... По крайней мере пусть знает мотивы всего, что совершается, может быть, перестанет осуждать и поможет нам в деле утверждения советской власти на местах.

На следующий день, 8 июня, Короленко получил записку:

«Дорогой, бесконечно уважаемый Владимир Галактионович. Мне ужасно больно, что заявление мне опоздало. Я, конечно, сделал бы все, чтобы спасти этих людей — уже ради Вас, но им уже нельзя помочь. Приговор уже приведен в исполнение еще до моего приезда. Любящий Вас Луначарский».

Короленко знал о случившемся — печальное известие больно ударило его.

Через несколько дней, оправившись, он принялся за работу, намереваясь в ряде статей, написанных в виде писем к Луначарскому, изложить свое мнение о жгучих общественных и политических проблемах момента. Согласно их договору Луначарский тоже должен был ответить печатно. Из шести «Писем к Луначарскому», написанных Короленко в течение августа — сентября 1920 года, только три дошли до адресата. В «Письмах» Владимир Галактионович высказался с присущей ему прямотой и откровенностью.

Ленин оказался прав: Короленко не смог понять задач пролетарской революции. Он не верил ни в «утопию прошлого», ни в «утопию будущего».

Спор надлежало решить самой Истории.

Как он решен — известно.

Отдан последний волосок...

С грустью проводила Полтава поезд с детьми. Как много было связано у семьи Короленко с этими жизнями, которые так легко могли погаснуть, но не погасли!

Короленко рассказали, что перед отъездом дети пели хором сочиненную ими песню:

Прощай, колония родная,
Прощайте, все мои друзья,
Прощайте, нивы золотые
И голубые небеса!..

Старый писатель заплакал — это были слезы радости.

Все на свете имеет конец, даже неимоверно тяжелые страдания военных лет. Кончалась гражданская война. Кончался 1920 год. Пришла весть о разгроме Врангеля.

Весною 1921 года страшная, непоправимая утрата постигла семью Короленко: при трагических обстоятельствах умер от сыпного тифа Константин Иванович Ляхович, которого Владимир Галактионович любил сильно и нежно. После этой смерти писатель уже не сумел оправиться.

Тело дряхлело, а ум горел ярким пламенем. Отказали ноги, почти потерян слух, с окружающими приходится переписываться, но не прекращается напряженная работа над «Историей моего современника». Закончен 3-й том, писатель словно вновь совершает путь из иркутской тюрьмы в Якутию. Якутск. Амга. Ее обитатели. Яммалахский утес...

Когда становится лучше, Короленко начинает надеяться, что успеет рассказать не только о поре ссыльных скитаний, но и о нижегородской жизни: оживают планы незаконченных беллетристических работ, старые наброски, воскрешаются прочно позабытые сюжеты. Вот в старой-престарой, еще якутской записной книжке несколько строк. Тема для рассказа. У неведомого зверя пушистый золотой хвост. По шерстинке, по волоску добрый зверь раздает свое сокровище, часть его самого. Вот остается несколько волосков, но просят и их, а зверь, не привыкший никому ни в чем отказывать, лишившись их, умирает. Наталья Владимировна, которая после смерти мужа помогала отцу разбирать архив, сказала, что отец ей очень напоминает этого зверя.

А тот спор, который Короленко начал с коммунистами, продолжался. И писатель вынужден был признать, что советская власть одерживает одну победу за другой. Он никогда не ждал ничего хорошего ни от интервентов, ни от генералов, которые уходят в историю далеко не почетным образом.

Писатель убедился, что во время войны большевики одолели своих врагов не только на полях сражений. Они одержали над ними и нравственную победу. Они великолепно умели занимать города, разом прекращали анархию и устанавливали революционный порядок.

Теперь Ленин нацеливает страну на мирный, восстановительный труд, и в его мероприятиях Короленко нередко видит сходство с тем, что сам он признает необходимым для страны.

Ленин, коммунисты без посторонней помощи справились с интервентами, петлюровцами, генералами, поляками. Теперь перед страной новые вра-

ги — рост цен, засуха, голод, разруха. Но он верит, что большевистское правительство найдет пути, чтобы вывести страну из нынешнего тяжелого состояния — кроме него, это не под силу никому. В этом он согласен с Гербертом Уэллсом, книгу которого «Россия во мгле» он прочел с большим вниманием, и поспешил поделиться этими своими мыслями с Горьким.

Тимирязев благословил коммунистов. В его лице большевики одержали еще одну крупную победу. Газеты напечатали письмо, в котором ученый, приветствуя героическую победоносную Красную Армию, звал всех «работать, работать, работать!». Перед смертью он сказал: «Я всегда старался служить человечеству, я рад, что в эти серьезные для меня минуты вижу представителя той партии, которая действительно служит человечеству. Большевики, проводящие ленинизм, я верю и убежден, работают для счастья народа и приведут его к счастью... Передайте Владимиру Ильичу мое восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов в теории и в деле... Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы об этом все знали...»

Короленко убежден, что Тимирязев был человек глубоко честный и искренний, и поэтому приход его к большевикам стал настоящим знамением времени. А в Петрограде Кони, старый, больной, на костылях ходит в другой конец города, чтобы читать лекции революционным солдатам и матросам.

В городе проводятся трудовые недели, воскресники. Молодежь охотно работает на них. Весною 1921 года на субботнике в городском саду рабочие-табачники с увлечением окапывали яблони. «Кому достанутся плоды этой работы?» — сомневался Короленко.

Но вот воскресник — началом нового дня — пришел прямо к нему в дом. После суровой зимы в замерзающей Полтаве, в непротопленной квартире он уже не чаял увидеть чудесную зелень городского сада, освещенные солнцем холмы и луга за Ворсклой и почти свыкся с мыслью, что это его последнее

лето. А теперь явились рабочие и интеллигенция, привезли дрова писателю Короленко, напилили, накололи, сложили в штабеля. И жить опять не только хочется, но еще являются надежды, и так хочется увидеть то время, когда счастье засияет над родными далями.

Кто организовал этот чудесный воскресник: исполком, какой-нибудь кооператив, сами рабочие, интеллигенция?.. Но кто бы это ни сделал — как много сил влил он в него!..

Да, старого писателя не забывают. Он должен признаться, что большевики относятся к нему лучше, чем он к ним. Они щедрее его. Он не согласен с максимализмом их требований, которые по-прежнему считает утопией. Но он не посетует, если проиграет спор: лишь бы в России, родной стране, стало счастливо житься людям.

В июле 1920 года принесли извещение губисполкома: «Идя навстречу душевной потребности широчайших кругов трудящихся, снять с В. Г. Короленко заботу об условиях его жизненного существования и в целях осуществления теперь же этого постановления начать доставлять ему продукты».

Он отказался. Он понимал, что это вполне бескорыстное предложение, но поблагодарил за заботу: он всегда был независимым писателем и никогда не принимал ни от какой власти содержания. Отказался он и от академического пайка, предложенного ему и всей семье, от пособия, предложенного Литературным фондом.

Между тем нехватки особенно остро сказывались на большой семье Короленко, так как главный источник дохода — литературный заработок Владимира Галактионовича — был невелик.

Это стало известно в городе после того, как люди на базаре увидели, что семья вынуждена ради пропитания продавать вещи.

И вот в день рождения писателя к его дому со всех концов города направились представители едва ли не всех организаций и предприятий Полтавы.

В довоенное время этот день отмечался подноше-

нием папок с адресами, ценных безделушек, теперь самым дорогим подарком оказались предметы питания и быта. Рабочие мельницы привезли муку, из кооператива доставили спички, соль и масло, прислали мыло. Был даже мармелад для Сонюшки, сало и домашняя колбаса из подгородных деревень, которые привезли крестьяне. Короленки оставили себе минимум, а остальное передали детским учреждениям.

Едва сведения об ухудшении здоровья писателя проникли в печать, из Совнаркома Украины стали поступать настойчивые просьбы отправиться лечиться на государственный счет в Крым, на Кавказ — куда пожелает писатель.

В письме Народному комиссару здравоохранения Н. А. Семашко весною 1921 года Ленин упомянул в числе других писателей и общественных деятелей имя Короленко, требуя отправки писателя за границу для лечения.

И снова, поблагодарив за заботы, отказался Владимир Галактионович — он занят работой, жить осталось недолго, и остаток дней он желает провести на Родине, а не на чужбине.

До самых последних дней не покидала старого писателя надежда, что он, оправившись, возьмется за продолжение «Истории моего современника». Торопясь, кончал он 4-й том и завершил работу в середине декабря. Повествование удалось довести до начала 1885 года — времени возвращения Короленко в Россию и поселения в Нижнем Новгороде.

Умирал Владимир Галактионович так же мужественно, как и жил. Терпеливо отдавался в руки врачей, не спорил, не раздражался. Просил семейных не плакать.

В начале ноября начавшийся грипп перешел в пневмонию. Во время редких улучшений писатель пытался работать.

Приехал из Москвы к больному другу Григорьев.

Ежедневно приходило множество людей справляться о здоровье. У дома круглые сутки дежурили

добровольцы извозчики — на случай поездки в аптеку или за врачами.

С утра 25 декабря наступило некоторое улучшение. Владимир Галактионович полулежал на подушках усталый, умиротворенный — большая белая борода, ясные, чистые глаза. Он очень напоминал сейчас Льва Толстого последних лет его жизни.

У всех появился проблеск надежды на благополучный исход болезни.

Перед шестью часами вечера, когда началась агония, Владимир Галактионович забеспокоился, стал тревожно водить глазами. Говорить он уже не мог.

У его постели собрались близкие. Он медленно оглядел всех, прощаясь, — стоящую на коленях у постели Авдотью Семеновну, дочерей, близких друзей семьи.

Около половины одиннадцатого вдруг в какое-то отличное от других — последнее — мгновение наступила страшная тишина...

Короленко умер.

* * *

Летом 1918 года, когда еще не было и года со времени свершения Октябрьской революции, Горький сказал вещие слова: «Знаю, что в этой великой работе строения новой России найдет должную оценку и прекрасный труд честнейшего русского писателя В. Г. Короленко, человека с большим и сильным сердцем».

На утреннем заседании IX Всероссийского съезда Советов 27 декабря 1921 года, после доклада Г. М. Кржижановского по поводу декрета Совнаркома об электрификации страны, наступили минуты молчания. Это делегаты съезда во главе с Лениным — люди новой России — почтили вставанием погибшего борца, поборника правды, русского писателя Владимира Галактионовича Короленко.

Пришла в Полтаву телеграмма Калинина: «Президиум ВЦИК просит передать семье покойного В. Г. Короленко от имени Всероссийского съезда Со-

ветов, что все сознательные рабочие и крестьяне с глубокой скорбью узнали о кончине благородного друга и защитника угнетенных Владимира Короленко. Советская власть примет все меры к широчайшему распространению произведений покойного среди трудящихся республики».

Велика была боль утраты. Можно было, лишь оглянувшись на только что окончившуюся жизнь, подвести ей самый главный итог, — это и сделал Горький: «Всю жизнь, трудным путем героя, он шел встречу дню, и неисчислимо все, что сделано В. Г. Короленко для того, чтобы ускорить рассвет этого дня».

Хоронил писателя весь город. День 28 декабря был объявлен траурным, нерабочим. Приехали народные комиссары Украинской республики из Харькова. Вышли газеты с черными рамками, с некрологами, последними словами прощания — в Москве, и Петрограде, и Харькове, и Киеве, и Полтаве.

Была зима. Был мороз, и было солнце. За гробом писателя медленно шла зазябшая печальная трудовая Полтава.

Было на могиле много настоящей скорби. И было много веры, которую больше сорока лет Короленко старался передать людям, — веры в свои силы, в свою страну, в счастье, которого человек, созданный для счастья, должен добиться своей мозолистой рукой.



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ, ТВОРЧЕСТВА И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. Г. КОРОЛЕНКО*

1853 15 (27) июля — В городе Житомире Волынской губернии родился Владимир Галактионович Короленко.

1864 — Поступает в гимназию.

1871 — С серебряной медалью оканчивает гимназию и поступает в Технологический институт в Петербурге.

1873 — Уход из института. Корректорская работа.

1874 — Принят в Петровскую земледельческую и лесную академию.

1876 — Исключен из академии за подачу коллективного заявления. Поселение в Кронштадте под гласным надзором полиции. Чертежная работа.

1877 — Поступает в Горный институт в Петербурге. Корректорская работа в газете «Новости». Участие в похоронах Некрасова.

1878 — Изучает сапожное ремесло, намереваясь принять участие в «хождении в народ».
Братьями Короленко, Владимиром и Юлианом, переведена книга Ж. Мишле «Птица». Первое выступление в печати — заметка в газете «Новости» — «Драка у Апраксина двора (Письмо в редакцию)».

1879 — Арест и высылка в город Глазов Вятской губернии. Сапожный труд. В журнале «Слово» напечатаны «Эпизоды из жизни «искателя». Выслан в Березовские Починки.

1880 — Арест и препровождение в вышневолоцкую политическую тюрьму. Написан рассказ «Чудна́я». Короленко отправлен в ссылку в Сибирь. На арестантской барже писался очерк «Ненастоящий город». Возвращен с дороги и поселен под надзором полиции в городе Перми. В «Слове» напечатан «Ненастоящий город». Служба табельщиком и письмоводителем на железной дороге.

* С 1918 года даты здесь, как и по всей книге, даются по новому стилю.

1881 — Напечатан рассказ «Временные обитатели «подследственного отделения». Отказ от присяги. Выслан в слободу Амга Якутской области.

1882—1884 — Земледельческий и сапожный труд. Написаны рассказы «Убивец», «Сон Макара», работа над рассказами «Соколинец», «В дурном обществе», «Бродяжий брак» («Марусина заимка»), «Станочники» («Государевы ямщики») и др.

1885 — Поселение в Нижнем Новгороде. Сотрудничество в газетах «Волжский вестник» и «Русские ведомости». Напечатаны рассказы «В ночь под светлый праздник», «Старый звонарь», «Глушь», «Сон Макара», очерк «На станке». Участие в журналах «Русская мысль», «Северный вестник». Появились рассказы «Убивец», «Соколинец».

1886 — Опубликован «Лес шумит». Женитьба на А. С. Ивановской. Посетил Л. Н. Толстого. Напечатаны повесть «Слепой музыкант», рассказы «Сказание о Флоре Римлянине», «Море», очерк «Содержающая». Вышел в свет 1-й том «Очерков и рассказов».

1887 — «Прохор и студенты». Знакомство с А. П. Чеховым и Г. И. Успенским. «На заводе». Вошел в редакцию «Северного вестника». Напечатаны «За иконой», «На затмении». Отдельное издание «Слепого музыканта». Работа в Нижегородской архивной комиссии.

1888 — Напечатаны «По пути». «Из записной книжки» (первая редакция «Черкеса»). «С двух сторон». Выход из редакции «Северного вестника». Рассказ «Ночью».

1889 — Встречи с Н. Г. Чернышевским в Саратове. Посещение Короленко А. М. Горьким.

1890 — Вышли очерки «В пустынных местах», «Павловские очерки».

1891 — Опубликован «Иом-Кипур». Поездка по Волге и в Уфу на место расположения лагеря сподвижника Пугачева — Чики. Статьи о местных делах; статьи о хищениях в Дворянском банке. Напечатан рассказ «Тени».

1892 — Работа на голоде. Статьи «По Нижегородскому краю». Появились в печати рассказы «Река играет», «Ат-Даван». Сотрудничество в «Русском богатстве».

1893 — Статьи «В голодный год» в «Русском богатстве». Заграничное путешествие.

1894 — Напечатаны «Парадокс», «Божий городок», «Драка в Доме». Вошел в редакцию «Русского богатства».

1895 — Напечатана в «Русском богатстве» повесть «Без языка». Появился очерк «В борьбе с дьяволом». Вторичное разбирательство мултанского дела. Статьи в защиту мултанцев.

1896 — Переезд в Петербург. «Фабрика смерти», «В облачный

день». Работа над рассказом «Художник Алымов». Выступление защитником в мултанском деле.

1897 — Поездка в Румынию. «Над лиманом».

1898 — Опубликованы рассказ «Необходимость», памфлет «Знаменитость конца века».

1899 — Напечатан очерк «На даче» («Смиренные»). Написана сатирическая сказка «Стой, солнце, и не движись, луна!». Работа над повестью «Набеглый царь». Вышел в свет рассказ «Маруся» («Марусина заимка»).

1900 — Избран почетным академиком. Редакторская работа. «Огоньки». Поездка в Уральск. Переезд в Полтаву. Напечатан рассказ «Мгновение».

1901 — Напечатаны рассказы «Мороз», «Последний луч», очерки «У казаков».

1902 — Поездка в город Сумы на процесс павловских сектантов. «Воспоминания о Г. И. Успенском». Отказ от звания почетного академика.

1903 — Напечатаны статьи «Самодержавная беспомощность» и «Суррогаты гласности для высочайшего употребления». Рассказ «Не страшное». Поездка в Кишинев. Написан очерк «Дом № 13» (не пропущен цензурой). Празднование пятидесятилетнего юбилея Короленко.

1904 — Короленко — редактор-издатель «Русского богатства». Воспоминания «Памяти А. П. Чехова». Напечатаны «Воспоминания о Чернышевском». Опубликован рассказ «Феодалы».

1905 — Статья «9 января в Петербурге». Начало работы над «Историей моего современника». Участие в газете «Полтавщина» (позже «Чернозем»). Борьба с погромщиками в Полтаве. Воззвания к населению города с антипогромными призывами. Запрещение «Русского богатства» за печатание «Манифеста» Петербургского Совета рабочих депутатов. Напечатан очерк «Дом № 13». Около 60 статей на общественно-политические темы.

1906 — «Открытое письмо статскому советнику Филонову». Травля писателя черносотенцами. Начала печататься «История моего современника». Опубликована статья «Слова министра. Дела — губернаторов». Около 40 статей в течение года.

1907 — Напечатаны статья «Сорочинская трагедия», «Из рассказов о встречных людях».

1909 — Очерк «Наши на Дунае».

1910 — Статьи «Бытовое явление», «Черты военного правосудия». Встреча с Л. Н. Толстым. Участие в похоронах Толстого.

1911 — Напечатаны статьи «В успокоенной деревне», «К чертам военного правосудия», «Истязательская оргия», «Ликвидация псковской голодовки» и др.

1913 — Статья о Короленко в «Рабочей правде» «Писатель-гуманист». На процессе Бейлиса в Киеве. Статьи «Господа присяжные заседатели».

1914 — Выезд за границу на лечение. Подготовка к изданию полного собрания сочинений. Вышло в течение года девять томов полного собрания сочинений в издательстве т-ва А. Ф. Маркс.

1915 — Статья «Отвоеванная позиция». Возвращение в Россию. «Мнение мистера Джаксона о еврейском вопросе». Работа над повестью «Братья Мендель».

1916 — Редакторская и публицистическая деятельность. Напечатаны статьи «Старые традиции и новый орган», «О мариампольской измене» и др. Работа над «Историей моего современника».

1917 — Опубликованы рассказ «Пленные» и статьи «Падение царской власти», «Война, отечество и человечество». Начало работы над очерками «Земли! Земли!». В течение года свыше 40 статей в периодической печати.

1918 — Работа над «Историей моего современника». Статья «На помощь русским детям».

1919 — Работа в Лиге спасения детей. Протесты против грабежей и погромов деникинцев. Шесть «Писем из Полтавы». Издан 2-й том «Истории моего современника».

1920 — Посещение А. В. Луначарским. Работа над 3-м томом «Истории моего современника». Письма Луначарскому о текущих событиях.

1921 — Резкое ухудшение в состоянии здоровья. Закончен 4-й том «Истории моего современника». 25 декабря Короленко умер. 27 декабря на заседании IX Всероссийского съезда Советов делегаты почтили память писателя. 28 декабря — траур в Полтаве, гражданские похороны В. Г. Короленко.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения, письма, записные книжки В. Г. Короленко

Полное собрание сочинений (в 9 томах). СПБ—Пг., Изд-во т-ва А. Ф. Маркс, 1914.

Избранные письма (в 3 томах). М., «Мир», 1932. М., Гослитиздат, 1932—1936.

Записные книжки (1880—1900). М., Гослитиздат, 1935.

Собрание сочинений (в 8 томах). М., изд-во «Правда», 1953.

Собрание сочинений (в 10 томах). М., Гослитиздат, 1953—1956.

Собрание сочинений (в 5 томах). М., изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1960—1961.

Статьи, воспоминания и исследования о жизни, творчестве и общественной деятельности В. Г. Короленко

В. И. Ленин, Развитие капитализма в России. Сочинения, 4-е изд., т. 3, стр. 382.

В. И. Ленин, Проект речи по аграрному вопросу во Второй Государственной думе, т. 12, стр. 237.

Ленин о литературе и искусстве. М., Гослитиздат, 1957.

М. К. Азадовский, Поэтика «гиблого места». Статьи о литературе и фольклоре. М.—Л., Гослитиздат, 1960.

Е. З. Балабанович, Короленко. 1853—1921. М., Гослитмузей, 1947.

Вл. Бартенев, В. Г. Короленко — литературный критик. Иваново, 1953.

Ф. Д. Батюшков, В. Г. Короленко как человек и писатель. М., Изд. т-ва «Задруга», 1922.

Вл. Беренштам, В. Г. Короленко как общественный деятель и в домашнем кругу. Берлин, изд-во «Москва», 1922.

Т. А. Богданович, Биография Владимира Галактионовича Короленко (1853—1917). Выпуск I. Харьков. Госиздат Украины, 1922.

Е. Г. Бушканец, Неизвестные произведения Короленко. «Известия АН СССР», отд. литературы и языка, 1949, т. 8, вып. 1.

Г. А. Бялый, В. Г. Короленко. М.—Л., Гослитиздат, 1949.

В. В. Вересаев, В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненский. Сочинения, т. 4. М., Гослитиздат, 1948.

З. И. Власова, Рассказы В. Г. Короленко о бродягах и фольклор. «Русский фольклор». Материалы и исследования. М.—Л., 1959, т. 4.

А. М. Горький и В. Г. Короленко, Переписка, статьи, высказывания. Сборник материалов. М., Гослитиздат, 1957.

И. Груздев, Короленко и Горький. Горький, 1948.

А. Дерман, Академический инцидент. Симферополь, Крымиздат, 1923.

А. Б. Дерман, Писатели из народа и В. Г. Короленко. Харьков — Киев, Книгоспiлка, 1924.

А. Дерман, Жизнь В. Г. Короленко. М.—Л., Детгиз, 1946.

А. Дерман, Воспоминания о В. Г. Короленко. «Новый мир», 1958, № 7.

Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе. Сборник. М., Гослитиздат, 1937.

Н. Г. Евстратов, В. Г. Короленко в Уральске. Алма-Ата, Казгослитиздат, 1961.

М. И. Калинин, Об искусстве и литературе. Статьи, речи, беседы. М., Гослитиздат, 1957.

А. Ф. Кони, В. Г. Короленко и суд. Избранные произведения. М., Госюриздат, 1959, т. 2.

С. В. Короленко, Л. К. Гейштор, Короленко и украинская культура. «Советская Украина», 1954, № 9.

А. К. Котов, В. Г. Короленко. М., Гослитиздат, 1957.

Л. С. Кулик, Сибирские рассказы В. Г. Короленко. Изд. АН УССР. Киев, 1961.

Б. Д. Летов. Короленко-редактор. Изд. Ленинградского университета, 1961.

А. В. Луначарский, Владимир Галактионович Короленко. Статьи о литературе. М., Гослитиздат, 1957.

Р. Люксембург, Душа русской литературы. О литературе. М., Гослитиздат, 1961.

П. Н. Луппов, Громкое дело мултанских удмуртов... (1892—1896). Ижевск, 1925.

П. Д. Малий, В. Г. Короленко и Україна. Львів, Книжково-журнальне видавництво, 1958.

Т. Г. Морозова, Н. Г. Чернышевский о В. Г. Короленко. М.—Л., «Известия АН СССР», отд. литературы и языка, 1953, т. 12, вып. 3.

Нижегородский сборник памяти В. Г. Короленко, 1923.

М. Ф. Николева, Из воспоминаний о В. Г. Короленко. «Звезда», 1958, № 4.

Памяти В. Г. Короленко. Сборник. М., «Задруга», 1922.

Н. К. Пиксанов, В. Г. Короленко и якутская ссылка. «О классиках». М., Гослитиздат, 1933.

Е. В. Полосатова, К. А. Тимирязев и В. Г. Короленко. «Труды Института истории естествознания и техники АН СССР», 1955, т. 4.

Е. Г. Родионова, Публицистика В. Г. Короленко 1905—1907 годов. «Революция 1905 года и русская литература». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1956.

А. М. Рубинштейн, В. Г. Короленко и Болгария. «Литература славянских народов», 1960, вып. 5.

М. А. Соколова, Короленко-критик. «История русской критики». М.—Л., Изд-во АН СССР, 1958, т. II.

А. В. Храбровицкий. Владимир Галактионович Короленко. Биографический очерк. В. Г. Короленко, Собрание сочинений в 5 томах, т. I. М., 1960.

С. Чиботару, В. Г. Короленко и румынская литература. «Днестр», 1958, № 9.

К. И. Чуковский, Короленко в кругу друзей. «Октябрь», 1960, № 9.

Н. Д. Шаховская, В. Г. Короленко. Опыт биографической характеристики. М., Изд-во К. Ф. Некрасова, 1912.

Библиографические указатели литературы о В. Г. Короленко

І. З. Бойко, Короленко і Україна. Бібліографічний покажчик. Вид АН Укр. РСР. Державна публ. б-ка УРСР. Київ, 1957.

В. Венгеров, Библиографический указатель произведений В. Г. Короленко и литературы о нем. «Жизнь и литературное творчество В. Г. Короленко». Сборник статей и речей к 65-летнему юбилею. Пг., Изд. о-ва «Культура и свобода», 1919.

Т. Серанова, В. Г. Короленко (1853—1921). Рекомендательный указатель литературы. Горький, 1953.

Автор приносит благодарность за помощь в его работе над книгой сотрудникам Полтавского музея В. Г. Короленко — **Л. К. Гейштор, М. Л. и Л. Л. Кривинским, И. А. Кронрод**, а также товарищам **В. С. Горбачевскому, А. М. Рубинштейну, С. Д. Сметаничу.**

СОДЕРЖАНИЕ

I. На родине, в Волынской губернии 5
II. В столицах 31
III. В «ненастоящем городе» и на «краю света» . 61
IV. Сибирские университеты 84
V. «Эпоха Короленко» 117
VI. Год 1892-й 168
VII. В чужедальних краях 189
VIII. «Света, больше света на это темное дело!» . 216
IX. Рубежи столетий 239
X. Первый натиск бури 282
XI. Между двумя революциями 301
XII. Войны и революции 321

Основные даты жизни, творчества и общественной деятельности В. Г. Короленко 359

Краткая библиография 363

Миронов Георгий Михайлович

КОРОЛЕНКО

М., «Молодая гвардия», 1962,
368 стр. + 9 вкл.

«Жизнь замечательных людей».
Серия биографий. Вып. 2 [335]

Редактор *Г. Померанцева*
Художник *М. Рудаков*
Худож. редактор *К. Аркуша*
Техн. редактор *Л. Курлыкова*

А03861 Подп. к печ. 9/II 1962 г.
Бумага 84×108$^1/_{32}$. Печ. л. 11,5(18,86)+
+9 вкл. Уч.-изд. л. 17,4.
Тираж 100 000 экз. Заказ 2260.
Цена 70 коп.

Типография «Красное знамя»
изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.

70 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ